



Артур Кестлер \* ВОРЫ В НОЧИ



АРТУР КЕСТЛЕР  
**ВОРЫ В НОЧИ**

**Артур Кестлер**  
**ВОРЫ В НОЧИ**



**Артур Кестлер**

**ВОРЫ В НОЧИ**

**Хроника одного эксперимента**



**БИБЛИОТЕКА — АЛИЯ**  
**1990**

א. קסטלר  
גנבים בלילה

A. Koestler  
THIEVES IN THE NIGHT

Перевод с английского *Н. и М. Улановских*

Издание 3-е  
ISBN 965-320-189-1

3647

©  
All rights reserved

כל הזכויות שמורות  
לספרית-עליה  
ת.ד. 4140, ירושלים  
יצא לאור בסיוע:  
האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים  
וקרן זכרון למען תרבות יהודית, ניו-יורק  
מהדורה שלישית

Printed in Israel

OCR Давид Титиевский. июль 2021 г., Хайфа

## Содержание

От переводчика М.Улановская .....	7
День первый .....	13
Последующие дни .....	77
День гнева .....	161
День испытания .....	269
Воры в ночи .....	299
Послесловие. Я.Цур .....	317



## ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Перевести роман А. Кестлера "Воры в ночи" на русский язык я задумала еще в 60-е годы, когда прочла его впервые. Имя этого писателя, естественно, было связано для нас, московских евреев, с его романом "Тьма в полдень"\* , который незадолго до того появился в русском переводе и распространялся в самиздате. Так же, как анонимный, неизвестный мне тогда (а потом оказалось — знакомый) переводчик романа "Тьма в полдень" захотел поделиться решением волновавшей нас загадки: почему подсудимые на открытых процессах признавались в невероятных, несовершенных ими преступлениях, — так и мне хотелось поделиться полученным мною богатством знаний о событиях в Палестине 30-х годов. И так же, как история Рубашова, героя романа "Тьма в полдень" была уже несколько десятилетий знакома читателям свободного мира, но не нам, так и о стране Израиля, куда еще через десять лет нам предстояло уехать, мы не знали почти ничего.

Осуществить свое желание — сделать роман "Воры в ночи" доступным русскоязычному читателю — мне удалось только сейчас. Ценность его как источника информации об истории страны не утрачена до сих пор. Мы привыкли с подозрением относиться ко всякой пропаганде, даже если она направлена на дело, которому мы от души сочувствуем. Может быть, поэтому для нас так важно, что Кестлер пытается дать

\* *Darkness at Noon*. New York, 1941

объективную картину происходящего. События в романе показаны с разных точек зрения: прежде всего с нашей, еврейской, но также и с арабской, и с английской. Привлекает и общий тон повествования, который, надеюсь, удалось сохранить и в переводе, — сдержанно-скептический, подчеркнуто-объективный, но в то же время выдающий глубокую заинтересованность автора тем, о чем он пишет.

”Воры в ночи” для нас, людей, приехавших из Советского Союза, не только исторический роман, написанный хорошо знающим материал автором. А. Кестлер помогает нам разобраться в самих себе, в своем отношении к окружающему нас новому миру. Дело в том, что главный герой романа Джозеф не только участник событий, но и трезвый наблюдатель со стороны, прежде не вспоминавший никогда о своих еврейских корнях и всю жизнь считавший себя настоящим англичанином. Но антисемитизм, оказывается, есть и в Англии. Хоть мы приехали сюда не с оксфордских лужаек, как Джозеф—Йосеф, но как поучительны для нас сцены романа, в которых герой со скрытым отчуждением разглядывает в киббуцной столовой и в тель-авивском кафе выходцев из восточноевропейских местечек, шарахается от ”тарзанов”-сабр, взирает как на диво на ”пейсатых”. Только гнев на весь мир, равнодушный к надвигающейся на европейское еврейство катастрофе, на бездушных политиков, закрывших единственный путь к спасению погибающих — дать им возможность выехать в Палестину — помогает герою почувствовать себя частью этого народа. Эти же чувства помогают и автору, английскому писателю, полностью ассимилированному венгерскому еврею, безоговорочно стать на сторону этого народа в решительный момент его борьбы за существование.

А. Кестлер побывал в наших краях несколько раз: впервые в середине 20-х годов в качестве *оле*, в последний раз во время Войны за Независимость как английский корреспондент. В отличие от других ас-

пектов его мировоззрения, его отношение к еврею, сионизму и Израилю оставалось на редкость неизменным. Кестлер всегда отстаивал право еврейского народа на национальное существование на земле Израиля и одновременно твердил о необходимости полной ассимиляции для евреев рассеяния. Выводы заключительной главы его книги "Тринадцатое колено"\*; в которой он пытается доказать, что предками восточноевропейских евреев были хазары, а не семиты, почти дословно повторяют аргументацию последней главы его книги "Обетование и претворение; Палестина 1917-1949"\*\*\*.

Легко заметить, что писатель противоречит сам себе – так убедительно показал он на примере героя своего романа Джозефа, что для ассимиляции евреев в диаспоре недостаточно одного желания евреев, даже если такое желание есть. Нетрудно обнаружить и "еврейский комплекс" самого писателя, отдавшего сорок лет назад предпочтение Лондону перед Иерусалимом. Нетрудно, но бесплодно. Оценивая предлагаемый роман, вспомним лучше слова А. Кестлера из его автобиографической книги:

"Я не был в Израиле с 1948 года. Но я ощутил глубокое удовлетворение, узнав, что некоторые из членов Комиссии ООН, высказавшейся за образование еврейского государства в 1947 году, потрудились прочесть роман "Воры в ночи" и что книга оказала на них определенное влияние. В тяжелые минуты, когда я спрашиваю себя, добился ли я чего-нибудь стоящего за сорок восемь бурных лет своей жизни, этот факт, вместе с другим, о котором я расскажу позже, утешает меня в моих сомнениях. О большей награде за его труд писатель мечтать не может"\*\*\*.

Напомним, что второй упоминаемый автором

\* The Thirteenth Tribe. London, 1977

\*\* Promise and Fulfilment; Palestine 1917-1949. New York, 1949

\*\*\* Invisible Writing. London, 1954

случай (а хронологически — первый), когда творчество А. Кестлера оказало непосредственное влияние на политические события, связан с его знаменитым романом "Тьма в полдень".

*М. Улановская*

*Придет же день Господень,  
как вор в ночи.*

*Второе послание Петра, 3–10*

*В этой хронике вымышленными являются персонажи, но не события.*

*Книга посвящается памяти Владимира Жаботинского и моим друзьям из киббуцов Галилеи: Ионе и Саре из Эйн ха-Шофета, Лейбу и Гутигу из Хефци-Бы, Тедди и Тамар из Эйн-Гева.*

*Иерусалим, 1945*

**ДЕНЬ ПЕРВЫЙ**  
**(1937)**

*Мы стряхнем с себя прошлое, как  
ветхую одежду, и начнем сначала. Не  
изменять и не улучшать мы хотим,  
а начать сначала.*

*А.Д.Гордон, галилейский пионер*



“Если мне суждено сегодня погибнуть, это произойдет не в результате падения с грузовика”, — думал Джозеф, цепляясь за изодранный брезент кренящейся и раскачивающейся машины. Он лежал на спине, раскинув руки, — горизонтально распятая фигура на трясущемся под звездами катафалке. В машине было столько груза, что Джозеф и его товарищи неслись на четырехметровой высоте от ухабистого, каменного грунта вади. Казалось, вся черная громада грузовика вот-вот опрокинется.

Выглядывая из-под брезента, Джозеф вспоминал ощущение головокружительной высоты, испытанное в детстве, когда он впервые сел верхом на лошадь. Мотор ревел, машина подскакивала на камнях пересохшего речного русла, потом мотор затихал, а через несколько минут заводил свой жалобный рев снова. Впереди по извилистому вади осторожно двигались другие машины, похожие на черных, неуклюжих, спотыкающихся гигантов. До восхода луны оставалось не меньше часа, зато звезды высыпали как напояк: Большая Медведица забавно растянулась на спине, а Млечный Путь зиял, как широкая, блестящая рана на темной ткани неба. Машины ехали с притушенными фарами. Мертвенно-бледные скалы спали вечным сном. Автоколонна, растянувшись на километр, проползала живой гирляндой огней сквозь враждебно затаившуюся ночь.

Грузовик наклонился под углом почти в тридцать градусов, и с другого конца брезента послышалось довольное верещанье Дины. Джозеф мог увидеть Дину только вывернув шею до боли в позвонках или согнув тело дугой и упираясь головой так, что мир представлял перед ним в перевернутом виде. Но вид Дины на фоне звезд стоил этих мучений. Она смеялась, вцепившись обеими руками в брезент:

– Ты сейчас выглядишь еще смешнее обычного.

Ее ивриту с правильными гортанными модуляциями Джозеф завидовал и напрасно пытался подражать. Спереди донесся сухой начальственный тон Шимона:

– Тише вы там!

– Почему? Мы что – на похоронах?

– Ну так ори, пока не лопнешь, – проворчал раздраженно Шимон. Он сидел в напряженной позе с поднятыми коленями.

– И буду орать. Пусть знают, что мы едем. Все равно узнают. Мы едем в Галилею!

Ее голос зазвенел, и она начала знакомый мотив – песню галилейских пионеров:

Эль ивне ха-Галиль,  
Ану нивне ха-Галиль...  
Бог построит Галилею,  
Мы построим Галилею,  
Мы едем в Галилею,  
Мы построим Галилею...

Джозеф подлевал, по-прежнему свисая вниз головой, но особенно злобредный толчок машины повалил его набок и заставил судорожно схватиться за брезент. Голос Дины сорвался.

– Ты в порядке? – спросил Джозеф.

– Да. – Она слегка притихла от встряски. Но через минуту взволнованно закричала:

– Погляди, погляди, это наши?

Далеко впереди, немного левее, появляясь и исчезая, замелькала яркая точка. Немногим более яркая,

чем крупные звезды, она была красной, и ее ритмичное мигание выражало какой-то смысл. Казалось, что она висит в воздухе, но присмотревшись, можно было различить там, вдали, слабые прозрачные контуры холма.

— Попробую сориентироваться. Где Полярная звезда?

— Проведи линию через две крайние звезды Большой Медведицы.

— Помолчите, — слышался голос Шимона. — Я читаю сообщение.

Затаив дыхание, они смотрели на далекую красную точку. Вспышка, тьма, вспышка, вспышка и долгая тьма. Бесконечная, гнетущая тьма, затем опять вспышка и вспышка — точка и тире. Грузовик дрогнул и остановился. Водитель, где-то под ними, наверно, тоже читал сообщение. Вдруг он дико завопил прямо в ночь и так резко рванул вперед, что чуть не вывалил их вон.

— Ну, ну? — нетерпеливо крикнула Дина. — Скажи, ради Бога, в чем дело?

Фигура Шимона впереди, казалось, стала еще напряженней и прямой. Знакомым им резким движением он одернул штанины и заговорил своим обычным агрессивным тоном, но в голосе его зазвучали новые, глубокие интонации:

— Отряд самообороны без сопротивления занял пункт. Выставлены посты, начали окапывать территорию.

— Аллилуя! — закричала Дина, вскочила, и секунду продержавшись на ногах, рухнула на Джозефа. Они покатались к середине кузова. Джозеф видел, что лицо девушки залито слезами. С минуту он надеялся, что То, Что Надо Забыть, потеряло над ней власть. Но она гут же села и с дрожью отстранилась от него.

— Извини, Джозеф.

— Не надо извиняться, — ответил он мягко.

— Вы, наконец, заткнетесь? — пробурчал Шимон.

Они замолкли. Мотор гудел. Грузовик делал резкий рывок, потом гуденье затихало, колеса крутились

вхолостую, взрывая песок, затем машина двигалась дальше. Джозеф лежал в прежнем положении, раскинув руки, лицом к лицу с Млечным Путем. Его мысли обращались к Дине, в отчаянии оставляли ее, он думал о Симоне, с его прямыми плечами, с его хриплым, сдавленным голосом, который слышался минуту назад. Слова о захвате пункта вырвались из него будто под действием огромной силы. Джозеф поражался, как может человек жить в таком постоянном напряжении всех своих чувств. Сам он в серьезные мгновения всегда ощущал, будто он плохой актер, — даже тогда, когда рядом не было зрителей. Даже сейчас.

Задний грузовик подъехал вплотную и включил фары на полную мощность. Резкий луч осветил лицо Симона, а три их тени возникли на шершавом склоне вади. Как в гигантском теневом театре, задвигались их головы и плечи, вздымаясь и опадая на камнях. Потом фары погасли, и все снова стало выглядеть по-прежнему.

Джозефа удивляло, что и в такую ночь ему в голову лезли совсем ненужные мысли. Уж сейчас-то он мог бы отнестись к себе серьезно — так, как к нему относятся другие, а не с привычной самоиронией. Время действовать, а не копать в себе. Миру будут ведомы наши дела, а не бесплодные мысли...

Небольшая стая шакалов, которая незримо сопровождала автоколонну, принялась беспричинно и как-то неубедительно подвывать. Грузовик сделал поворот, и внизу, на равнине, стали видны фары передних машин, продвигающихся вперед медленно, осторожно, но неустанно.

”Да, — размышлял Джозеф, — мы восстановим Галилею, входит это в планы Бога или нет. Моя беда в том, что, участвуя в драме, я все время осознаю этот факт своего участия в ней. Арабы бунтуют, англичане, бросая нас на произвол судьбы, умывают руки. Нас ждут полторы тысячи акров камней на вершине холма, посреди арабских деревень. Вокруг ни одного еврейского поселения, и в придачу ко всему — малярийные

болота. Но когда еврей возвращается в Страну, видит камень и говорит: "Этот камень — мой", — то автоматически щелкает пусковая кнопка, не действовавшая две тысячи лет".

Он заметил, что отлежал правую руку, и помахал ею в воздухе. "Черт возьми, не исключено, что вся идея Возвращения ни что иное как романтическая феерия. И если меня убьют, я даже не узнаю, погиб ли я в трагедии или в фарсе. Но так или иначе, чувство, которое вызывает эта страна, реально. Самое реальное из пережитых мною чувств. Смешно. Об этом надо будет поразмыслить, если выдастся время".

Он повернулся, чтобы взглянуть на Дину. Она тоже лежала на спине, под прямым углом к нему, на некотором расстоянии, закинув руки за шею. Профиль мягко вырисовывается при свете звезд, губы приоткрыты в улыбке. Она тоже думает о месте, к которому они приближаются. Она побывала там год с лишним назад, еще до того, как эту землю купил у арабов Национальный фонд\*. Она не помнила точно, какой это холм. Все холмы Галилеи похожи друг на друга, их очертания плавны, будто формы женского тела, только ребра-камни выступили наружу оттого, что земная плоть размывалась дождями и развевалась ветром в течение долгих веков запустения. И хотя Дина ничего толком тогда не запомнила, она знала, что это был прелестный холм, и вот они едут, чтобы сделать это место плодородным как встарь. Они удобряют истощенную землю, залечат гнойники болот и покроют наготу холма нарядом деревьев и кружевом террас. Будут расти фиги и маслины, перец и лавр. Маки и цикломены, подсолнечники и розы Шарона. Прежде всего мы построим частокол, сторожевую вышку и палатки, душевую, столовую и кухню. Потом появятся мощеная дорога, коровник, овчарня и детский сад. Затем жилые дома. Через два года у нас будет столовая из стекла и бетона, читальня, бассейн

\*Керен Касмет — еврейский земельный фонд, основанный в 1901 году.

и театр на открытом воздухе. Это будет чудное место, и назовут его Башня Эзры. Оно поможет мне одолеть То, Что Надо Забыть, у меня будет ребенок, и еще ребенок. А им ничего не нужно будет забывать. Может, их отцом будет Реувен, а может, Джозеф. Или Авель, или Джозеф. О, я их всех люблю, даже Шимона. Я люблю наш холм, люблю камни, люблю звезды...

Шимон сидел выпрямившись в передней части кузова, уперев локти в колени. Он думал об отрывке из книги Исаяи, на который он случайно – а, может быть, и не случайно – наткнулся прошлой ночью: "Дикое и заброшенное место будет им радо; и возрадуется пустыня".

"Мы идем, – шептал он про себя, – мы пришли, мы вернулись".

Джозеф фыркнул.

– В чем дело? Ты тронулся? – спросила Дина, садясь. – Ну скажи?

– У тебя испортится настроение, – ответил он, давясь от смеха. – Скажу, когда приедем.

– У меня испортится настроение, если только перевернется грузовик.

– Но в этом-то и дело! Посмотри. – Он взял Динину руку и завел ее под край брезента. – Чувствуешь?

– Ящики, корзины. Ну и что?

– Совершенно верно. Эти корзиночки мне хорошо известны. В них яйца домашнего производства!

Дина несколько принужденно рассмеялась. К самодельным ручным гранатам большого доверия не испытывал никто. Известно было, что они способны взрываться в самый неподходящий момент. Офицер английской полиции выразился о них так: "Слишком нервные, типично еврейские гранаты".

– Знаешь, – веселился Джозеф, – они уложены в песке, как настоящие яйца. А ты сидишь на них, как курица в ожидании цыплят, и мечтаешь!

Грузовик тряхнуло, и они стукнулись лбами.

– О, Моше Рабейну, лучше бы ты мне ничего не говорил!

Невидимый водитель глубоко под ними включил фары на полную мощность. Бледный луч задрожал на пустынной, каменистой земле.

— Лучше бы вы помолчали хоть минуту, — сказал Шимон, не поворачивая головы, — мы почти на месте.

2

Все происходило неспешно, почти небрежно, но строго по плану. Три часа назад, в час ночи, сорок парней, назначенных в авангард отряда самообороны, собрались в общей столовой старого поселения Ган-Тамар, откуда должен был начаться поход.

В просторной, пустой, со сводчатым потолком столовой парни выглядели совсем юными, неуклюжими и сонными. Большинству не было девятнадцати лет, все — сабры, сыновья и внуки первых поселенцев из Петах-Тиквы, Ришон ле-Циона, Метуллы и Нахалала. Иврит был их родным языком, а не выученным, страна — не исторической, а просто родиной. Европа представлялась им романтической жутковатой легендой, новым Вавилоном, страной изгнания, где их предки сидели на реках и плакали. Большею частью веснушчатые блондины с широкими лицами и тяжелой костью, они были неуклюжими крестьянскими парнями, непохожими на евреев и слегка туповатыми. Их не преследовали воспоминания, забывать им было нечего, не чувствовали они на себе старинных проклятий и не лелеяли истерических надежд. Типичной для них была крестьянская привязанность к земле, патриотизм школьников и самоуверенность молодой нации. Их называли сабрами — по имени колючего, довольно пресного плода кактуса: они тоже выросли на сухой и бесплодной почве и были жесткими и упрямыми, как он.

Среди них было несколько европейцев, выходцев из "нового Вавилона", которые прошли подготовку в молодежных организациях Хе-Халуц и Ха-Шомер

ха-цаир, сочетавших рвение религиозного ордена с догматизмом социалистического дискуссионного клуба. Их лица были смуглее, тоньше и резче, чем лица сабр, и несли печать Того, Что Надо Забыть. Эта печать проглядывала в изгибе носовой кости, в чувственных очертаниях губ и задумчивом взгляде влажных глаз. Рядом с флегматичными и крепкими сабрами они казались слишком нервными, чересчур напряженными, энтузиазма в них было больше, а надежности меньше.

Все они сидели за самодельными столами, отяжелев от недосыпания и непривычной тишины. Голые лампочки светили тусклым, унылым светом. Деревянные солонки и бутылки с оливковым маслом казались ненужными оазисами среди пустыни столов. Многие парни были одеты в форму вспомогательной милиции\*. Слишком просторные для них кителя цвета хаки и широкополые шляпы придавали им особенно юный вид. Несколько человек из Хаганы — нелегальной организации самообороны — были в гражданской одежде. Когда при защите еврейских поселений от арабов члены этой организации попадали в руки англичан, их отправляли в тюрьму вместе с арабами.

Наконец явился командир отряда Бауман. Одет он был в бриджи для верховой езды и черную кожаную куртку. Костюм этот напоминал об уличных боях 1934 года в Вене, когда злобный карлик Дольфус, крестясь после каждого выстрела, приказал открыть огонь из пушек по рабочим домам. Пушки били в упор по балконам с цветочными горшками и сохнувшим бельем. Бауман получил кожаную куртку, а также нелегальную, но вполне серьезную подготовку в рядах шуцбунда\*\*. У него было круглое живое лицо венского

\* Supernumary police (ивр. — нотрим) — военный отряд, созданный английскими мандатными властями в 1936 году для защиты еврейских поселений от арабских террористов.

\*\* Военизированная организация самообороны социал-демократической партии Австрии в 20–30 годах.

подмастерья-булочника. Лишь иногда, в моменты усталости и раздражения, на этом лице появлялась печать Того, Что Надо Забыть. У Баумана эта печать была связана с тем, что именно его родители жили в одном из домов с балконами, уставленными цветочными горшками, а также с ощущением, оставшемся на его лице от теплой влаги плевков юмориста-надзирателя в Граце, разносившего по казармам завтрак.

Бауман выстроил парней вдоль стены, отделяющей столовую от кухни.

— Грузовики придут через двадцать минут, — объявил он, скручивая сигарету. Иврит его был так себе. — Большинству из вас известно, о чем речь. Участок, площадью около 1500 акров, который мы должны захватить, куплен несколько лет назад нашим Национальным фондом у землевладельца-араба по имени Заид Эффенди эль-Мусса, проживающего в Бейруте и в глаза не видевшего своей земли. Участок состоит из холма, примыкающей к нему долины и ближайших пастбищ. Холм этот — груда камней, плуг не касался его последнюю тысячу лет, но — со следами террас, сооруженных в древности евреями. На этом холме будет создано новое поселение Башня Эзры. На некоторых полях в долине работали арабы, арендаторы Заида Эффенди, живущие в соседней деревне Кафр-Табие. Им заплатили компенсацию, в три раза превышающую стоимость земли. На эти деньги они могли купить участки лучше этих — по другую сторону холма. Один из арендаторов даже купил фабрику по производству льда в Яффо.

Кроме того, имеется бедуинское кочевье, пасущее без ведома Заида Эффенди на его пастбищах каждую весну своих овец и верблюдов. Шейх бедуинов тоже получил денежную компенсацию. Когда сделка была оформлена, жители Кафр-Табие вдруг вспомнили, что часть земли принадлежит не Заиду, а является общей собственностью деревни. Эта часть шириной около ста метров тянется от подножья до вершины холма и делит его на две части. Общинную землю по

закону можно продать только с согласия всех жителей. В Кафр-Табие 563 души, принадлежащие 11-ти хамулам, то есть кланам. Каждого из старейшин клана пришлось подкупать отдельно. Получены отпечатки пальцев всех 563-х жителей, включая младенцев и деревенских дурачков. Кроме того, трое жителей много лет назад уехали в Сирию. Их пришлось разыскать и подкупить. Двое жителей — в тюрьме, двое умерли за границей; документов об их смерти не имелось, их пришлось добыть. В результате сделки каждый квадратный метр каменистой почвы обошелся Национальному фонду примерно во столько, сколько стоит квадратный метр земли в центре Лондона или Нью-Йорка...

Он бросил сигарету и потер правую щеку ладонью — по привычке, оставшейся от общения с надзирателем в Граце.

— Чтобы покончить с этими маленькими формальностями, понадобилось два года. А когда с ними покончили, разразился арабский бунт. Первая попытка войти во владение собственностью провалилась. Поселенцы были встречены градом камней и отступили. При второй, более энергичной попытке, жители открыли огонь и убили двух человек. Это случилось три месяца назад. Сегодня вы сделаете третью попытку, на этот раз успешную. За ночь на холме надо построить частокол, сторожевую вышку и первые жилые помещения. До рассвета участок должен быть захвачен. Через два часа второй отряд приведет на холм колонну поселенцев. До утра арабы ничего не заметят. Днем они едва ли решатся напасть. Критическое время — первые несколько ночей. Потом пункт будет уже укреплен.

Кое-кто из наших осторожных боссов предлагает подождать спокойных времен. Участок отстоит от ближайших еврейских поселений на расстояние в одиннадцать километров. Поблизости сирийская граница, откуда проникают мятежники. Но именно по этим соображениям мы решили не ждать. Едва арабы пой-

мут, что им не лишить нас наших законных прав, они предпочтут с нами договориться. Но заметив с нашей стороны слабость, нерешительность, они сперва обдерут нас как липку, а потом сбросят в море. Вот почему нынче ночью Башня Эзры должна стать на холме. Осталось пять минут. Пошлите людей на кухню за кофе.

В час двадцать Бауман и сорок парней выехали на грузовиках с потушенными фарами из ворот поселения.

3

Некоторое время просторное помещение столовой, освещенное электрическими лампами, пустовало.

Около двух зашел часовой Миша, налил себе из кухонного бойлера стакан кипятка и отправился будить поваров и раздатчиков. Через 15 минут они потянулись в столовую, с еще припухшими от сна лицами, но взбодренные холодным душем. Сегодня им пришлось встать на три часа раньше обычного, чтобы накормить новеньких, которые через час отправятся в путь. Через несколько минут на столах появились миски с салатом, горки толсто нарезанного хлеба, глиняные кружки и алюминиевые миски. Грубые еловые столы стали выглядеть веселее. Сто пятьдесят мужчин и женщин, которым предстояло отправиться с автоколонной, расселись за столами. По обычаю рассаживались в том порядке, в каком входили, не выбирая места и соседства, по восемь человек за каждым столом. Обычай этот облегчал работу раздатчиц и одновременно служил целям социальной смывки, перемешивая членов киббуца три раза в день.

На этот раз их состав был несколько необычным: двадцать пять молодых людей, будущих поселенцев Башни Эзры, и сто двадцать добровольцев, которые должны были помочь новичкам построить до заката солнца укрепленный лагерь, а потом, в конце первого

дня, вернуться домой. Вспомогательный отряд прибыл из старых киббуцов Иудеи и Самарии, из Израэльской долины и Верхней Галилеи. То были в большинстве своем известные всем люди, кое-кто и с легендарным прошлым халуцианских времен. Новички, сидя среди молчаливых и сосредоточенно жующих ветеранов, были преисполнены благоговения. Хотя именно новички были в центре событий, они невольно ступенькивались среди сидящих среди них внушительного вида ветеранов, не обращавших на них особого внимания. Потерявшие от волнения аппетит, новички были слегка разочарованы внешней прозаичностью этого рокового ночного часа, которого они месяцами и годами страстно ждали.

Дина обрадовалась, увидев, что оказалась рядом с легендарным Вабашем, одним из двенадцати первых поселенцев Дгании, приехавших из Польши в 1911 году. Вабаш казался Дине настоящим библейским патриархом. Белая курчавая борода покрывала все его лицо и росла даже из ноздрей и ушей. Голубоглазый, в голубой рубашке с отложным воротничком и вельветовых коричневых брюках, перетянутых поперек внушительного живота потрепанным кожаным ремнем, он сосредоточенно ел свою кашу. Борода мешала еде, и он привычным жестом засовывал ее за воротник рубашки. Дина ощущала трепет от близкого соседства со столь выдающейся личностью. Наконец она легонько коснулась его локтя:

— Товарищ Вабаш, хотелось бы знать, о чем вы думаете?

Он удивительно легко повернулся, его ложка повисла в воздухе:

— Что, дорогая?

Сидевший напротив Джозеф скорчил свое умное обезьянье лицо в насмешливую гримасу. В этот момент он ей определенно не нравился. Она тронула Вабаша за руку:

— Как это прекрасно, что вы приехали к нам на помощь!

Он снова повернулся к ней, и Дина невольно отметила, что глаза у него водянистые, а круглое, детское лицо, если убрать бороду, выглядело бы бесцветным и невыразительным.

— Так ты, дорогая, из новых халуцим? Хорошо, очень хорошо. Вы, молодежь, продолжаете начатое нами дело.

Дина пожалела, что затеяла этот разговор. В сторону Джозефа ей не хотелось смотреть, и она принялась за салат. Однако старый Вабаш, покончив с кашей, разговорился. Мягким голосом рабби, с явно выраженным идишитским акцентом, он говорил о национальном возрождении и социалистическом идеале, о счастье строить дважды обетованную землю и о трагедии миллионов, томящихся в изгнании. Снова и снова он торжественно произносил слова "массы" и "миллионы" и, казалось, получал мрачное удовольствие от таких слов, как "трагедия" и "преследования". Но Дине казалось, что эти слова, сочась сквозь кудри его белой библейской бороды, теряли по пути всякое реальное значение и не имели никакого отношения к изъязвленной ткани ее памяти, к Тому, Что Надо Забыть. Наконец свисток возвестил о том, что грузовики готовы. Послышалось громкое шарканье ног разом поднявшихся со своих мест людей. Не сказав на прощанье старому Вабашу ни слова, Дина вместе со всеми шла к дверям. В широком проходе между столами с ней столкнулся Джозеф. Казалось, она вот-вот заплачет.

— Беда в том, — сказал Джозеф с усмешкой, — что он все твердил: "миллионим, миллионим". Приходило тебе в голову, что на иврите нет слова "миллион"? Самая большая цифра у нас тысяча. Поэтому ему приходилось пользоваться современным числительным в древней форме множественного числа. Вот что так раздражает. Надо изъять миллион из нашего словаря. Тысячу еще можно представить, миллион уже абстракция.

Они вышли вместе с толпой во тьму и стали ждать

своей очереди на грузовик. Вовсю светя фарами одна за другой подъезжали машины, брали людей и, трясясь по каменистой дороге, двигались к распахнутым воротам. С уходом каждого грузовика тьма все больше сгущалась. Свежий утренний ветер долетал с моря, звезды сурово молчали.

Рядом с Диной будто по стойке "смирно" стоял Шимон, окутанный одиночеством, как плащом.

— Давай залезем на самый верх грузовика, — предложила Дина. — Чудесно ехать наверху.

После двух часов ночи последний грузовик автоколонны двинулся к далекому, залитому светом звезд холму, непотревоженному человеком за последнюю тысячу лет, к тому месту, которое станет киббуцом Башня Эзры.

4

В 6.30 утра мухтара деревни Кафр-Табие разбудил его старший сын Исса:

— Отец, они захватили Собачий холм.

Мухтар встал с постели и вышел на балкон. Вершина каменистого, бесплодного холма, казалось, кишела от маленьких, ползающих фигурок. Посреди этого суетливого муравейника можно было различить нечто вроде мачты. Это была сторожевая вышка.

— Дай сюда бинокль, — приказал мухтар сыну.

В бинокль вышка была видна во всех деталях. На ее верхушке, как глаз циклопа, горел прожектор. По ночам прожектор будет посылать вести собратьям оккупантов, оскверняя мирную темноту холмов. Вокруг вышки строился лагерь, натягивали колючую проволоку и рыли траншеи. Уже стояло несколько палаток и возводилась стена деревянного разборного дома. А вокруг суетятся фигуры: роят, стучат и бегают в такой чуждой, непотребной спешке, в гнусной одежде, с непокрытой головой и расстегнутых рубашках. А как отвратительны их бесстыжие женщины. с голыми

икрами и пупками, выглядывающими из-под рубах. Шлюхи, суки и сукины дочери!

Мухтар опустил бинокль. Его лицо стало желто-зеленым, как от приступа малярии, глаза налились кровью. Его чуть не вырвало при мысли, что отныне первым, что станут встречать его глаза по утрам, будет эта мерзость, эта скверна, этот наглый вызов чужаков. Псы Собачьего холма, роняя свое дерьмо, валяясь в нем, будут строить на нем свою крепость. Все погибло. Отравлена вся округа. Никогда больше ему, мухтару Кафр-Табие, не радоваться, выходя на свой балкон, глазам его не покоиться, созерцая Божье творенье, не смотреть на неторопливо, с достоинством идущих за сохой феллахов, не следить за стадами овец на склонах холма. Глазам его — упираться отныне в одну точку, в этот отравленный фонтан зла, источник святотатства и искушения.

Из глубины дома послышались шаги. Стуча палкой, не обращая внимания на почтительные приветствия сына и внука, слепой старик приблизился к парапету балкона и повернул лицо в сторону холма.

— Где? — спросил он отрывисто. Его жидкая седая борода торчала вперед, орлиный нос, казалось, принюхивался, чтобы почуять в воздухе запах оккупантов.

— Там, на Собаьем холме, — смиренно ответил мухтар, показывая палкой старика направление. — Я не виноват, — сказал он хриплым, жалобно дрожащим голосом. — Землю продали бы и без меня, а мы бы ничего не получили. — Старик не ответил, не пошевелился. — Я получил только восемь сотен, а они все равно бы продали. Я ничего не мог поделать. Эти свиньи нас обманули. В Хубейре они заплатили по семь фунтов за дунам, и еще пятьсот — мухтару.

Старик опять ничего не сказал и через несколько минут повернулся и ушел в дом. Мухтар отправился в спальню, не оглянувшись на холм, но на спине своей, между лопаток, он чувствовал, что холм глядит на него с насмешкой, как чувствуют дурной глаз. ...Мухтару грозили две беды: петля англичан и пуля

арабских патриотов. Патриоты были повсюду, по всем холмам, возглавлял их знаменитый революционер из Сирии Фаузи эль-Дин Каукаджи — дай ему Бог долгих лет жизни, только подальше от мирной деревни Кафр-Табие. Но беда в том, что тайный штаб патриотов был в настоящее время на расстоянии не больше трех часов езды, и люди его регулярно наведывались в деревню, взимая дань в пользу Дела овцами, мукой и табаком.

...Патриоты зашли слишком далеко — убивают не только евреев, но и англичан. Повернули против самого правительства. А военные власти в последнее время надумали взрывать дома, наказывая жителей мирных деревень, вроде Кафр-Табие. Конечно, Арабский банк щедро давал жертвам кредит на постройку нового дома, но все равно, — дом есть дом, а если это такой хороший дом, как у мухтара, не стоит рисковать, не говоря уже о собственной шее, которой в случае чего никакой банк не поможет.

С другой стороны, Фаузи совершенно ясно просил послать гонца, если евреи снова попытаются занять Собачий холм. Интерес вождя патриотов понятен. Он хочет раз и навсегда показать всему миру, что арабский народ решил положить конец строительству новых еврейских поселений. Если Фаузи повезет, эти псы никогда не решатся сюда вернуться, и непрерывная утечка земли в их руки прекратится.

Да, цель Фаузи абсолютна ясна, и можно надеяться, что он сотрет псов, захвативших Собачий холм, с лица земли. Мухтар глубоко вздохнул. О, проснуться утром, взглянуть на холм и увидеть, что вышки нет, а эти ползающие насекомые исчезли, как джины при свете дня! Дышать чистым воздухом, созерцать мирную страну, тихие холмы. Бог свидетель, это будет!

Мухтар поднялся. Он принял решение. Он дал обещание Фаузи эль-Дину, и он его сдержит, каковы бы ни были последствия. Пусть англичане взорвут деревню, пусть взорвут даже его собственный дом, но они убедятся, что угрозами и жестокостью не победить народ, объединенный решимостью защитить свою зем-

лю от оккупантов. Кроме того, — что англичане смогут доказать? Кафр-Табие — мирная деревня, феллахи спят сном праведников и ничего не знают.

...Решив так, мухтар успокоился и почувствовал мир в душе. Он знал, что он слабый, порочный и корыстный человек. Но он также знал, что любовь его к этим холмам и к этой земле сильна и что он будет защищать ее любой ценой — хитростью, отвагой, обманом. Он был готов — по крайней мере, в эту минуту — хоть в петлю, и был уверен, что не дрогнет даже перед петлей.

5

Колонна прибыла на место перед рассветом. Машины полегче взобрались почти на вершину. Моторы ревели, радиаторы разбрызгивали воду, машины ползли со скоростью трех километров в час вверх по склону, по клочковатой, сухой, осыпающейся земле. Тяжелым машинам пришлось остановиться на полпути к вершине, где кончалась грунтовая дорога.

Бауман с парнями поджидали колонну на вершине. Они приехали два часа назад и уже вполне освоились среди негостеприимных, освещенных звездным светом камней. Отряд рассредоточился вдоль волнообразной седловины холма и у скалы, нависающей над скатом. В воздухе мелькали огоньки сигарет, резко выделяясь на фоне звездного неба. На вершине, на этом господствующим над округой месте, был аккуратно размечен прямоугольник земли 80 на 50 метров — площадь будущего лагеря. Прерывисто, с натугой, тархтел трактор с плугом, проводя первую символическую борозду, что по арабскому обычаю означало, что новые поселенцы завладели землей.

Около половины шестого небо над холмом с восточной стороны слегка засветилось, готовясь к новому дню. Сероватая бледность расплзлась, растворяя одну за другой звезды, и вот, как бы в спешке, выкатилось

солнце. За четверть часа безоблачное небо из светлосерого стало зеленовато-голубым, и со всех сторон обрисовались в своем нормальном, дневном виде бесплодные, заброшенные, плавно изогнутые холмы. Коричневые вблизи, на расстоянии они казались светлосерыми, с фантастическим, нежно-сиреневатым оттенком у горизонта. Людям открылся голый и пустынный, но смягченный временем пейзаж. Скалы стояли навечно, редкие и чахлые оливы источали спокойную покорность, ястребы кружили над холмами, плавной кривой полета как бы повторяя очертания холмов.

К востоку, на соседнем склоне через долину, стояла тихая и казавшаяся заброшенной деревня Кафр-Табие. Дома были одного цвета с холмом, построены из камня и глины холма. Они притулились к склону и сливались с ним как бы по законам мимикрии.

Террасы ниже деревни защищались каменными оградами, частично разрушенными дождем. Крыши домов были полукруглые или плоские, заросшие травой. Вся деревня похожа была на древние развалины, растянувшиеся по склону и тихо распадающиеся в прах, из которого встали когда-то в незапамятные времена. Деревня мирно купалась в ранних, но уже горячих лучах галилейского солнца.

Люди, прибывшие с колонной, столпились вокруг грузовика, с которого Реувен, командир новых поселенцев, объяснял каждому его задачу. Реувен был высокий, костлявый парень со скупыми жестами; он умел говорить авторитетно, не повышая голоса. Вскоре каждый был при деле. Человек пятьдесят расчищали путь для тяжелых грузовиков, застрявших на расстоянии около 200 метров. Собранные камни отправляли в корзинах по цепочке к вершине, где члены Хаганы строили из них бруствер для защиты пяти будущих блиндажей — двух с северной стороны и по одному с восточной, южной и западной. Третья группа копала траншеи, чтобы соединить блиндажи друг с другом. Слой земли под поверхностным каменистым грунтом, был неглубок. Спрятаться в такой траншее можно

было только на четвереньках. Еще одна группа вбивала столбы для колючей проволоки, которая должна была окружить лагерь. Одновременно внутри лагеря началось возведение сторожевой вышки и жилых строений. Деревянную вышку длиной в 35 футов и весом более трех тонн привезли на грузовике со специальным прицепом. Ее установкой занимались специалисты, проделавшие эту ответственную работу в других поселениях. Их метод был прост и остроумен. Собрав кучу камней, они надвигали над ней переднюю часть прицепа, пока основание башни, выдающееся над задним концом прицепа, не опускалось на землю. Затем один конец железного кабеля прикреплялся к вершине, а другой — к барабану, работавшему от тракторного мотора. К вершине крепились также два каната, десяток рук держали канаты под прямым углом к кабелю за два конца, чтобы вышка не свалилась набок. В настоящий момент она лежала на прицепе, подобно гигантской фигуре с канатами, раскинутыми, как руки. И вот заработал мотор, барабан закрутился, кабель начал тянуть гиганта за голову, подымая его ввысь. Было что-то волнующее в медленном, величественном поднятии башни, и, глядя на это зрелище, все бросили работу. Затаив дыхание, люди смотрели, как она подымается сначала под углом в 30, потом в 45, а затем в 60 градусов. Когда вертикальное положение почти было достигнуто, мотор остановился, и во внезапно наступившей тишине башня продолжала очень медленно клониться вперед под действием собственного веса, как человек, балансирующий на каблучках. Канаты продолжали натягивать, чтобы обеспечить плавный поворот вышки. Наконец ее основание с легким толчком полностью утвердилось на земле. Вышка дрогнула и встала, устойчивая и прямая. Хриплый, нечленораздельный вой вырвался у толпы, выразив все напряжение прошлой ночи. Минуту казалось, что люди вот-вот начнут вокруг вышки какой-нибудь языческий танец. Затем, поколебавшись в нерешительности, они подхватили инструменты и разошлись по местам.

В 6.30 утра, к тому моменту, когда проснулся мухтар Кафр-Табие, на холме стояли две палатки, разгрузка машин шла полным ходом, тащили на место первую сборную секцию первого жилого барака, и Башня Эзры, казалось, стояла здесь с незапамятных времен. На небольшой платформе на вершине башни стоял Бауман, глядя в бинокль. Рядом — парень с красным сигнальным флажком. Вскоре после восхода солнца Бауман послал на соседние холмы конный патруль, и трое из посланных только что появились с восточной стороны долины. Всадники ехали медленно, один за другим, в арабских кефиях и вполне вписывались в окружающий пейзаж. Вдруг первый широким взмахом поднял над головой флажок.

— Передавай, — приказал Бауман парню, не отрываясь от бинокля.

Тот сначала очертил флагом полукруг, секунду задержал его над головой и резко опустил. Движения его были быстры и точны, как у заводной игрушки. Флаг рассекал воздух с легким шелестом. Наступила очередь всадника. Невооруженному глазу его флаг казался красной точкой, мелькающей в воздухе по вертикали, по горизонтали и по окружности.

— Все спокойно, — прочел Бауман, глядя в бинокль. — Чересчур спокойно, — сказал он парню. — Передай, чтобы продолжали.

К 9 часам удалось расчистить путь для тяжелых машин. Немедленно началась разгрузка. Пустые машины отправились назад, в Ган-Тамар, за остатками снаряжения. К этому времени три сборные стены жилого барака стояли на месте, ямы для уборных выкопаны, бак с водой укреплен на непрочной, временной основе и выгружены трубы для душа. Кое-кто из добровольцев уже подумывал о перерыве, но оказалось, что он будет только в 12 часов.

В 10.45 сторожевые посты сообщили о приближении группы арабов со стороны Кафр-Табие. Бауман с вышки уже заметил их. Выглядели они странно. Впереди

шли двое босоногих детей в широких полосатых халатах. За ними — четыре женщины в черном, тоже босиком. И наконец — десяток невооруженных мужчин с пастушьими палками в руках, в полосатых, похожих на юбки, одеждах, в европейских пиджаках и ботинках на босу ногу. Они шли по склону неторопливо, лица детей выражали испуг, женщины были безучастны, а мужчины — насторожены и бесстрашны.

При их приближении работающие у колючей проволоки только мельком глянули на них и продолжили свое дело. Но лица напряглись и замкнулись. Весь энтузиазм пропал. Бауман и Реувен встретили арабов у заграждения. Мужчины медленно приблизились, женщины и дети попятились назад. Заметив траншею, арабы проследили взглядом ее направление вокруг лагеря.

— Мархаба, — сказал один из них, — здравствуйте.

— Добро пожаловать, — ответил Реувен.

Арабы двинулись вдоль ограды к неогороженному концу. Но там с каменными лицами, опираясь на ружья и заграживая вход, стояли бойцы Хаганы.

— Можно войти? — спросил, вежливо улыбаясь, один из арабов, похожий скорес на турка.

— Пройти могут двое, — ответил Реувен. По-арабски он говорил так же бегло, как и на иврите, и так же деловито.

— Аллах, — взволновался второй араб, — неужели нам не позволят даже ступить на землю наших отцов, на свою собственную землю?

— Земля эта — наша, — ответил Реувен, — люди работают, нечего им мешать. Приходите через несколько дней, с радостью вас угостим.

— Мы хотим поговорить, — сказал похожий на турка, обнажив в улыбке гнилые зубы.

— В таком случае, добро пожаловать — двое.

— Не иди, — убеждал взволнованный, — кто знает, что может случиться? Аллах, на нашей собственной земле!..

— Идем, Абу-Тафиди, поговорим, — сказал Турок.

— Не иди, Абу-Тафиди, эти люди замышляют что-то дурное, иначе они впустили бы нас всех!

Арабы громко пререкались друг с другом, евреи молча наблюдали. Наконец, Турок и Абу-Тафиди вошли в лагерь, а остальные расположились на земле у ограждения. Абу-Тафиди принадлежал к клану мухтара, точнее, был его двоюродным братом, высокий, костлявый, заметно горбящийся старик со спокойной манерой говорить. Турок был полноват, с мягкими движениями и живым лицом. Они обменялись приветствиями с Бауманом и Реуеном, сели под вышкой и начали горячо обсуждать погоду и виды на урожай. Наконец Турок приступил к существу вопроса. Улыбаясь искренне и убежденно, он заявил, что поселенцы — симпатичные здоровые ребята, которым он желает всего самого лучшего, — стали жертвой трагической ошибки, начав строить лагерь, потому что земля эта им не принадлежит, и лагерь в скором времени, согласно закону, конечно, придется свернуть. Так не лучше ли уйти с миром сейчас же? Он говорил с большой теплотой, производя руками мягкие движения, как в театре глухонемых.

Реуен его прервал:

— Что это за чепуха насчет якобы не принадлежащей нам земли?

Турок рассмеялся, как от удачной шутки.

— Ведь, конечно, — объяснил он, — они знают закон от 1935 года о защите права арендатора в случае продажи земли? Конечно знают и только разыгрывают незнание — ха-ха! — Он подмигнул, шлепнул себя по колену и погрозил пальцем, а старик молча и равнодушно глядел. — Конечно, — продолжал Турок, — поселенцы предложили арендаторам некоторую компенсацию, но разве этого достаточно? Разве это справедливо? Конечно нет! Закон гарантирует защиту прав арендаторов, а закон — свят. И если некоторые из них, темные, необразованные бедняки, согласились в какой-то момент по глупости получить деньги и подписали бумагу, не понимая ее содержания, — что из этого? Кто

скажет, что такой договор законен? Бросьте, — отечески улыбался Турок, — вы ведь образованные люди, кончили школы и университеты, вы сами все понимаете. Конечно, вы предпочтете действовать по закону и избежать кровопролития!

Бауман и Реувен одновременно встали.

— Нам надо работать, — сказал Бауман. — Земля приобретена по закону, и нечего об этом говорить.

Лицо Турка потемнело, улыбка исчезла, как не бывала.

— Вы — безумцы и дети смерти, — сказал он тихо. — Не знаете, что может с вами случиться.

— Мы готовы, — кратко ответил Бауман.

Минуту длилось молчание. Один из парней Баумана подошел, держа медный поднос с четырьмя маленькими чашками кофе. Турок, слегка поколебавшись, взял одну, старик отказался. Кофе пили стоя. Затем старик впервые заговорил:

— Я мало знаю законы, — голос его был мягкий, почти нежный, — богатый и хитрый может предложить деньги бедному и темному, и тот продаст ему свой скот и дом. Нет в этом справедливости. Холм принадлежит нашим отцам и дедам. Он наш.

— А еще раньше он принадлежал нашим предкам, — ответил Бауман.

— Да, так сказано в книгах. Но ваши предки потеряли землю. Потерянную землю нельзя вернуть за деньги.

— Этот холм оставался бесплодным с тех пор, как наши предки его потеряли. Вы забросили землю. Дали разрушиться террасам, и дожди размыли почву. Мы расчистим камни, привезем тракторы и удобрения.

— Нам хватает урожая с долины, — сказал старик. — Где Бог положил камень, пусть он там лежит. Мы будем жить, как жили наши предки. Мы не хотим ваших тракторов, ваших удобрений и ваших женщин, вид которых оскорбителен для глаз.

Он говорил сердито, но не повышая голоса, как человек, привыкший, что молодые слушают его с уважением, и слепо подчиняются.

— У нас разные взгляды, — вежливо сказал Бауман, но решительно прибавил: — Мне кажется, больше говорить не о чем.

Старик повернулся и пошел прочь. Поколебавшись, Турок сказал:

— Феллахи Кафр-Табие — мирные люди, но арабы в округе — не столь мирные. — Он понизил голос и прибавил доверительным тоном: — Мухтар поручил мне предупредить вас об этом в знак доброй воли, хотя, если патриоты узнают, ему не сдобровать.

Бауман усмехнулся:

— Ваш мухтар — умный человек. Кому охота, чтоб взорвали его дом? Ваш мухтар похож на лису в норе с выходом на две стороны, к восходу и к закату.

Турок пожал плечами: "Мир вам". И пошел догонять старика.

Арабы за оградой поднялись им навстречу. Сначала они сидели молча, напряженно следя за тем, что происходит под вышкой. Но увидев, что Турок смеется и шлепает себя по колену, они облегченно вздохнули. Им предложили кофе на подносе, они дважды, как положено, отказались, на третий — взяли и совсем повеселели. Дети жевали апельсины, а женщины, сидя кучкой в стороне от мужчин, смеялись над голоногими девушками. Мужчины заговаривали с бойцами Хаганы. Некоторые из них знали арабский. Бойцы, опираясь на винтовки, отвечали покровительственно и угощали арабов сигаретами. В тот момент, когда переговоры под башней закончились, одноглазый крестьянин как раз начал расспрашивать, не собираются ли поселенцы прислать доктора и открыть аптеку, как делалось в других поселениях, и сможет ли доктор вылечить его слепой глаз. Увидев потемневшие лица своих представителей, арабы окружили их с видом провинившихся школьников. Турок и старик молча пошли вперед, остальные двинулись вслед, и вся процессия медленно, не оглядываясь, стала спускаться вниз.

Турок со стариком молчали до самой долины. Потом Турок сказал:

— Пусть черти унесут их, но трактора оставят. Псы они и сукины дети, но работать умеют. Вырастят на этом каменном холме помидоры, дыни и Бог знает, что еще. — Турок вздохнул: — Мы слишком ленивы, ей-Богу.

Старик презрительно ответил:

— Ты рассуждаешь, как дурак. Я живу для этого холма или он — для меня?

После ухода феллахов Джозеф подошел к Бауману:

— Слушай, почему ты не пустил их всех в лагерь? Это очень невежливо.

Бауман взглянул на него с легкой улыбкой:

— Мы слишком слабы, чтобы позволить себе быть вежливыми. Не пустив их, мы показали, что хозяева здесь — мы. Подсознательно они это усвоили.

Джозеф усмехнулся:

— Откуда тебе известна их психология?

— Интуиция!

— Я думал, что интуиция действует только по отношению к тем, кто нам нравится.

— Кто сказал, что они мне не нравятся?

— Хотел бы я знать арабский, как ты. Что тебе так торжественно втолковывал этот шейх?

— Он объяснил, что у каждого народа есть право жить по-своему, плохо ли, хорошо ли, но без вмешательства посторонних. Он объяснил, что деньги — развращают, удобрения — воняют, а от трактора шум. И все это вместе ему не нравится.

— И что ты возразил?

— Ничего.

— Ты что же, принял его точку зрения?

Бауман твердо посмотрел на него:

— Мы не можем себе позволить принимать точку зрения других.

В полдень, во время перерыва приехали два автомобиля. В первом находились помощник губернатора

Ньютон с женой и сопровождавший их майор полиции. Во второй машине были два члена иерусалимского исполнительного комитета Гликштейн и Винтер. Между ними сидел американский журналист Дик Метьюс, приехавший в страну на десятидневный срок. Впереди, рядом с водителем, расположился официальный фотограф экзекутивы доктор философии Эмиль Люстиг. Фотограф говорил по-немецки с водителем, обсуждая вопрос о влиянии Ницше на идеологию фашизма. Журналист слушал вполуха и скучал. Гликштейн это заметил.

— Вы понимаете по-немецки? — спросил он.

— Немножко, — ответил Метьюс.

— Удивительная страна, а? — сказал Гликштейн, обнажая золотые зубы в пропагандистской улыбке. — Наш водитель прежде чем стать пионером был экспертом по графологии при уголовном суде в Карлсруэ.

— Все они парни хоть куда, — безразлично отозвался Метьюс.

— А фотограф, — продолжал Гликштейн, — читал лекции по философии в Гейдельберге.

— Ага, — сказал Метьюс, сытый по горло двухчасовой лекцией Гликштейна, притом на дурном английском. — Как те шоферы такси в Париже, что появились там после войны: все как один — русские великие князья.

Улыбка Гликштейна скривилась:

— Позвольте, — возразил он. — Но тех людей выгнали из России. А наши пионеры приехали сюда по своей воле, задолго до гитлеризма.

— Вы, как всегда, правы, — сказал Метьюс. Чувство справедливости вынуждало его признать, что Гликштейн прав и что все эти великолепные парни делают чудеса в этом своем национальном очаге. Но он хотел бы, чтобы Гликштейн перестал так много говорить об этом, перестал бы брызгать в лицо Метьюсу слюной, а все эти великолепные парни расслабились бы хоть ненадолго, предложили бы человеку стакан виски вместо цифр и рассказов о подвигах и напились бы

хоть раз сами. Он провел в стране уже пять дней, собрал уйму материала для своей статьи, но статья не получалась, или получалось нечто неподходящее, с эдаким душком. Метьюс вовсе этого не хотел, это было бы несправедливо по отношению к здешним людям. А он, чем больше их узнавал, тем больше ими восхищался и тем больше их не любил.

Метьюс вздохнул и слегка смущенно потянул из кармана плоскую флягу. Его спутники не пили, Метьюс не хотел их шокировать, но ему все опротивело. Он предложил флягу Гликштейну и Винтеру, затем махнул рукой и яростно отхлебнул здоровый глоток. Гликштейн снисходительно блеснул золотыми зубами, и Метьюс от души пожалел, что тот не фашист. С каким удовольствием он бы заехал ему в морду!

Сидя рядом с Метьюсом, Винтер за последний час не произнес ни слова, молча переживая чувство горечи от каждого замечания соседа. Гой остается гоем, при всей своей доброжелательности, думал Винтер. Вот он едет по стране, где наши люди делают нечто посерьезнее их знаменитого покорения американского Запада, и все, что он может придумать, — это сравнить нас с парижскими шоферами и шлюхами из ночных кабаре. Все свои эмоции он черпает из бутылки. Ишь, как он ласкает ее, и как противно его губы присасываются к ее горлу. Уж мы-то знаем, что такое бутылка и как она действует на гоев: сначала песни, потом излияния, потом — погром.

Джозеф с Динной растянулись в тени нецостроенной столовой. Рядом, прислонясь к стене и аккуратно вздернув штанины на поднятых коленях, сидел Шимон. Он читал вчерашний "Давар" — газету партии труда, только что доставленную из Ган-Тамар. Возле него сидела Даша, добродушная хорошенькая толстуха с лицом, слегка огрубевшим от солнца.

— Начальство прибыло! — сообщил Джозеф, увидев машины, одолевающие последние метры подъема.

Никто не ответил. Люди безумно устали и со стра-

хом думали о том, что через двадцать минут придется работать снова. Все обитатели лагеря, кроме часовых, распростерлись в полудремоте под палящим солнцем, как ящерицы на горячих камнях. Они лишь взглянули на подъехавшие к вышке машины и продолжали лежать. Только Бауман и Реувен поднялись, чтобы встретить гостей.

Первой вышла из машины миссис Ньютон, оглядываясь с неодобрением вокруг, явно оскорбленная тем, что никто не обращает внимания на их приезд. Вслед за ней вылез майор.

— Доброе утро! — крикнул он с показной сердечностью, обращаясь к Бауману и Реувену. — Вы командиры в этом сонном царстве?

В дремотной тишине его голос прозвучал, как выстрел. Обменялись рукопожатиями. Подошли пассажиры из второй машины. Все встали тесной группой в тени башни. Доктор философии Люстиг, рыская вокруг и стараясь никому не мешать, сделал несколько снимков. В глазах за толстыми стеклами очков и на губах его играла улыбка, которая как бы говорила, что он всего лишь скромный фотограф. Затем он, вместе со своей "лейкой", удалился, чтобы сфотографировать холм, камни и лагерь *in statu nascendi*. Щелкая затвором, он каждый раз представлял себе заголовки к снимкам в пропагандистском альбоме: "Пять лет назад Башня Эзры была всего лишь каменной пустыней". Внизу будет снимок: "Поселение теперь" — белые бетонные дома, тенистые эвкалиптовые аллеи, лужайки, беседки и смеющиеся дети. Он снял одного из бойцов Баумана с винтовкой — в профиль и снизу, так что его внушительный силуэт оказался на фоне неба. "Как во времена Эзры, когда народ вернулся из изгнания и стал трудиться, не выпуская из рук оружия..." Доктор Люстиг был тронут. Солнце пекло, пот стекал со лба под стекла очков и попадал в глаза. Он протер глаза и очки платком и, подойдя сзади, сфотографировал Джозефа и Дину под изящным углом, так что лица их казались тяжелыми и скульп-

турными, как лица партизан в советских фильмах. Его воображение, привыкшее воспринимать действительность с ярлыками "прежде и теперь", как в косметических рекламах, уже окружило эту пару кучей детей, весело жующих апельсины местного производства, при том, что Дина представлялась играющей на каком-то неопределенного вида струнном инструменте, не то арфе, не то лютне, подобно Батшеве, развлекающей царя Давида. Он удалился на цыпочках, улыбаясь своим мыслям и погруженный в мечты о еврейском государстве, начисто забыв, что он всего лишь скромный фотограф.

Реувен тем временем водил гостей по лагерю, давал короткие и деловые объяснения. Метьюс решил, что этот малый нравится ему куда больше, чем боссы из Иерусалима. Ньютон слушал внимательно. Он восхищался этими молодыми людьми, готовыми одолеть столько препятствий, хотя их сентиментальный фанатизм был ему чужд. Он предвидел, какие предстоят неприятности, если арабские террористы начнут выкидывать свои номера. А они, конечно, начнут, хотя слава Богу, это забота не его, а майора полиции. Ньютону не нравился и беспорядок, возникший здесь со строительством лагеря. Появится еще одно уродливое современное поселение, нарушающее красоту пейзажа. Насколько приятнее меланхолическая прелесть арабских деревень, вроде той, что мирно дремлет напротив через долину в сухом дрожащем воздухе...

Миссис Ньютон шла впереди рядом с майором и думала примерно то же, хотя мысли ее были менее четки и лишены эстетической оценки. От арабов, по крайней мере, знаешь, чего ожидать, они туземцы и знают свое место. Их старейшины держатся с вежливым достоинством, толпа живописна и подобострастна. И если иногда они бунтуют и стреляют, это только естественно, чего еще можно от них ожидать? Евреи совсем другие. У них нет старейшин, нет достоинства, и они отнюдь не живописны. Вместо того, чтобы благодарить англичан за то, что их сюда пустили, они повели

себя, как хозяева. Ишь, как нагло они разлеглись, не вскочили и не вытянулись перед майором полиции и женой помощника губернатора! Господи, попробовали бы они такое в Индии! Неприятно, конечно, что они белые. Белые туземцы — слыханное ли дело! Кроме того, все они профессора или что-то в этом роде. Считают себя очень умными, но на своих приемах не умеют подать толком чашку кофе, поддержать приличную беседу. Только и делают, что демонстрируют свою начитанность и познания в языках, показывают, что они умнее всех.

Майору полиции сухая жара напоминала, как всегда, Судан, откуда его перевели в Палестину всего несколько месяцев назад. Но насколько там все было проще! С любопытством и знанием дела он рассматривал вырытые этими еврейчиками блиндажи и траншеи. Обосновываться здесь в такой момент — довольно смелая затея с их стороны, и если правда, что на горизонте появилась банда Фаузи, им предстоит горячее время. Откровенно говоря, двенадцать винтовок, которые им позволено иметь, — это не слишком много. Но конечно, у них есть эта чертова Хагана с ее нелегальным вооружением. Как бы то ни было, они предупреждены, и если им хочется разыгрывать смельчаков и настаивать на своем праве на этот несчастный холм, как Шейлок настаивал на фунте мяса, — что ж, им же хуже. А что касается Фаузи и его банды, то это, слава Богу, забота армин.

— Посмотрите, — вскричала миссис Ньютон, возбужденно указывая на Шимона, погруженного в газету. — Смотрите, он действительно читает справа налево! Как забавно!

Эти слова были первым, что она произнесла с тех пор, как вышла из машины. Голос миссис Ньютон прозвучал резко и громко. Шимон медленно опустил газету. Майор оглянулся, и его голубые слегка навывкате глаза внезапно встретили взгляд горящих черных глаз, полных такой спокойной и сосредоточенной ненависти, что майор испытал нечто вроде удара током.

В растерянности смотрел он на сидящего спиной к бараку худощавого молодого человека с темным, суровым лицом и фанатическим блеском в глазах. Майор отвел взгляд.

— Господи, — шепнул он Ньютоу, — этот парень смотрит на нас как волк.

У майора мелькнула мысль, что он встречал его раньше, при сходных обстоятельствах, и так же незаслуженно был награжден таким же мерзким взглядом. "Глупости, — пробормотал майор, двинувшись дальше рядом с миссис Ньютон. — Но что за страна, Боже милостивый, как будто каждый перенес солнечный удар!"

В 12.30 свисток Реувена возвестил о конце перерыва, и из узких полос тени за палатками и бараками появились работники, с трудом поднявшиеся на ноги и пошатывающиеся от усталости. Официальные гости вскоре уехали. Пожимая руки Реувену и Бауману, майор выразил искренним и слегка смущенным тоном надежду, что все обойдется благополучно.

— Мы разделяем ваши надежды, — ответил Реуен, улыбаясь с легким сарказмом, — тем более, что научны рассчитывать только на себя.

Майор промолчал и резко хлопнул дверцей машины. Они медленно поехали вниз по новой дороге. Гости, приехавшие со второй машиной, решили задержаться и уехать перед закатом.

Метьюсу удалось избавиться от "Гликштейна и Компани", как он окрестил их про себя. Они были заняты оживленной беседой на иврите со старым Вабашем. Ограда из колючей проволоки была почти готова, как и пять блиндажей, но соединяющие их траншеи были местами слишком мелки, и блестящие от пота лица людей, занятых их рытьем, — в основном, молодых и крепких сабр, — становились все упрямей и мрачней. Зато плотники, прибывающие фанерные переборки в столовом и жилом бараках, бодро насвистывали. Так же бодро были настроены ребята, которые стучали молотками, прибывая на крыше рейки. Бараки стояли

под углом друг к другу и вместе со сторожевой вышкой образовали площадку в центре лагеря. Внешние стены бараков были укреплены деревянным частоколом, пространство между частоколом и стенами засыпано гравием, но только до половины: с гравием получилась задержка — при расчетах его количества допустили ошибку, к тому же один из грузовиков, подвозивших гравий, сломался. Об этом сообщили в Ган-Тамар, но едва ли дополнительный груз успеет прибыть до заката. К удивлению Метьюса, никто, казалось, об этом не беспокоился.

В центре площадки под защитой вышки и двух бараков стояли три палатки. В стороне, возле колючей проволоки, были дощатые уборные, разделенные надвое перегородками. Чуть поодаль шла работа по установке труб для душа, также огражденного досками, но пока без внутренней перегородки — обстоятельство, взятое Метьюсом на заметку. Он удивился также, почему эти люди беспокоятся о душе, когда еще не вырыты траншеи. Правда, на траншеях работало столько народу, сколько позволяло место, но все же...

Молодой человек в черной курке улыбнулся ему с площадки сторожевой вышки, и Метьюс полез вверх, с трудом поднимая свое тяжелое тело по лестнице, ступеньки которой слишком далеко отступали одна от другой. Даже от этого небольшого усилия он сразу же вспотел, кровь застучала в висках, и он еще больше зауважал этих ребят, которые работали с самого восхода и которым суждено было жить и трудиться в этом Богом забытом месте до конца дней, если, конечно, их отсюда не вышибут.

— Почему вы не снимете эту вашу чертову куртку?  
— спросил он, пыхтя, когда добрался до площадки. — У вас что — лихорадка?

— Неважно, — ответил Бауман с широкой улыбкой. Метьюс решил, что для Баумана его кожаная куртка — что-то вроде военной формы, символ авторитета офицера их знаменитой нелегальной Хаганы.

Внизу, у основания башни, "Гликштейн и Компа-

ния” все еще оживленно беседовали со стариком Вабашем. Опирающийся на лопату, как на посох, он еще больше, чем всегда, напоминал библейского патриарха.

— Что он говорит? — спросил Метьюс.

— Его беспокоят крыши, — ответил Бауман. — Он хотел бы, чтобы с ними уже покончили. По оттоманским законам дом с готовой крышей никто не имеет права снести, даже если он построен без разрешения владельца земли.

— Разве закон этот действует?

— Нет.

— Какой же в этом смысл?

— Во времена Вабаша он действовал. В этой стране традиции живут долго, как кошки.

— Вы думаете, арабам важно, есть у домов крыши или нет?

— Арабам неважно. Но Вабашу важно, — ответил Бауман, снова широко улыбнувшись.

Метьюс оглянулся по сторонам, на бесплодные волнообразные холмы под закатным небом, на тихий, вечный пейзаж. Потом с чувством сожаления оглядел беспорядочную суету лагеря. Двадцатью метрами ниже разгружали последнюю машину: шифер для крыш и мотки колочей проволоки, нужной для ограды. Люди спешили и слегка нервничали. Возясь с колочей проволокой, некоторые ободрали руки и даже не заметили этого. Дина в шортах цвета хаки, в голубой открытой блузке, сгружала шифер. Время от времени она подносила ко рту ободранные ладони и машинально слизывала кровь. Ее залитое потом лицо светилось на солнце металлическим блеском, пышные каштановые волосы разметались по плечам. Бауман тоже смотрел на Дину.

— Девочка что надо, — заметил Метьюс. — Чья она жена, то есть, с кем она живет? — поправился он.

— Ни с кем, — ответил Бауман.

— Но большинство ведь — живут? — с усилием спросил Метьюс. Ему было противно совать нос в чужую

личную жизнь, но такая уж у него работа, он должен выяснить обычаи и нравы поселенцев.

— Большинство — да, — коротко ответил Бауман.

— Вы, конечно, рады послать меня к черту, но я хотел бы получить полную информацию.

— Куда же точнее, — усмехнулся Бауман. Затем, чтобы не показаться невежливым он объяснил: — Дина особый случай. Она из Центральной Европы. Не выбралась вовремя. Что-то с ней сделали, и она еще не совсем от этого оправилась.

Он замолчал, машинально потирая щеку. Метьюс больше не расспрашивал. Бауман был одновременно и откровенен и сдержан. Все эти молодые люди были такими. Когда говорили, высказывались начистоту, но если замолкали, то баста. Ничем их не расшевелить.

Тем временем группа под башней рассосалась: Гликштейн с Вабахом залезли в траншею и, размахивая руками и увязая в земле, что-то объясняли друг другу. Винтер исчез, но вскоре Метьюс обнаружил его: тот болтался между небом и землей, одной рукой держался за крышу, а другой забивая в балки гвозди.

— Да он сейчас свалится! — вскрикнул Метьюс.

— Винтер свое дело знает. До того, как стать партийным боссом и членом экзекютивы, он был тель-авивским кровельщиком.

— А Гликштейн?

— Этот — в политическом отделе... — Бауман опять замолчал на полуслове и поднял к глазам бинокль. С холма напротив сигналили. Метьюс почувствовал, что он здесь лишний и спустился вниз. Побродив туда-сюда без особой цели, он наконец остановился у траншеи. Парни так же угрюмо и молча работали, как и час назад. Симпатичная толстушка Даша подавала им холодную воду, черпая кружкой из арабского глиняного кувшина. Остатками воды они смачивали носовые платки, которыми покрывали голову. Пот и грязь размазаны по лицам, сухие губы потрескались. Роют и копают, как автоматы.

Вдруг Метьюс заметил, как что-то в выражении лица

одного из рабочих, узкогрудого, близорукого юноши, изменилось. Тыча лопатой невпопад, он качнулся, как спяна или со сна. Потом совсем остановился, повис на черенке лопаты и рухнул на дно траншеи. Соседи едва успели его подхватить. Юношу повели в палатку первой помощи. Метьюс и сам не заметил, как стал на освободившееся место, как в его руках оказалась лопата. И вот он уже швыряет землю из траншеи. Соседи продолжали работать, как будто ничего не случилось. Когда в следующий раз Даша проходила с кувшином, он заменил свой пробковый шлем носовым платком, который она смочила водой, и ее хорошенькое туповатое личико осветилось улыбкой. Метьюс чувствовал, как глупо он волнуется. Он копал и копал, стараясь экономить движения и работать в одном ритме с соседями. И вдруг увидел, как к траншее пробрался со своей лейкой доктор Люстиг и занял позицию. Щелкнул затвор, но Метьюс успел скорчить рожу и высунуть язык. Люстиг несколько натянуто улыбнулся, зато парни в траншее одобрительно оскалились, и Метьюс почувствовал, что экзамен перед этими жесткими и скрытными евреями выдержан.

К пяти часам вечера заработал душ, еще через полчаса были готовы крыши столового и жилого барачков. Меньше часа понадобилось, чтобы расставить мебель — десять сосновых столов на шестьдесят человек и по четыре матраца в каждой из шести кабинок жилого барака. Предполагалось, что часть поселенцев заночует в палатках.

В шесть часов, перед самым закатом, прибыл грузовик с гравием. Встретили машину с радостью, которая невольно выдала скрытое беспокойство, вызванное ее задержкой. Гравий высыпали двумя кучами перед частоколом, остающиеся в лагере поселенцы принялись его разравнивать, а рабочие из вспомогательной команды, сложили инструменты у вышки, стали взбираться в кузова грузовиков. Было намечено произнести перед отъездом подобающие случаю речи, но работа в траншеях продолжалась до последней минуты, и теперь

приходилось спешить, чтобы темнота не застала людей посреди вади. Старый Вабаш был разочарован. Он заготовил чудесную речь с упоминанием о страдающих миллионах. Мальчик, которому стало плохо в траншее, крепко спал в кабине рядом с водителем. Метьюс снова оказался зажатым между Гликштейном и Винтером в легковой автомашине, которая казалась игрушкой рядом с тяжелыми грузовиками. Отъезжающие прощались. Они стояли в битком набитых грузовиках, измученные и сонные. Перегибаясь через борта, они пожимали руки поселенцам, но уже чувствовалось, как обрывались нити, связывающие их с этим местом.

Резко сорвавшись с места, двинулся первый грузовик, за ним тронулся второй, и скоро вся колонна, трясаясь по новой дороге, съехала вниз и скрылась у подножья холма. Потом колонна показалась снова, уменьшенная расстоянием, внизу в долине. К тому времени начало темнеть, машины одна за другой включали фары и постепенно отступали в сумрак. Шум моторов и прощальные гудки слышались до тех пор, пока последний грузовик не исчез, на этот раз окончательно, за поворотом вади. И тогда наступила тишина и вместе с тишиной — ночь.

7

Их было 25 человек — 20 мужчин и 5 женщин. Остальные члены коммуны — еще 12 женщин и пятеро детей — должны были присоединиться через неделю. Группа существовала уже пять лет, все пять лет готовясь к этому дню. Большинство приехали из Центральной Европы, несколько человек — из России, Польши, с Балкан. Был среди них и один молодой англичанин.

Ядро группы образовалось на пароходе по пути из Триеста в Хайфу. Прибыв в Палестину, они зарегистрировались в сельскохозяйственном отделе Хистадрута и были внесены в список групп, ожидающих очереди на получение земельных участков, купленных Националь-

ным фондом. В Национальный фонд средства поступали из голубых копилочек, имевшихся во всех синагогах мира и в других местах, где собирались евреи, а также из частных пожертвований. Участки, приобретенные Национальным фондом, представляли собой по большей части брошеную землю, болота, песчаные дюны, безводные пустыни и камни. Земля становилась неотъемлемой собственностью еврейского народа и сдавалась в аренду поселенцам сроком на 49 лет с тем, чтобы возобновить аренду в будущих поколениях. Поселенцы осушали болота, сажали деревья на дюнах, копали ирригационные каналы, очищали поля от камней, строили террасы, давая земле новую жизнь. Капиталов у них не было, да в них и не нуждались: оборудование и кредиты они получали из общественных фондов, а расплачивались тогда, когда земля начинала приносить плоды. Арендная плата шла хозяину земли — народу.

В ожидании своей очереди на получение участка члены группы работали как наемная рабочая сила, но уже в этот период их зарплата шла в общую кассу, а жили они коммуной. Временами группа разделялась: одни работали на поташной фабрике у Мертвого моря, другие на апельсиновых плантациях в Самарии, третьи проходили профессиональное обучение в одном из старых киббуцов в долине Изреэль. Потом группа объединялась. И все это время они считали себя одной семьей. Их средний возраст по прибытии в страну был 18 лет, сейчас — 23 года. Сходились и расходились пары, порой возникали прочные союзы. Кое-кто приводил жену или мужа со стороны, и они тоже становились членами группы. Несколько человек ушли.

Они приехали юнцами, теперь это были закаленные жизнью мужчины и женщины. Они не замечали, как менялись, потому что это происходило постепенно и одновременно со всеми. Мужчины стали молчаливее, их движения медленнее и осмотрительнее. Лица женщин огрубели от солнца и тяжелой работы, и бедра и груди стали крепче и тяжелее. Но хотя внешне и по

жизненному опыту они стали старше не на пять лет, а на все десять, они рассматривали эти годы только как прелюдию, как доисторическую эру, как зародыш будущего, когда должна была начаться настоящая жизнь в День Поселения на земле. Пять долгих и трудных лет они ждали этого дня, мечтали о нем, строили планы и готовились к нему, и сейчас этот день наступил, а за ним — эта ночь.

## 8

Тишина, наступившая с того момента, когда последний грузовик скрылся во мраке, продолжалась недолго. Они снова взялись за лопаты и продолжали разравнивать гравий. Но в короткий миг передышки они почувствовали себя детьми, которых взрослые подбодрили и успокоили, а потом оставили одних в пустом доме, где тихо ползают тени, а отражения в зеркалах стынут жуткими масками. Многие в эту минуту были бы рады вскочить в один из переполненных грузовиков и уехать прочь от жути этих древних холмов с их дикими обитателями, под защиту близких им по роду и племени.

Ночь наступила быстро. На вышке зажегся прожектор. Его резкие белые лучи падали под углом вниз, освещая частокол. Свет слепил глаза, окружающий мрак казался еще гуще и непроницаемей.

К семи часам работа была закончена. Луч прожектора скользнул вверх, вниз и начал медленно вращаться, словно белая метла прохаживалась вокруг огороженного колючей проволокой пространства. В траншеях и на вышке расположились часовые. Больше нечего было делать. Остальные потянулись в столовую за горячей пищей на новом месте.

В столовой еще не было электричества. На столах горели свечи, единственная керосиновая лампа стояла возле дверей. Из кухни за фанерной перегородкой подавали луковый суп, мясные консервы, апельсины и,

ради торжественного случая, по чашке светлого, сладкого вина Кармель. С новичками остались только Бауман и десять бойцов Хаганы. Если все пойдет гладко, через несколько дней и они уедут, куда понадобится. Тридцати человек для траншей достаточно. У них и так было только двадцать винтовок и два автомата. Каждый киббуц к тому же с самого начала должен обходиться своими силами.

Джозеф, как обычно, оказался рядом с Диной. По другую сторону стола сидел Реувен, а напротив Даша с Шимоном. Все пятеро занимали в коммуне ответственные посты, и хотя, строго говоря, места полагалось занимать в порядке очереди, за едой они обычно сидели своей компанией.

Джозеф оглядел полутемное помещение. Дешевые свечи торчали на столах в застывших лужицах стеарина. Люди сидели на скамьях молча, сгорбившись, и были похожи на измученных животных. Челюсти медленно жевали кашу. За соседним столом парень с круглым, пухлым лицом и отсутствующим взглядом левой рукой подпер щеку, а правой автоматически подносил ложку ко рту. Сосед его, положив подбородок на руки, спал. Так вот она какая, первая ночь их союза с землей! Луч прожектора через регулярные интервалы пересекал крышу столовой и проникал в окна. Люди отворачивались от яркого света, закрывали глаза. Казалось, они находятся посреди океана на острове, где горит маяк. Кругом был абсолютный мрак, ветер выл и свистел, как будто возмущался, встретив неожиданное препятствие на своем всковечном пути через холм.

Джозеф поражался безобразию окружающих его лиц, освещаемых призрачными, перемежающимися вспышками прожектора. Не в первый раз он это чувствовал, но нынче ночью его отвращение к этой выставке толстых, изогнутых носов, мясистых губ и влажных глаз было особенно сильным. Минутами ему казалось, что его окружают изображения древних ящеров. Может быть, он просто переутомился, и сладкое вино

ударило ему в голову. Но не стоило скрывать от себя: они ему не нравились. А еще более он ненавидел черты древней расы в самом себе. Единственной отрадой была Дина. Но Дина, как и он, хотя и в другом смысле, принадлежала им не полностью. Глядя на других девушек, он вздрагивал с отвращением, как при мысли о кровосмешении. Плоть их лишилась невинности с рождения или еще раньше. Они могли быть целомудрены и строги, но каждой порой своего тела источали терпкий запах искушенности, разрушающий в человеке способность забываться, не думать о себе. Они были перенасыщены долгим опытом древней расы, и опыт этот остался в их глазах, в их коже, как остается на поверхности стула тепло сидевшего на нем прежде человека.

— Можешь допить вино, — услышал он голос Дины, — слишком сладкое для меня.

— Благословен плод винограда, — сказал Джозеф, опрокидывая стакан. И благословенна Дина, мой оазис, — подумал он. Без нее он был бы как в пустыне. Но увы, она — мираж и жажды не утоляет.

— Что это с прожектором? — спросила Даша. Регулярные вспышки света внезапно прекратились.

— Бауман переговаривается с Ган-Тамар, — ответил Реувен с полным ртом.

”Реувен — в порядке”, — подумал Джозеф. Ему нравилась сдержанность, деловитость Реувена, его ровный характер. Он не был ни блестящ, ни остроумен, тщеславия и амбиций лишен полностью. Авторитет его держался, в основном, на отсутствии у него отрицательных качеств. Эдакая нейтральная личность, неуязвимая для нападок, идеальный тип для жизни в коллективе.

— Надеюсь, Бауман не забудет попросить их прислать мне завтра моркови, — сказала Даша. Она была ответственной по кухне и большой педанткой в вопросе о витаминах. Она кончила специальный курс для работников кухни.

— Бауман ничего не забывает, — заметила Дина.

Джозефу ее замечание не понравилось. Когда он находился рядом с ней, его настроение менялось, как показания барометра в апрельский день. Любое ее высказывание, даже вовсе лишенное личной подоплеки, действовало на него.

— Что ты думаешь о наших гостях? Эта дамочка ходила по лагерю, как по зоопарку.

— Типичная английская аристократка, — заявила пламенная социалистка Даша, которая в своей жизни и двумя словами не обменялась с англичанами.

— Какая там аристократка! — возразил Джозеф. — У нас таких называют низший-средний класс. В колониях они становятся правящим классом, как будто каждый раз, как английский лайнер пересекает Гибралтар, совершается чудо Пигмалиона.

— "Пигмалиона" написал Д. Б. Шоу, — вставила Даша.

— "Посмотрите! — крикнула Дина, передразнивая г-жу Ньютон и тыча пальцем в Шимона. — Он читает газету справа налево, ну не забавно ли?"

В Европе Дина училась на актрису. Втянув губы, выставив подбородок и поджав ноздри, она изобразила из себя тощую ведьму. Все рассмеялись, кроме Шимона, не проронившего во время еды ни слова. Благодаря разыгранной сцене он оказался в центре внимания. Подняв взгляд от миски, он сказал:

— Нечего было Бауману церемониться с офицером полиции. И тебе, Реувен, тоже.

— Мы вели себя корректно, вот и все.

— Именно — корректно, — Шимон положил вилку на стол. — Мы ведем себя корректно, а арабы тем временем стреляют. Результат: арабов умиротворяют, а по счету платим мы.

— Обо всем этом говорено не раз, — сказал Реувен, думая о завтрашнем дне: надо было укрепить блиндажи, провести электричество, заложить фундамент для коровника.

— Шимон прав, — сказала Дина. Стрелка личного барометра Джозефа дрогнула: если она поддерживает

Шимона, значит и Баумана она похвалила просто так, безо всякого личного интереса.

— Действие требует противодействия, — заявил Шимон, — иначе мы так и будем все время отступать. Единственный ответ на насилие — возмездие.

— Око за око, зуб за зуб, — вставила Даша и глупо рассмеялась.

— Нет, — возразил Шимон, — ничего общего с этикой тут нет. Концепция мести архаична и абсурдна. Отвечать террором на террор мы должны по соображениям чистой логики.

Несколько человек присоединились к дискуссии и столпились вокруг стола.

— Я не верю в террор, — твердила Даша с упрямством и агрессивностью женщины, спорящей с интеллектуально превосходящим ее партнером.

— Естественно, ты не веришь в террор, — сказал Шимон, — зато ты веришь в морковь и в витамин А. Ты хочешь сказать, что террор тебе не нравится. Он противоречит твоему воспитанию. А мне не нравится морковь. Но я ем ее, потому что в ней содержится витамин А.

— Ну и что? — растерялась Даша.

— А то, что мы больше не будем есть моркови, — примирительно улыбнулся Реувен.

— Что касается логики, — включился Джозеф, — то арабский террор направлен частично против нас, а частично против англичан. Так что для равновесия нам придется мстить арабам и одновременно терроризировать правительство.

— Зависит от его поведения, — после паузы многозначительно заявил Шимон.

— Но нам их поведение знакомо! — взорвалась Дина. — Они ненавидят нас, как эта нынешняя дамочка. Ее тупую ненависть можно прочесть по глазам. Уверена, что она хранит у себя портрет милашки-фюрера. Как же иначе! Все эти злобные тупицы обожают его. Потому что он объяснил им, какое это благородное чувство — злоба, и потому что зачесывает волосы точь-в-точь,

как молодой парикмахер их мечты. — Ее полные, резко очерченные губы искривились, казалось она вот-вот заплачет.

— Ладно, Дина, — мягко сказал Джозеф, — все это мы знаем. Но Шимон не ответил на мой вопрос.

— Мы должны заставить англичан изменить поведение.

— Как же их заставить?

— Нашими достижениями, — сказал Реувен.

— Любыми доступными нам средствами, — твердо ответил Шимон.

Наступило молчание. Возле их стола собралось довольно много людей. Джозеф наполовину следя за разговором, отмечал, между тем, как Шимон прямо-таки выростал на глазах, стоя перед внимающей аудиторией. Почти никто не разделял его взглядов, но слушали Шимона с невольным восхищением, и чем больше он говорил, тем сильнее было его влияние на них. Они слушали его, как бы заглядывая в себя и не смея себе признаться, что он прав.

— Давайте рассуждать трезво, — сказал Джозеф, бледнея. — Предположим, англичане не изменят политику. Предположим, преследования в Европе усилятся и приведут к массовому исходу.

— Почему — предположим? — перебил с холодной иронией Шимон. — В Европе горят синагоги, а наши девушки ходят по родным городам с плакатами на груди, призывающими прохожих плевать им в лицо.

— Ах, замолчи! — крикнула Дина с ноткой истерики в голосе.

— Почему я должен молчать? — продолжал Шимон в той же ядовитой манере. — Между прочим, это случилось с моей сестрой. Ну чего вы уставились? Какая разница — моя сестра или чья-нибудь другая? Обыкновенная толстая и глупая девушка, вроде Даши, только звали ее Роза. Занималась химией.

Помолчали. Затем Дина спросила сдавленным голосом:

— Почему ты никогда не говорил об этом?

— А что об этом говорить? Я приехал сюда работать на земле, а не к Стене Плача. И упомянул я об этом только из-за Джозефовых "предположим". Ладно, продолжим наши предположения. Я полагаю, что англичане не изменят свою политику, если их к этому не принудить. Я изучал их историю, их традиции и методы. Если в Европе устроят аутодафе и будут жечь наш народ живьем, они очень возмутятся. Будут писать письма в газеты, делать запросы в парламенте, а епископы их помолятся за наши души. Но если несколько уцелевших бедняг попросят впустить их на эту нашу Обетованную землю, они заговорят об экономических трудностях и обездоленных арабах. А если те бедняги не послушаются и, спасаясь от смерти, поплывут через море, они поставят по берегам заграждения — пусть тонут...

Он на минуту закрыл глаза. Что-то странное случилось с ним, чего он никогда не испытывал. Он увидел перед собой совершенно отчетливо, как при резкой вспышке, тонущих людей. Сотни людей тонули, из воды торчали руки и ноги, не слышалось ни звука, а вся сцена разыгралась в спокойном и мирном море, под горячими лучами солнца.

В наступившем тяжелом молчании Реувен сухо сказал:

— Я думаю, Шимон преувеличивает. Во всяком случае, я не верю, что, действуя фашистскими методами, мы чего-нибудь добьемся.

Вошедший незамеченным Бауман стоял у двери и слушал. Дина первая заметила его и спросила:

— А что ты думаешь об этом?

Все повернули головы.

— Я согласен с Шимоном, — коротко ответил Бауман. — Между прочим, Даша, твоя морковь прибудет завтра утром.

Приход Баумана разрядил напряжение. Нафтали, невысокий косоглазый парень, начал было выступать против Шимона, но его никто не слушал. Баумана окружили, расспрашивая о последних новостях в мире.

Шимон тоже хотел подойти послушать, но Нафтали задержал его.

— Я не верю в насилие, — кричал он, — я ненавижу насилие! Надо договориться с арабами!

— А если они не хотят с тобой разговаривать? — К Шимону вернулся его спокойный сарказм.

— Их надо просветить. Присоединить к нашим профсоюзам. Освободить феллахов, избавить их от власти клерикалов и заменить шовинизм классовым сознанием.

— И сколько времени понадобится, чтобы осуществить эту скромную программу?

— Не знаю. Неважно, сколько.

— Конечно, совсем неважно. Наши заживо горящие братья подождут, пока мы управимся!

Он оттолкнул взволнованного парня и вышел из столовой. Никто не заметил его ухода. Бауман сообщил новости, переданные с помощью гелиографа из Ган-Тамар, где было радио. Испанские мятежники захватили большую часть страны басков и наступают на Бильбао. Совет Лиги Наций обсудил план раздела Палестины на еврейское и арабское государства, предложенный Королевской комиссией несколько месяцев назад, но подробности пока неизвестны.

Последнюю новость поселенцы не комментировали. Вопрос о разделе, со всеми его плюсами и минусами, обсуждался столько раз, что осточертел им. К тому же, никто по-настоящему не верил, что правительство действительно намерено осуществить это на деле. Джозеф рассказал шутку из английской газеты: лучший вариант раздела — чтобы арабы владели страной летом, а евреи зимой, — но только Дина с Бауманом улыбнулись. Поселенцы не знали, чем заняться. Стоило бы прилечь на несколько часов перед тем, как заступить на дежурство, но после дневного возбуждения людей одолевало какое-то непонятное уныние, и они в нерешительности топтались на месте.

Внезапно тишину прорезал слабый музыкальный звук, в дверь ворвался Мендель-горбун, наигрывая

на губной гармошке "Бог построит Галилею" и раскачивая в такт мелодии свое неуклюжее тело. Он казался пьяным, но все знали, что на него просто нашло особое состояние, которое время от времени превращало маленького тихого Менделя в охваченного экстазом дервиша. Оцепенение, в котором минуту назад находились люди, рассеялось, как туман от резкого порыва ветра. Отодвинув к стене столы и скамейки, они расчистили пространство в центре барака, где косоглазый Нафтали и еще двое образовали первый круг хоры. Остальные присоединились. Положив друг другу руки на плечи, они пошли в хороводе влево, остановились, наклоняясь вперед и притоптывая ногами в такт музыке, выкрикивая припев и откидываясь назад почти по горизонтали. Хоровод разрывался, присоединял все больше народу и снова смыкался. Скоро в бараке стало слишком тесно. Часть хоровода оторвалась и образовала меньший круг внутри большого, кружась в обратном направлении. Внутри его возник еще круг — всего из пяти танцоров. Хора в целом похожа была на крутящийся водоворот, а в центре, играя на гармошке, раскачивался и корчился Мендель.

Джозеф стоял у двери и смотрел на танцующих. Их откиннутые назад, обращенные к потолку лица были покрыты потом, многие прикрыли глаза. Когда они останавливались с разбега, чтобы прокричать слова припева, лаем вырывались из глоток три магических слога "Ха-Га-лиль". И потом, когда они снова бежали по кругу, рты их оставались полуоткрытыми, придавая лицам выражение самозабвенного и мучительного восторга. Преображенные таким образом, они больше не казались Джозефу уродливыми и похожими на ящеров. Скорее они напоминали стилизованные изображения ассирийцев или шумеров, ожившие в мерцании свечей. Ноги его стали выбивать стремительный ритм танца, тело закачалось. Он жаждал влиться в водоворот. Он взглянул на стоящую рядом Дину. Она покачала головой.

— Но ты иди, — сказала она с деланным безразличием.

Он секунду поколебался, потом взмахнул вытянутыми руками и прорвал цепь хоровода. Пока хмель танца не захватил его окончательно, он успел заметить, что Дина вышла из барака. Но в тот же миг забыл обо всем.

Дина быстро прошла через темную площадку к жилищу и вошла в кабинку на четырех человек. К счастью, ни Даши, ни двух других девушек не было. Секунду она неподвижно стояла в темной маленькой комнатушке, прислушиваясь к звукам губной гармошки, крикам и топоту ног, доносившимся из столовой, потом бросилась вниз лицом на койку. Плечи ее вздрагивали, вцепившись зубами в матрац, она пыталась заглушить всхлипы. Через некоторое время она уснула и проснулась только через два часа, разбуженная ружейной стрельбой.

9

Дина страдала от того, что не могла выносить человеческих прикосновений. Странно было видеть, как она замирает в страхе и покрывается гусиной кожей, как дрожит ее лицо, едва только до нее дотрагивались, хотя сама она могла прикасаться к людям и даже обниматься. Сидя на скамье в столовой, она внезапно начинала чувствовать плечи и бедра соседей, съеживалась, пыталась овладеть собой, сдерживать дрожь, чтобы не обижать людей, но в конце концов вставала и незаметно выходила из комнаты, не кончив еду. Ее показывали врачам, но Дина не желала отвечать на их вопросы. Врачи прописывали лекарства, предлагали гипноз, психотерапию. Но все было напрасно, потому что она не говорила о том, что с ней случилось, о Том, Что Надо Забыть.

Отец Дины был редактором известной либеральной газеты во Франкфурте-на-Майне. Это была аристократическая газета в аристократическом городе. Она

помнила отца хрупким пожилым человеком с подагрическими руками, очень мягким голосом и острой бородкой, шагающим взад-вперед по вытертому ковру библиотеки, куда домашние входили на цыпочках. Еще она помнила отца стоящим с пером в руках за старомодной конторкой. Он писал книги, направленные против милитаризма вообще и в его стране — в частности, был делегатом на конференциях по разоружению и кандидатом на Нобелевскую премию мира. Он боролся против национализма в любой его форме, не принадлежал ни к какой церкви, ни к какой общине и рассматривал свое еврейское происхождение как игру случая. Когда нацисты пришли к власти, он отказался эмигрировать, но послушался друзей и скрылся. Дине тогда было семнадцать лет. Она собралась к матери, которая жила отдельно от мужа на юге Франции. Девушку арестовали на границе и держали в тюрьме полгода, пытаясь добиться, где ее отец. При освобождении ей сообщили, что отец выдал себя для спасения дочери и вскоре умер при "неясных обстоятельствах". В эти полгода, когда от нее методически пытались добиться, чтобы она выдала убежище отца, и случилось То, Что Надо Было Забыть. Обычно она была веселой и спокойной. Но где-то в глубине памяти то, что случилось, лежало, как неизвлеченная из тела пуля. И только если не касаться старого шрама, человек забывает о пуле. Таким шрамом было для Дины все ее молодое тело.

10

Первый выстрел раздался вскоре после полуночи. Хотя нападения ждали, но время шло, и напряжение спадало. Только полчаса назад прекратилась хора, так же внезапно, как началась, и те, кто не был в охране, в изнеможении завалились на свои тюфяки. Когда их разбудили выстрелы, им показалось, что только мину-ту назад они закрыли глаза. Они побежали к своим

постам, еще не очнувшись от сна, но невольно пригибая головы. После первой очереди наступила тишина: бойцы в блиндажах получили приказ стрелять только при виде нападающих, а в настоящий момент не видно было никого. Сложность заключалась в том, что у холма была неправильная форма: он был похож на спину верблюда, но не с двумя, а с тремя горбами. Лагерь находился на вершущке южной возвышенности, два других были впереди, с "головой" верблюда на севере. По этой причине они вырыли два блиндажа с северной стороны и только по одному для каждой из остальных трех сторон. Северный блиндаж был самый глубокий. Перед ним была натянута колючая проволока, и сразу за ней земля уходила вниз, в пустоту, а за пустотой, на расстоянии менее 100 метров, подымался второй "горб", и еще через 100 метров — третий. Каждый "горб" был высотой около двадцати метров, — достаточной, чтобы прикрыть и защитить нападающих. Бауман подумывал о том, чтобы расставить наблюдателей и на остальных двух буграх, но отбросил эту мысль: времени, чтобы их укрепить, не оставалось, аванпосты же, открытые со всех сторон, будут уничтожены немедленно.

Как можно было предполагать, выстрелы прозвучали с севера, из-за второго или третьего бугра. Через час должна была взойти луна, но небо оставалось укрыто плотными облаками. Луч прожектора медленно полз по второму бугру, скользил над пропастью, иногда задерживаясь на подозрительных зарослях чертополоха и верблюжьей колючки, которые росли из скал, как безобразные кусты волос на бородавках. Но за скалы луч проникнуть не мог, не мог он также осветить трещины и щели между камнями и только заполнял их резкими, дрожащими тенями, тревожа воображение бойцов. Бауман и другие командиры Хаганы давно знали, что пресловутые прожектора на сторожевых вышках оказывают чисто психологический эффект, что на самом деле они мало пригодны для обнаружения снайперов, умеющих использовать каж-

дый выступ, каждую щель в почве.

Затишье продолжалось минуту. Затем луч прожектора еще раз прошелся вокруг холма, проверяя, не таится ли угроза сбоку или сзади, и спустя несколько секунд в наступившем мраке с севера раздались новые выстрелы. На этот раз северные блиндажи и соединяющие их траншеи были заполнены людьми, и защитники увидели вокруг соседнего холма вереницу ружейных вспышек, похожих на огни святого Эльма. Бауман приказал открыть огонь. Двадцать винтовок выпустили довольно нестройную серию выстрелов. Большинство бойцов впервые стреляли по живой цели.

Джозеф принадлежал к их числу. Он стоял в левой северной траншее. Сердце его громко стучало, он ощущал неприятную тяжесть в мочевом пузыре и после второго обстрела нападающих обронил несколько капель мочи. Это бывает с каждым в первом бою, — утешил он себя. Пуля просвистела мимо, довольно близко. Град пуль вокруг моей дурацкой головы, — сказал он себе. Затем услышал голос Баумана, отдающего приказ стрелять. Теперь, приказал себе Джозеф, задержи дыхание, зажмурь левый глаз, наведи мушку на цель. Но цели не было. Он спустил курок и был оглушен грохотом. Ночью звуки громче, подумал он. А сейчас подождем, пока появится ружейная вспышка, и выстрелим прямо по ней. Так он и сделал и дорого бы дал, чтобы узнать, попал ли в кого-нибудь. Ага! Охотничий азарт пробуждается! Он уже определенно получал удовольствие от происходящего.

Некоторое время с обеих сторон раздавались только разрозненные залпы. Затем Бауман крикнул: "Не стрелять!" Он поднял ручной пулемет и дал длинную очередь вдоль контуров бугра. Джозеф смотрел, любясь, как огнедышащее дуло очерчивает красивую дугу.

Справа стоял косоглазый Нафтали, за ним — командир их блиндажа Реувен, также вооруженный ручным пулеметом. Нафтали возился с оружием, пытаясь вставить новую обойму, но руки его дрожали, и нако-

нец Реувен взял у него винтовку и зарядил ее.

— Не грать зря патроны, — сказал он обычным деловым тоном, — и не волнуйся. Это несерьезно. Их всего 60—90 человек.

Джозеф подумал с неудовольствием, что парень уже истратил целую обойму, а он-то выстрелил всего три раза, смакуя каждый спуск курка.

Прошло около получаса, и Джозеф начал скучать. Изредка он вспоминал о Дине, которая вместе с горбатым Менделем и еще одной девушкой дежурила в палатке первой помощи, но он знал, что она находится за оградой, в относительной безопасности. Его раздражал Нафтали, который очень нервничал и явно был одержим мыслью, что атакующие могут незаметно проскользнуть под проволокой и в любой момент на них наброситься. Дважды он высовывал голову из-за бруствера, чтобы заглянуть за скат перед блиндажом, и бормотал, заикаясь, что-то в свое оправдание, когда Реувен резко приказал ему нагнуться.

Около часа ночи поднялся ветер, с внезапностью и неистовством, характерными для этих мест. На востоке рассеялись облака, и на минуту показалась луна, несущаяся как по черным волнам. Затем просвет снова затянулся тяжелыми тучами, и пошел дождь. Его жесткие, слепящие струи падали на лица бойцов почти горизонтально. С того момента, как начался сильный ветер, Джозеф чувствовал, что происходит что-то не то. При таком плотном дожде прожектор был практически бесполезен. Вид падающих струй, освещенных лучом, был великолепен, театрален, но за этим белым, колыхающимся занавесом могло случиться все что угодно. Парень рядом с Джозефом совсем потерял самообладание. Джозеф только успел пригнуть ему голову, схватив сзади за шею, как прожектор погас. Из второго блиндажа послышалась беспорядочная стрельба, и на мгновение Джозефа охватила паника. Ему казалось, будто ледяные струи проникают ему в жилы. Чтобы успокоиться, он трижды выстрелил не целясь, прямо в дождь. Глаза его не

сразу привыкли к темноте; в наступившей крошечной мгле шум и всплески дождя звучали громко, а выстрелы врага казались далекими. Он услышал, как Реуен крикнул: "Ничего серьезного — короткое замыкание, передай дальше!" — и пополз в соседний блиндаж. Джозеф подумал, что древний язык звучит особенно мелодично ночью, сквозь ветер и дождь. Дикий, трагический язык, не подходящий для пустой болтовни. Ливень, казалось, истощил свою силу, струи воды становились тоньше, и Джозеф заметил, что звуки вражеской стрельбы тоже изменились: вместо отдельных выстрелов раздавался непрерывный треск пулемета. Как видно, они получили подкрепление.

Джозеф все еще переваривал этот факт, как вдруг тупой громкий звук, раздавшийся со стороны площадки, заставил всех вскочить. Реуен прокричал над головой Джозефа команду, которую тот не расслышал, но увидел, как из блиндажа выскочил боец вспомогательного отряда и побежал, пригибаясь, к площадке. "Остальным оставаться на местах!" — крикнул Реуен, и Джозеф подумал о нем, что он молодец. Великим облегчением было слепо подчиняться команде, ничего не решать самому. Выстрелы противника слышались ближе. Уж не добрались ли они, в самом деле, до колючей проволоки? Шлепая ботинками по грязи, вернулся боец. "Ничего не случилось, — крикнул он, прыгая в траншею, — обвалилась вторая палатка. Передай дальше". Джозеф передал и следующие несколько минут был занят стрельбой по ружейным вспышкам, которые теперь были значительно ближе, на этой стороне бугра. Враг явно продвигался к отверстию в колючей проволоке; Реуен и Бауман стреляли из пулеметов непрерывно. Шум стал оглушительным, шквал опять усилился, казалось, до предела, и все время вокруг было темно, как в преисподней. Джозеф стрелял, целясь в ружейные вспышки, которые, казалось, приблизились на расстояние всего нескольких метров. Голова кружилась, но пальцы действовали ловко и точно, и Джозеф успел отметить про себя, каким ловким роботом

он стал. Два взрыва, один за другим, раздались поблизости; в красноватых вспышках, сопровождающих взрыв, осветилась, словно выгравированная, проволочная ограда и скрылась опять, затем Джозеф увидел, как длинная темная рука Реувена бросает гранату в сторону ограды. Бауман и кто-то еще тоже бросили гранаты.

— Дай, я тоже брошу, — крикнул Джозеф Реувену, но тот перегнулся через скрюченного Нафтали и спокойно сказал:

— Хватит. Это на всякий случай. Они могли полезть на ограду.

Джозеф понял, что *они* не полезли, и почувствовал облегчение, хотя и не понял, откуда Реувену это известно. Но любопытство покинуло его, единственным желанием было действовать, как автомат, подчиняться. Стрельба слегка затихла, и вдруг Джозеф совсем близко увидел ружейную вспышку и в тот же миг спустил курок. На этот раз выстрел и отдача почему-то не были похожи на все предыдущие, и у него мелькнула странная мысль, что, подобно тому, как некоторые женщины чувствуют момент зачатия, так мужчина может инстинктивно почувствовать, что он убил. Он и вправду был убежден, что попал, почти физически ощутил, что его пуля проникла во что-то мягкое и упругое. Через секунду зажегся прожектор.

Из траншеи раздались радостные звуки, и Джозеф почувствовал всем телом, что на этот раз они спасены. С таким чувством безумно усталый человек пьет горячий сладкий чай, когда теплота и сладость проникают в каждую клетку. Он только теперь заметил, что колени его дрожат, а ноги вот-вот подломятся. Он вытащил из кармана намокшую сигарету, но она развалилась в его пальцах.

Свет прожектора, как видно, деморализовал противника. Выстрелы звучали беспорядочно и с большого расстояния. Сомнения не было — нападающие отступили за бугор. Белый, слепящий глаз глядел на них, как пристальное око гиганта, а его медлительное, торжест-

венное движение, как видно, вызывало ужас.

Джозефу очень хотелось курить, и он спросил у Нафтали, нет ли у него сухой сигареты, но парень не ответил. Он сидел, странно съежившись, у бруствера, и Джозеф решил, что он в обмороке. Склонившись над Нафтали и упрекая себя, что не присмотрел за ним, Джозеф протянул руку, чтобы ощупать его лицо. Но вместо лица его рука ощутила мягкую влажную массу, а указательный палец уперся в липкую впадину. Джозеф с криком отдернул руку и дико затряс ею в воздухе, как будто обжегся. Реувен посветил фонарем, и Джозеф на секунду увидел то, чего он коснулся. Он отвернулся, и его вырвало.

Парень по имени Нафтали более или менее владел собой, пока не погас прожектор. С этого момента он превратился в комок дрожащей и стучащей зубами от ужаса плоти. В его отравленном страхом мозгу была одна мысль: убийцы рядом, через секунду они прорвутся через проволоку. Когда Реувен бросил гранату, Нафтали окончательно помешался. Он подпрыгивал на месте, издавал нечленораздельные звуки и кусал сжатые кулаки. Соседи были слишком заняты, чтобы обращать на него внимание. Он продолжал прыгать, как расшалившийся ребенок, смеясь и плача, пока что-то не ударило его в глаз. Он подумал: Реувен опять сердится, что он не прячет голову. Но почему Реувен ударил так больно? Огромные разноцветные круги вращались перед ним, как горящие обручи, которые бросают в воздух жонглеры. Спустилась тишина. Только одно яркое колесо продолжало вращаться, потом оно потускнело, остались лишь тьма и покой.

Около четырех часов стало ясно, что атака отбита. За последние полчаса не раздалось ни одного выстрела. Должно быть, нападающие скрылись за холмами,

торопясь вернуться до рассвета. Бауман отослал людей спать, оставив только часовых в блиндажах.

Джозеф чувствовал, что не уснет, и решил заглянуть в санитарную палатку в надежде, что Дина еще дежурит. Он выяснил, что во время атаки убит был один Нафтали и двое получили ранения: боец вспомогательного отряда ранен в грудь и горбун Мендель — в руку. Менделя ранило, когда он чинил кабель, но он оставался на месте, пока не кончил работу. Бредя через грязь и светя фонариком, Джозеф ощущал в ногах незнакомую тяжесть. Сознание заволакивал сонный туман. Нечто подобное должны испытывать люди на Юпитере, где каждый предмет весит в три раза больше, чем на земле. Интересно, есть ли на Юпитере евреи? Уж, наверно, есть. Ни одна порода не обходится без своих евреев. Евреи — это обнаженный нерв природы, существование на пределе... Из санитарной палатки падал свет, он откинул брезент и увидел Дину. Она варила на спиртовке турецкий кофе, как будто ждала его. На полу лежал на носилках раненый боец и спал. Дина убрала яркую ацетиленовую лампу и вместо нее зажгла свечи. Похоже, что она рада его видеть. Он осторожно прислонил винтовку к брезентовой стенке и блаженно опустился на пол.

— Где Мендель? — спросил он шепотом.

— Мендель в порядке. Рана поверхностная, он спит на своем тюфяке, с губной гармошкой под головой. Можно не шептать, раненый получил дозу морфия. — Ее приглушенный голос звучал без характерной для шепота напряженности и от этого более интимно.

— Завтра утром из Ган-Тамар пришлют амбуланс.

— Уже завтра... — проговорил Джозеф.

Она добавила в коричневую жидкость в блестящем медном кофейнике несколько капель холодной воды и налила кофе в две маленькие чашки. Джозеф пил с наслаждением, маленькими глотками, привалившись к ножке стула. Плечи Дины были покрыты кожаным жакетом, пустые рукава свисали. Казалось, ее знобило. Темные круги оттеняли светлую голубизну глаз,

волосы падали на лицо, как будто они устали лежать на месте.

— Хочешь помыться? — спросила она немного погодя. Джозеф ощупал лицо, оно было все в грязи. Он улыбнулся и покачал головой:

— Лень. Я просто чуть-чуть посижу. Можешь на меня не смотреть.

Он прикрыл глаза, а открыв их снова, увидел, что она смотрит на него с теплотой.

— Реувен заглянул сюда до твоего прихода. Сказал, что ты держался как надо.

Значит, Дина обо мне спрашивала, радостно подумал Джозеф. И Реувен меня хвалил. Слезы выступили у него на глазах. Хорошо, когда тебя ценят. Нет ничего лучше на свете, чем вызывать симпатию людей и самому их любить. Сомнения пропали. Он был переполнен простой и горячей верой. Нечего стыдиться, и не нужно притворяться. Он прислонился головой к ножке ее стула, закрыл глаза и дал пролиться слезам. Он знал, что теряет в этот момент последний шанс завоевать Дину, но блаженство самоотдачи, отказа от всякой позы было сильнее желания. Все кончено, — думал Джозеф, — ведь это я ей отдаюсь, а не она мне.

Когда он снова открыл глаза, то понял, что спал. Свечи оплыли, покрылись наростами стеарина, как старый, бородавчатый гном. Дина сползла со стула и спала, уткнувшись щекой ему в плечо. От его движения она проснулась и отодвинулась.

— Скоро день, — сказала она тихо.

— До рассвета не меньше часа, — ответил Джозеф.

Поеживаясь, она снова устроилась на стуле. Боец на носилках шевельнулся во сне.

— Как погиб Нафтали? — спросила она, помолчав.

— Не знаю. Надо было за ним присматривать.

Он вспомнил тот жуткий миг, когда его рука коснулась скользкой массы, и умолк.

— Бедный Нафтали, он никогда мне не нравился.

Джозеф не ответил. Не хотелось ни говорить, ни двигаться, только бы еще немного посидеть так, отки-

нувшись на стуле, без воли, без желаний.

— Знаешь, — сказала Дина, — я не понимаю, как ты оказался с нами. Не вписываешься ты в эту обстановку.

— А ты?

— Я — другое дело. А ты даже по происхождению только наполовину наш.

— Я выбрал именно эту половину.

— Но почему? Ты был бы счастливее, оставшись с ними. Объясни мне.

— Был один случай.

— Какой случай?

— Что я, на исповеди? — отмахнулся он устало.

Некоторое время они молчали. Он чувствовал, как она дрожит. Боец на носилках застонал. Дина поправила ему одеяло.

— Холодно, — сказала она. — Я бы легла.

— Хорошо, я пойду. — Он стал с усилием подниматься.

— Зачем тебе уходить? — Она соскользнула на пол и коснулась губами его лица. — Можно мне поспать у тебя на плече? — спросила она, укладываясь на некотором расстоянии от него и укрывая его и себя одеялом. — Но, пожалуйста, ничего не делай.

Он лежал неподвижно, ощущая теплую тяжесть на плече.

— Спи спокойно, Дина, все хорошо.

Она тихо дышала рядом. Немного погодя спросила:

— Очень это было страшно?

— Да нет, ничего особенного, обычная арабская показуха.

Еще через несколько минут она робко спросила:

— Наверно, это очень гнусно с моей стороны — лежать рядом и требовать, чтобы ты не шевелился?

Он ответил не сразу. Потом сглотнул с трудом и громко сказал:

— Как хочешь, милая. Как ты хочешь.

Ему не удалось уснуть. Мысли его вернулись по изохоженной дорожке к тому случаю, что привел его сюда. Ему бы хотелось набраться мужества и рассказать об этом Дине, но стыд и боязнь показаться смешным удерживали его. Жалкий комический эпизод, и трудно было представить, что даже она поймет, как это могло повлиять на его жизнь.

Джозефу было одиннадцать лет, когда умер его отец, довольно известный пианист — еврей из России. Мать была англичанкой. Родители ее не одобряли этого брака. После смерти мужа она вернулась в родной дом в Оксфордшире. Джозеф был единственным сыном, он рос в большом деревенском доме, играл в крокет и в теннис, ходил в церковь, ездил на пони, а позже на лошади. То, что об отце вспоминали редко, Джозеф уже в одиннадцатилетнем возрасте воспринимал как один из многих неписаных законов жизни.

В положенное время его послали учиться в Оксфорд, и, приехав домой после второго семестра, он влюбился в женщину, которую встретил на местных соревнованиях по теннису. Лили, стройная хорошенькая блондинка, была на пять лет его старше. Она пользовалась популярностью среди соседей в округе, хотя они иногда и подшучивали над ее приверженностью к новому политическому движению, сторонники которого устраивали демонстрации в лондонском Ист-Энде, носили черные рубашки и имели неприятности с властями. Но Джозеф в то время политикой не интересовался.

После третьего семестра он сделал Лили предложение и выслушал совет не валять дурака. После четвертого — они попали вместе на охотничий бал, где выпили несколько коктейлей и много шампанского. Во время последнего танца он заметил, что она улыбается ему особенной улыбкой. Пока оркестр играл "Боже, храни короля," она успела шепотом спросить, где находится его комната, и объяснила, как найти ее.

Он знал Лили почти два года, был робко влюблен, говорил с ней о поэзии, сексе и вечности и ни разу ее не поцеловал. После бала он внезапно стал любовником женщины, изменившейся за этот безумный, нереальный час настолько, что он повторял, заикаясь, ее имя, чтобы убедить себя, что это она. Затем наступило пробуждение и вслед за ним — катастрофа. Даже теперь, через много лет, его бросило в жар при воспоминании о пережитом унижении. Потянувшись за сигаретой, она зажгла лампу. Внезапный свет осветил их наготу и выявил символ Завета, клеймо расы, запечатленное на его теле. На лице ее выразился такой ужас, что он сначала решил, будто она обнаружила у него симптом какой-то отвратительной болезни. Затем ледяным, полным презрения голосом она обвинила его в подлости и обмане, допросила о предках и приказала одеться и убраться из ее комнаты. Наконец он понял, в чем дело.

Это был, действительно, ничтожный инцидент, о котором он никому не мог рассказать. Еще труднее было бы объяснить, почему он изменил всю его жизнь. Ведь от Лили он довольно быстро излечился. Лили была только орудием. Возможно, что и без нее какой-нибудь случай привел бы к тому же результату. Результатом же было нечто вроде контузии. Внезапно все изменилось. Он узнал все что мог о своем отце. Превратил память об отце в культ, искупая свою долю трусливой вины в заговоре молчания вокруг его имени. Это привело к разрыву с родней. Он поселился в Лондоне, встречаясь с людьми, которых отныне считал своими. Вначале они ему не нравились, но из газет он узнал, что случаи, подобные происшедшему с ним, в их жизни были обычны. Из книг он узнал, что так же было и в прошлом. Он стал читать еще и узнал о Движении за возвращение и о его основателе, венском журналисте Герцле, чья история напомнила Джозефу его собственную. Тот ведь тоже считал, что клеймо расы — пережиток прошлого, пока с ним не произошел его *Случай* — суд над капитаном Дрейфусом.

В конце жизни Гершель подытожил свою философию: "Если ты встретил на пути забор, за который невозможно проникнуть снизу, тебе остается только перепрыгнуть его. Двадцать веков мы пытались проникнуть снизу. Теперь мы прыгаем".

Джозеф сделал прыжок, остальное было легче. Он забыл о Лили и о своей контузии. Он больше ни от чего не убегал, наоборот, он бежал к цели. И эта цель совмещала в себе очарование дальних странствий, соблазн духовного возрождения и привлекательность социальной утопии. Это было удивительное путешествие, — от постели Лили к Башне Эзры в Галилее. Что это было такое — путь пилигрима или охота за дикими гусями, он не знал, да пока и не хотел знать.

Он чувствовал теплую тяжесть на руке, и спокойное дыхание Дины наконец усыпило его.

13

Они проспали, не шевельнувшись, до утра и проснулись одновременно.

— Пойдем, посмотрим, как всходит солнце, — предложила Дина.

Они вышли из палатки в серый утренний туман и в свежесть душистого воздуха. На востоке, за холмом со спящей арабской деревней, небо было розовым и желтым, быстро меняющим цвет. Дина отбросила волосы назад и встряхнулась, как выскочивший из воды щенок.

— Я наговорила прошлой ночью кучу глупостей.

— Разве? А я спал. Посмотри на овец.

Цепочка мохнатых пятнышек тянулась по ту сторону вади.

— Стадо овец у нас будет больше, — сказала Дина. — И коровы у нас будут. Как мы назовем первого теленка?

— Может, доктор Карл Маркс? — предложил Джозеф. — Давай, залезем на вышку!

Они поднялись по деревянной лестнице, Дина впереди, Джозеф за ней. Он смотрел, как играют мускулы ее ног, и едва сдерживался, чтобы не куснуть загорелую, мягкую кожу. "Ладно, – решил он. – Есть кое-что и кроме этого. Ценить людей, и чтобы они тебя ценили. Нравиться им, и чтобы они мне нравились".

Они стояли на площадке Башни Эзры, окруженные плавными изгибами серебристо-серых холмов Галилеи. Они видели, как из жилой палатки прошла к душе с полотенцем на шее и большой губкой в руке Даша.

– Сегодня начнем строить коровник, – сказала Дина.

Блестящий край солнца прорезался сквозь желтоватый туман. Было 5.30 утра.

И был вечер, и было утро. День первый.



**ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДНИ**  
**(1938)**



*Из устава кооперативных поселений (согласно Закону о кооперативных обществах мандатного правительства Палестины, 1933 г.):*

Раздел А: Имя, адрес, цель, полномочия и членство.

Основными целями Общества являются организация и поддержка экономических и общественных интересов его членов в соответствии с кооперативными принципами, в частности:

а/ ведение и развитие коллективного хозяйства;

г/ сбыт продукции и приобретение оборудования;

д/ общая касса, в которую поступают все деньги, заработанные членами коммуны, и за счет которой оплачиваются все их потребности;

е/ содействие членам коммуны в повышении их экономического, культурного и общественного уровня, взаимопомощь, забота о больных, старых и слабых... содержание и воспитание детей членов коммуны;

з/ организация и поддержка общественных учреждений и служб в поселении.

Раздел Г: Специальные постановления, относящиеся к ведению дел Общества:

3. Права и обязанности членов: а/ члены коммуны пользуются одинаковыми правами на получение из общего фонда еды, питья, одежды, жилья и на удовлетворение прочих жизненных нужд.

Раздел Д: Финансовые условия.

1. Капитал:

Общество капиталом не располагает.

2

*Страницы из дневника Джозефа, члена киббуца Башня Эзры.*

*Пятница, ...октября 1938 года.*

Сегодня год, как пуля поразила глаз и мозг молодого Нафтали, не умевшего сгибать голову. За это время он превратился в героя и нашего местного святого. Подумать только, что этот косоглазый дурачок отрицал всякое насилие и все надежды возлагал на просвещение наших соседей. Но на героев следует смотреть на расстоянии. Вся история человечества – это ряд провалов, которые, накапливаясь, оборачиваются достижениями. Еще один пример диалектического перехода количества в качество.

Так или иначе, за этот год наш киббуц вырос и расширился и превратился почти в настоящий поселок, вернее, помесь вооруженного лагеря и модели с чертежной доски, только в натуральную величину. Наблюдательная башня – наша общинная церковь, столовая – одновременно наш клуб и форум. Жилые помещения все еще деревянные, но первые каменные строения – коровник и стойло, а также детский сад – выглядят очень внушительно. В детском саду пока всего пятеро обитателей, весьма забавных. Из них двое родились уже когда мы здесь поселились. Еще двое ожидаются вскоре. Создается впечатление, что товарищи женщины

все ходят с животами и очень довольны собой, потому что повышают норму рождаемости. Выглядят они при этом еще менее привлекательно, чем обычно. Полагаю, что в момент зачатья они поют "Ха-Тиква".

Имеется у нас также и свое кладбище, на котором пока пять цементных плит. Один умер от тифа, троих послали вслед за Нафтали наши соседи: двоих во время ночных боев, а на третьего напали, когда он шел один через вади, и убили с особой жестокостью: кастрировали, выкололи глаза и т.п. А у крестьян из Кафр-Табие еще хватает наглости являться к нам в аптеку со своими фурункулами, болями в животе и засиженными мухами детьми.

Вершиной трагикомедии был визит, нанесенный нам мухтаром в честь годовщины нашего поселения. Он прибыл на белом жеребце в сопровождении старшего сына Иссы. Сын — конопатая дубина с бегающим взглядом, но сам мухтар выглядел великолепно. Реувен показал им библиотеку, тракторный гараж, лесной питомник и т.п. Мухтар восхищенно цокал языком и лучился улыбками, словно добрый дядюшка, а Исса был похож на больного желтухой, оказавшегося в гастрономической лавке.

Реувен попросил их остаться на обед, и мухтар с большим искусством разыграл церемонию отказа. Обеими руками он отталкивал от себя воображаемое блюдо, потом прижимал руки к груди, как бы уверяя: нет, я не способен лишить хозяев столь великолепного блюда. Он сыграл сцену три раза и отправился в столовую. За общим столом он выглядел весьма нелепо в своей распушенной по плечам клетчатой куфие и свисающим с узкой скамьи колоссальным задом. При этом он внимательно следил за бесцеремонно входящими и выходящими товарищами, особенно за женщинами.

Мне было несколько неловко, что после всех церемоний, угощение наше оказалось довольно скудным, хотя я и понимал, что Реувен прав: нечего ради мухтара лезть из кожи. Накормили его по принятым у нас

нормам, а не так, как принято у них. Дескать, мы здесь хозяева. Мухтар это почувствовал и был недоволен, хотя и не оставил своего жизнерадостного тона, зато Исса угрюмо жевал кашу и не говорил ни слова, опуская вороватые глаза, когда какая-нибудь голоногая девица, проходя, задевала его бедром. Кроме нас четверых за столом остались только Макс и Сарра, принадлежащие к крайнему антиимпериалистическому крылу нашего движения. Озабоченные судьбой арабского населения, они бросали на мухтара и его сына влюбленные взгляды, жажда им объяснить, что вера в Аллаха — это опиум для народа и что арабским женщинам необходимо пользоваться противозачаточными средствами. Увы, Макс и Сарра не знают арабского.

Когда дело дошло до кофе, приготовленного, в виде уступки гостям, на турецкий манер, мухтар, наконец, выложил свои карты. Понизив голос до конфиденциального интима, он спросил, что мы знаем о будущих границах между арабским и еврейским государствами, которые планируются комиссией по разделу? Реувен откровенно признался, что знает только, что доклад комиссии должен быть вскоре опубликован. Кроме того, саму идею раздела, по его мнению, скоро оставят. Тогда мухтар принялся толкать нас локтями и с громким смехом хлопать ладонями по коленям. Дескать, уж вы-то, конечно, все знаете, только не хотите выдать секрета. Наконец он рассказал: по слухам, предполагается разделить Галилею надвое, при этом Кафр-Табие окажется на территории еврейского государства.

Реувен пожал плечами и повторил, что по его мнению, от идеи раздела должны отказаться. Я спросил мухтара, откуда у него эти сведения. Он напустил на себя торжественный вид и сообщил, что получил информацию от очень важного лица. Вероятно, этим лицом был заезжий торговец одеждой, которого мы видели позавчера, направляющимся в Кафр-Табие верхом на осле, но мухтар, по-видимому, был твердо уверен, что то, что он узнал — правда. Реувен скучал,

Но мне вся сцена доставляла истинное удовольствие. Я спросил, не думает ли он, что в еврейском государстве ему бы неплохо жилось, и развернул перед ним готовый набор аргументов: сказал, что повысился уровень жизни арабов и снизилась смертность детей с тех пор, как мы тут появились; что двадцать лет назад страна была сплошным болотом и пустыней, а теперь благополучию палестинских арабов завидуют их соплеменники в соседних странах. "Слава Богу", — ответил с серьезным видом мухтар. Я напомнил ему, что именно мы платим налоги, за счет которых правительство построило дороги и арабские школы. "Слава Богу", — кивал он. Я сказал, что арабский рабочий в Палестине зарабатывает впятеро больше, чем в Египте, и в десять раз больше, чем в Ираке, и все — за счет капитала, который поступил в страну с нашим приходом, что смертность арабских младенцев, благодаря нашим больницам, уменьшилась на треть. "Слава Богу, Слава Богу", — многозначительно и энергично повторил он. Я сказал, что сам великий Фейсал, сын Хуссейна, короля Аравии, официально приветствовал после войны идею возрождения еврейского государства, а уж сын халифа знает, что хорошо для арабов, куда лучше, чем наемники безбожных немцев.

— Бог мой, как правильно ты говоришь! — воскликнул мухтар. — Я всегда придерживался такого же мнения, но безумцы не слушают мудрых и иной раз даже отвечают пулей на увещевания.

Он опять понизил голос до шепота и признался, что он всегда был последователем умеренного клана Нашашибби, но так как экстремисты из семьи Хуссейни забрали при поддержке англичан большую силу, а их вождь муфтий Хадж Амин руководит террористами из Дамаска, так как большинство умеренных старейшин из клана Нашашибби полетели со своих мест за попытки прийти к соглашению с евреями, так как второй мухтар Кафр-Табие — человек Хуссейни и смертельный враг нашего мухтара и т.д. и т.п. Словом, ясно как Божий день, что не было у нас друга надеж-

нее, чем мухтар Кафр-Табие, и самое малое, чем мы можем оплатить ему за преданность, это назначить его в новом еврейском государстве на теплое местечко, например, на должность сборщика налогов или инспектора дорожного транспорта. И само собой, повесить второго мухтара и всю его семью.

Наконец, после торжественных заверений в вечной дружбе и добром соседстве он отбыл. На Реувена его шарм нисколько не подействовал, но я невольно залюбовался старым разбойником. Как убедительно он врёт, и как неубедительны наши разговоры на равных при всей их правдивости! Это одна из причин, почему англичане любят их и терпеть не могут нас. Мы только и делаем, что демонстрируем англичанам свою лояльность, а арабы тем временем их надувают. Но ведь англичане и не ожидают от арабов честности. Таковы правила игры. У англичан существует старая тонкая политика в обращении с туземцами. Туземцы их забавляют. Для англичанина в порядке вещей эксплуатировать туземца и так же в порядке вещей — ожидать от него удара в спину. А с нами им трудно. Мы для них не туземцы, а иностранцы, а это разные вещи. Комплекс превосходства сосуществует с комплексом неполноценности, и в то время, как туземцы способствуют, в основном, развитию первого, иностранцы питают второй. А демонстрация нашей лояльности делает нас для англичан только более подозрительными.

### *Воскресенье*

Слава Богу, возвращается из больницы наш казначей Моше, так что на следующей неделе после общего собрания я освобожусь от временно занимаемой мной должности и вернусь к своей работе. Но сначала придется подготовить годовой отчет, что задача довольно неприятная. Хотя понятно, что первые три года мы будем работать с убытком и только на пятый год начнем выплачивать арендную плату за землю и ссуду Национальному фонду, все же довольно уныло выглядит

такого рода баланс:

Доход в палестинских фунтах:

Посадки маслин	000
Проч. фруктовые деревья	000
Лес	000
Лесной питомник	000
Козы и овцы	000

До сих пор единственными источниками нашего дохода были первые урожаи пшеницы и ячменя с трех акров земли, молоко и масло из нашего коровника и несколько фунтов продукции с птицефермы и огорода, а также зарплата наших товарищей, работающих на хайфской цементной фабрике, и помещенные в рубрику "разное" деньги, полученные от продажи золотых часов, которые Макс получил от своей нью-йоркской тетушки ко дню рождения.

Однако у киббуцной бухгалтерии есть своя волнующая сторона. Основной графой нашей арифметики является не фунт, а рабочий день и расход на каждого человека в день. "Рабочий день" — это количество работы, произведенное одним киббуцником за восьмичасовой рабочий день. Стоимость рабочего дня варьируется в зависимости от отрасли хозяйства. Она рассчитывается путем деления суммы годового дохода от, к примеру, молока и масла на количество рабочих дней, затраченных в коровнике. Эту сумму работник теоретически зарабатывает в день. Денег он, естественно, не получает, сумма поступает в кассу киббуца. Чем меньше затрачено рабочих дней на каждый фунт продукции, тем доходнее отрасль и, учитывая амортизацию, таким образом мы можем судить о рентабельности. Как во всех новых поселениях, стоимость рабочего дня у нас очень низкая: теоретически мы зарабатываем ежедневно по три шиллинга и шесть пенсов. Конечно, этот расчет касается только тех, кто занят на работе, приносящей доход. Работа поваров, раздатчиков, швей, прачек

и т.п. дохода не приносит. Почти половина членов киббуца занято такого рода непроизводительным трудом. Таким образом, доход от рабочего дня должен по крайней мере вдвое превышать затраты на ежедневное содержание (то есть питание, одежду и общественное обслуживание) на душу населения. Увы, расходы на содержание все еще составляют два шиллинга и девять пенсов.

Что меня действительно поражает, так это статистически выраженная причудливая картина того, сколько времени требуется средней цивилизованной личности в разумно организованном обществе на удовлетворение элементарных нужд. В настоящее время в киббуце Башня Эзры проживает 36 взрослых (37 основателей минус 5 мертвых плюс 4 новичка). Теоретически общее количество рабочих дней составляет  $36 \times 365 = 13140$ . Из них 6624 тратится на труд, приносящий доход, то есть труд на поле, в саду, в оливковой роще, коровнике, птицеферме, при уходе за овцами, на техническое обслуживание. Разделив эту сумму на число членов киббуца, получим, что каждый человек в среднем расходует 196 дней в году на свое содержание. Таким же образом узнаем, что он (или она — статистически средний человек всегда гермафродит) тратит 28,5 дня в году на приготовление пищи, стирку и раздачу еды, 12,6 на пошив одежды и ее починку, 3 дня на выделку обуви, 3,5 дня на глажку, 3,5 дня на уборку его (ее) жилого помещения, 4 — на уход за клумбами и украшение территории киббуца, 6,5 дней на путешествия, 1,5 дня на обслуживание библиотеки и ларьков, 3 — на оказание медицинской помощи, 21 — на обслуживание детского сада, 20 — на то, чтобы болеть, 5,6 на пребывание в детской кроватке и сосание груди, 4 — в отпуске, 56 — на субботный и праздничный отдых и 2,2 дня на ничегонеделание из-за проливных дождей.

Итак, уходом за нашими пятью детьми полностью заняты два человека, не считая времени, которое проводят с ними после работы их родители. Таким образом, уход за детьми в киббуце гораздо лучше, чем

в семье. Жена фермера в семье с пятью детьми не только одна присматривает за ними, но, кроме того, должна готовить, делать прочую домашнюю работу и по временам помогать мужу в поле и ухаживать за скотом. Чтобы все это успеть, ей понадобилось бы 700 дней в году, а эффект получился бы меньший, чем у нас. Это удастся, если только втиснуть 2 восьмичасовых рабочих дня в каждый день своей жизни. То же касается и ее мужа.

Революция, совершенная киббуцом, заключается в том, что стало возможным заниматься сельскохозяйственным трудом на базе восьмичасового рабочего дня, превращая этот труд в цивилизованное занятие. К тому же, начиная с пяти часов мое время принадлежит мне, а какова, в конце концов, цель социализма, если не завоевание досуга?

Вчера, во время еженедельной раздачи заказов, я в последний раз перед возвращением Моше играл роль рождественского Деда Мороза. "Час покупок" накануне субботы — это звездный миг нашей недели, а быть "продавцом" в магазине, где не надо платить, — одно из самых благодарных занятий. Стояние в очереди перед лавочкой превращается в некотором роде в общественное мероприятие. Каждый только что из-под душа, в чистом белье, в субботнем наряде, каждый в лучшем виде, каждый предвкушает нынче вечером мясной обед, а на завтра — поздний сон и отдых. Затем все вваливаются в мою ветхую хибару с заготовленными списками товаров в руках и с таким видом, будто они пришли присмотреть меховую шубу на Бонд-стрит. Стандартный набор — это полтора десятка сигарет, кусок мыла и одна бритва на неделю, тюбик зубной пасты и ваксы на две недели, зубная щетка на месяц. Кроме того, бумага, конверты, марки, шнурки для ботинок, противозачаточные средства, электрические лампочки, батарейки для карманных фонариков, гребни, шпильки и т.д. — по специальному заказу в соответствии с потребностями. Каждый из нас получает один комплект рабочей одежды в год и один — выход-

ной. Рабочая одежда покупается в готовом виде у оптовиков. Субботняя, для женщин, делается в нашей пошивочной мастерской по личному вкусу. Удивительно, как мало у человека материальных потребностей, если конкуренция и накопительство отсутствуют.

Через пару лет у нас будет своя мебельная мастерская, и тогда появятся средства для предметов роскоши. Пока на приобретение этих предметов у нас 12 фунтов в год на весь киббуц, что равносильно двум рабочим дням на душу населения в год...

Моше превращает раздачу "товаров" в увлекательную игру. Расхваливает их на смеси из трех языков, заламывает фантастические цены, как настоящий торговец. Игра нам никогда не надоедает, вероятно, потому, что тешит наше тщеславие, пробуждает чувство нашего превосходства над миром капитала, или потому, что утешает нас, высмеивая египетские "горшки с мясом", так невозвратно нами оставленные, и возвеличивает в наших собственных глазах добродетель ужасающей бедности, в которой мы живем.

Существование наше тяжело и монотонно, и чтобы его терпеть, каждый из нас — сам для себя красной бабкой Моше. И все-таки бывают дни... Редкие дни! Помни, Джозеф, помни! Или ты забыл фараоново воинство?

Пудра и косметика у нас под запретом как атрибуты "буржуазного разложения". А жаль. И жаль, что хоть изредка к нам не навевается какая-нибудь милосердная вавилонская блудница.

### *Воскресенье*

Вчера по случаю субботы мы ездили на грузовике в Ган-Тамар на концерт филармонического оркестра, гастролирующего по поселениям. С тех пор, как мы прочно стали на свои ноги, наши отношения с Ган-Тамар постепенно портятся. Возникли обыкновенные в таких случаях мелкие трения — по поводу, например, взятого займа и возвращенного с поломанной рессорой грузовика. Но в корне неприятностей лежат, разумеется, политические разногласия. Есть ли еще нация

с такой огромной способностью к фанатизму, как мы? Думаю, что виноват галут: среди эмигрантов всегда образуются клики и возникают ссоры, а мы были эмигрантами две тысячи лет. За что еще держаться изгнанникам, кроме как за доктрины и убеждения? На языке других народов это называется деликатно "семитской страстностью". Как бы то ни было, на последних муниципальных выборах в Тель-Авиве имелось 32 партийных списка, и каждая партия была глубоко убеждена, что она одна представляет истинных пророков Царства Божьего.

Но настоящее развлечение начинается тогда, когда еврейская склонность пророчествовать скрещивается с социалистическим сектантством. Всякая мелочь тогда становится вопросом жизни и смерти, а на малейшее отклонение от партийной линии обрушиваются с яростью Амоса и Исаяи. Потому и Маркс был таким сварливым старикашкой, и мы, его последователи, восприняли если не его величие, то хотя бы его вздорность. И наши киббуцы, основанные на одинаковых принципах, разделены на три конкурирующих между собой фракции. Башня Эзры входит в "Объединенную группу коммун", которая поддерживает партию Ма-пай, а Ган-Тамар относится к объединению "Ха-Шомер ха-цаир", принадлежащему к крайне левому крылу рабочего движения, близкого по взглядам британской Независимой рабочей партии. К России они относятся с большой симпатией, а мы довольно критически. Так что после концерта в читальном зале Ган-Тамар возникли обычные споры – страстные, ядовитые и тщетные, как и полагается в социалистическом братстве.

Началось, как всегда, с России, ее однопартийной системы, неравенства доходов, массовых арестов, предательства по отношению к Испании. У гантамарцев на все имелись готовые ответы, и наши радикалы, Макс и Сарра, их поддерживали. Грустно наблюдать, как политическое недовольство этих двоих переплетается с личной завистью. Сарра считает, что именно она – профессиональный психолог и диетсестра –

должна заведовать детским домом, а не Дина. У Сарры бледное худое лицо с голодными глазами девственницы. Макс, со своим приплюснутым носом, нечесаной шевелюрой и острым умом, убежден, что достоин занимать пост члена секретариата. Но из-за сварливого характера он не пользуется популярностью среди киббуцников и во время выборов обычно получает место в каком-нибудь комитете по культуре. Оба неженаты.

Спор о России шел по обычному руслу, подобно шахматной партии, когда вначале игроки знают ответные ходы друг друга, но разыгравшись, швыряют фигуры в головы. На этот раз бросать фигуры начал наш казначей Моше. Мы уже прошли через первые ходы, а именно:

Белые (ход ферзевой пешкой): лживость обвинений против троцкистской оппозиции очевидна.

Черные (ход ферзевой пешкой): всякая оппозиция в рабочем государстве априори контрреволюционна.

Белые (ход пешкой от слона): неравенство в заработной плате и привилегии бюрократии растут.

Черные (ход пешкой от слона): необходимо стимулировать производство временными мерами.

Белые (ход королевским конем): усиливается шовинизм в школе, вождизм и религиозные предрассудки.

Черные (ход ферзевым конем): необходимо подготовить отсталые массы к войне с империалистами и к фашистской агрессии.

Белые (Даша бьет пешку пешкой): они даже поощряют буржуазное разложение вроде губной помады, крема и пудры.

Черные (Сарра бьет пешку, краснея от гнева): здоровый пролетарский секс противостоит проституции буржуазного брака.

На этой стадии Моше потерял терпение и смешал игру. Моше во всех отношениях тяжеловес. Приземистый и коренастый, как бык, он сидит на киббуцной кассе, как лорд-канцлер на шерстяной подушке в английском парламенте. С помощью своего финансо-

вого гения он, как пророк Моисей, способен извлекать воду из камня. Его тяжеловесный здравый смысл пробивается сквозь чащу аргументов, как слон через джунгли. Моше заявил гантамарцам, что из подражания русским им следовало бы прежде всего упразднить как левый уклон киббуцную кассу и платить зарплату. Понятно, что члены секретариата получают раз в 300 больше, чем рядовой киббуцник. Придется также содержать тайную полицию, высылать и расстреливать любого без суда. Затем — построить отдельную столовую для стахановцев и еще одну — для членов секретариата, упразднить совместное обучение мальчиков и девочек и ввести плату за обучение.

Поднялся страшный шум. Когда он улегся, послышался резкий профессорский голос Феликса. Как всегда, Феликс терпеливо выждал подходящий момент и, воспользовавшись короткой паузой, прочел лекцию. Феликс — гантамарский Ленин и ведущий теоретик Еврейской партии труда. Кроме всего прочего, он создатель системы, практикующейся в некоторых поселениях Ха-Шомер ха-цаир, согласно которой мальчики и девочки до 18-ти лет моются в душе совместно, но связаны обетом воздержания. А выглядит он, как старая дева мужского пола, предающийся тайному греху по субботам и лишний раз — в годовщину Октябрьской революции. Феликс принялся на все лады выворачивать и переиначивать аргументы Моше. Лекции Феликса обладают особым качеством: он дает вам почувствовать, насколько жесток стул, на котором вы сидите. Однако слушатели, как противники Феликса, так и его сторонники, покорились неизбежному. Он говорил целых полчаса, и из речей его следовало, что советские колхозы не следует смешивать с нашими киббуцами: там социализм пришлось строить с отсталым населением, а наши киббуцники — избранная элита, к тому же добровольцы.

— Ладно, мы все это знаем, — отдувался Моше, — но если мы можем строить коммунизм в чистом виде на территории, находящейся под властью капиталистичес-

кой Англии, почему, спрашивается, русские энтузиасты не могут таким же образом экспериментировать на территории Советской России?

— А потому, — объяснил Феликс, манипулируя цитатами из речей Сталина, — что условия в России отличаются от условий в других странах, и наоборот, методы, применяемые в пролетарском государстве, нельзя сравнивать с методами в капиталистических странах.

Феликс вел войну на истощение, и напрасно: нельзя истощить слона.

— Вы все маньяки, — пыхтел Моше, — наши киббуцы — единственное место в мире, где частной собственности не существует, где все по-настоящему равны и где можно прожить всю жизнь, не прикасаясь к деньгам. В наших ста с лишним поселениях мы в течение тридцати лет практикуем коммунизм в чистом виде, прошли через все испытания, но не пожертвовали ни единым из основных наших принципов и превратили утопию в реальность, пусть и в малых масштабах. Теперь я спрашиваю: почему русские не пришлют к нам делегацию экспертов, чтобы изучить наши достижения на месте? Они посылают комиссии для изучения деятельности американских заводов, английских футболистов и немецких полицейских. А к нам не прислали не только ни одной комиссии, но даже ни одного журналиста. Даже упоминать о нас в их печати запрещено, под запретом и язык иврит, а наших товарищей там расстреливают. Не мы должны ими восхищаться, а они нами.

— Типично шовинистическое самодовольство, — огрызнулся Макс.

Гантамарцы его поддержали. Любопытно, что газеты левых непрерывно воспевают "блестящие достижения еврейских социалистических коммун", но когда дело доходит до России, они преисполняются смирения и благоговения, будто находятся в церкви. Феликс замолчал, и дискуссия иссякла. Мы перешли на кухню, Рут сварила кофе. Самое уютное место в наших поселе-

ниях – опустевшая около полуночи кухня. Варишь кофе, таскаешь из буфета печенье, ощущаешь себя кутилой. Это у нас называется “кумзиц” – переделка идишевского выражения: “приходи и садись”. Мы опять развеселились. Начались обычные сплетни о других киббуцах. Поговорили о снобах из Хефци-Бы, где у каждого товарища академическая степень и где затеяли постройку плавательного бассейна, при том, что в этом году у них дефицит. В Кфар-Гилади, одном из старейших киббуцов Верхней Галилеи, молодежь захватила все места в секретариате, и патриархи времен старого Вабаша чувствуют по этому поводу большую горечь. В Тираф-Цви, новом религиозном поселении в Иорданской долине возникла ужасная ссора на почве дойки коров по субботам. Пришлось обратиться к главному раввину, который вынес решение: коров по субботам доить, но в подойники наливать уксус, чтобы молоко свернулось и не могло быть использовано для коммерческих целей.

Было бы еще веселее, если бы нашлась бутылка бренди или виски. Преодолеем ли мы когда-нибудь свой пуританизм? Лично я его с трудом переношу и иной раз чувствую большую потребность выпить. А молодому поколению ничего такого не нужно. Для сабр стакан вина все равно что опиум или гашиш, а для наших девушек губная помада – изобретение дьявола, обитающего в тель-авивском Вавилоне и разгуливающего в смокинге с белой гвоздикой в петлице.

#### *Четверг*

Вернулся из Иерусалима Мендель-музыкант и привез виолончель. Неделю назад я прочел объявление о продаже виолончели в “ДжерузалеМэйл”. Беженец из Европы продавал ее совсем по дешевке, за 5 фунтов. В качестве временно исполняющего обязанности казначея я взял на себя решение о ее покупке – из бюджета на предметы роскоши на будущий год, так как 12 фунтов за прошлый год были уже истрачены. Конечно, мне следовало, по крайней мере, посовето-

ваться с другими членами секретариата, но я этого не сделал. Когда Моше услышал о покупке, он пришел в ярость и пообещал, что на следующем собрании даст мне по мозгам. Безусловно, у меня будут неприятности, но главное, у нас теперь имеется полный струнный квартет.

Я спросил Менделя, не слышал ли он в Иерусалиме каких-нибудь политических сплетен, например, по поводу раздела. Он ничего не слышал. Он абсолютно аполитичен, замкнут, молчалив и несколько мечтателен. Он наш тракторист и механик, и я подозреваю, что в глубине души он бывает счастлив, когда что-нибудь не ладится с нашей электростанцией. Он слишком застенчив, чтобы бурно выражать свою радость по поводу виолончели. Он всегда застенчив, когда дело касается музыки, — пока не разойдется и не впадет в экстаз. Всякая истинная страсть целомудренна.

### *Понедельник*

У нас финансовый кризис — один из наших периодических кризисов, которые даже гений Моше не в силах предотвратить. Последние три дня мы сидели на одном хлебе, маслинах, макаронах и молоке. Даша уверяет, что витаминный баланс в нашем меню не нарушен, тем не менее мы бродим с голодным блеском в глазах, а я, встречаясь взглядом с товарищами-киббуцниками, вижу в этих взглядах купленную мною виолончель. Целых две недели мы не видели мяса, но Арье отказывается пожертвовать хоть одной овцой: не сезон. В этом смысле, по-видимому, всегда не сезон. Мы продали наш последний урожай овощей, продали сыр и масло и остались ни с чем. Семь человек болеют: трое — малярией, двое — брюшным тифом, двое — дизентерией, что само по себе только немного выше обычной нормы, но, к несчастью, среди них четверо (из пяти-рых) наших добытчиков, работающих на стороне за деньги. Обычно каждую пятницу они приносят 10–15 фунтов с цементного завода, не говоря уже об инструменте, мыле и прочих мелочах, которые они оттуда

таскают для общего блага. Эти деньги — основа нашего еженедельного бюджета, остальное достигается с помощью сложных кредитных операций с Рабочим банком и Национальным кооперативом, которые закупают нашу продукцию и снабжают нас большей частью того, что нам необходимо. Но без минимума наличного капитала не обойтись, чтобы все это финансово-хозяйственное сооружение работало.

К счастью, наш большой друг мухтар из Кафр-Табие появился у нас сегодня утром и после обычной нудной болтовни о Божьем Промысле и жизни вообще вдруг предложил сдать ему напрокат наш трактор, чтобы вспахать поле. Я кинулся за Моше, и они вдвоем с Реувеном торговались полтора часа с мухтаром, истратив на него последние остатки сахара и кофе, и в конце концов согласились вспахать ему поле за 90 пистров с дунама. Моше и мухтар оба клялись, что губят себя исключительно из человеколюбия, оба остались вполне довольны: мухтар, потому что он уже пытался нанять трактор у наших соседей из Ган-Тамар, которые запросили на 10 пиастров за дунам дороже, а Моше, потому что ему Бог послал 15–20 фунтов наличными. Во всяком случае Моше пообещал, что до пятницы кризис будет преодолен, и в субботу мы получим хороший обед, включая кофе с сахаром, а также дополнительный паек табака в ларечный день. Несмотря на эти розовые перспективы, мне пришлось отправиться в Ган-Тамар за совершенно необходимыми вещами — горючим для трактора и двумя кусками кожи для моей сапожной мастерской. Просить у гантамарцев всегда неприятно: им восемь лет от роду, а нам только год; они богаты, а мы бедны; у них триста душ, а у нас сорок одна; они высокомерно-снисходительны, а мы заносчивы. К тому же у нас совесть нечиста, потому что мы сбили цену в сделке с трактором, и ко всему прочему мне пришлось одолжить у них не только необходимые нам вещи, но и грузовик, чтобы их привезти, так как у нас самих не осталось ни капли бензина.

Итак, я взял осла и поплелся вниз по вади, чувствуя себя так, как если бы ехал в Каноссу. Такого рода неприятные миссии почему-то всегда выпадают на мою долю. Например, когда Моше нужно заключить сомнительную сделку с Рабочим банком, вместе с ним в Хайфу для моральной поддержки обычно посылают меня, используя при этом мое "экзотическое нееврейское обаяние", — одна из любимых шуток Реувена. У него их немного.

В глубине души всякие сомнительные миссии доставляют мне удовольствие. Кроме того, приятно было прогуляться и искупить вину за виолончель. Весело насвистывая, я ехал по вади. День выдался великолепный, не слишком жаркий. Прошлой ночью прошел первый дождь, и все кругом, включая и небо, выглядело свежееотполированным и сверкало, как после весенней уборки. Мне также очень нравится путешествовать на осле. Кажется, что сидишь не на животном, а на набитом чучеле или коне-качалке. Я восхищаюсь упрямой гордостью и независимостью осла, полным отсутствием у него лошадиной и собачьей сентиментальности. Если верблюд это корабль пустыни, то осел — его лодка: веслами служат ноги. Я видел арабов, проделывающих на осле 75 движений в минуту. Наша Гарбо великолепный экземпляр. Как только перестает "грести", она немедленно останавливается. При всем отсутствии сентиментальности ее глаза с длинными ресницами сияют, как у ее однофамилицы.

В Ган-Тамар я обнаружил еще одного заезжего осла, привязанного к столбу перед помещением секретариата. По сравнению с этим толстым, белым самодовольным животным наша Гарбо выглядела Золушкой. Войдя в помещение, я узнал, что осел принадлежит рабби Гринфельду, который, запасшись хупой и прочими принадлежностями культа, совершает ежегодный объезд киббуцов, чтобы поженить тех, кто согласен подчиниться религиозному обряду. Благодаря этому обстоятельству Феликс был в веселом настроении. По-видимому, он еще не знал о нашей двусмысленной

сделке с мухтаром. Его наводящие ужас очки лежали перед ним на столе, а неожиданно беззащитный взгляд заставил меня ощутить себя почти подлецом за мое намерение зажилить кожу и бензин: один Бог знает, когда мы сможем вернуть им все это! Но чего там, они богаты, а мы бедны, они только что приобрели для своей столовой полированные столы и стулья взамен скамеек. Феликс удовлетворил все мои просьбы с кислой улыбкой, а затем предложил посмотреть на "дурацкую церемонию", которая совершалась перед столовой. По дороге он объяснил извиняющимся тоном, что молодые соглашаются на эту "дурацкую церемонию" только в случае рождения ребенка или когда он ожидается, так как "диалектически несправедливо" было бы подвергать детей неприятностям, которые ожидают их в этом зараженном предрассудками мире. Перед входом в столовую рабби Гринфельд совершал брачный обряд над стоящей под хупой парой в рабочей одежде. Четверо ребят в шортах цвета хаки поддерживали столбы шершавыми от работы руками. Похоже это было на сцену из комической оперы, и все откровенно смеялись. Рабби, уткнувшись носом в молитвенник, старался ничего не замечать. Присмотревшись, я увидел, что невеста — это толстуха Пнина, много лет счастливо прожившая со своим Шмуэлем и родившая уже троих детей. Шмуэль стоял, ухмыляясь, среди публики. Видя мое удивление, он объяснил:

— Настоящая невеста на восьмом месяце беременности, ей неловко перед старым Гринфельдом, так что моя Пнина ее замещает. За последние два года она проделала это уже три раза. Старый Гринфельд близорук, а Пнине нравится выходить замуж.

Не без труда жениху удалось насадить обручальное кольцо на толстый палец Пнины. На том брачная церемония кончилась. Следующая пара дождалась своей очереди. Когда они прошли под балдахин, Пнина незаметно передала им кольцо. Это единственное в Ган-Тамар кольцо обслуживало всех.

Мне старый Гринфельд нравится, и когда все кончи-

лось, я подошел поздороваться. Он посмотрел на меня поверх очков в золотой оправе, пытаюсь вспомнить, кто я такой. Я сказал, что я – сапожник из Башни Эзры, и он заметил:

– Да-да, новенькие. Тяжелая там жизнь, да, тяжелая. Ну, как дела?

Я сказал, что у нас три пары хотят жениться. Он вынул замызганную записную книжку, лизнул большой палец, полистал страницы и заявил, что он будет у нас недели через три. В этот момент подошел Феликс и сказал, что мой грузовик готов.

– Что-что, молодой человек, вы едете на машине? Тогда я отправляюсь с вами. Пусть отдохнет осел, а также мой геморрой.

Мы пустились в путь. Я вел машину, старик Гринфельд сидел рядом и с выражением блаженства на лице читал, невзирая на тряску, свою Библию, а хупа и прочие принадлежности лежали там же, где были бензин и драгоценные куски кожи. В спешке – Феликс просил вернуть грузовик до наступления ночи – я забыл одолжить у них обручальное кольцо, как мы это делали в подобных случаях. Кроме того, я вспомнил, что один из женихов лежит в больнице с дизентерией. Правда это было не важно, так как ему найдут замену. Единственное, что было важно, это печать старого Гринфельда на брачном свидетельстве, но с кольцом вышло неловко. Я откашлялся и стал объяснять рабби, что, поскольку мы не рассчитывали на его скорый визит, то не успели приобрести кольца. Он отложил Библию и посмотрел на меня поверх очков. У него были красные жилки в глазах и желтые никотиновые пятна в бороде.

– Я могу продать вам кольца\*.

Он порылся в карманах черного шелкового кафтана и достал три кольца. Держа их на мягкой белой ладони, словно на ювелирной подушечке, он сказал:

– Чистое золото, по 18 каратов. Я продам их по

\* По еврейскому закону, кольцо, которое жених надевает на палец невесты, должно принадлежать ему.

шиллингу за штуку, а после церемонии откуплю у молодоженов за те же деньги.

— Очень любезно с вашей стороны, рабби, — сказал я.

— Давайте три шиллинга, молодой человек. Сделку надо совершать как следует.

— Но у меня их нет. Вы же знаете, у нас нет личных денег.

— Бетах\*, — сказал он, — я всегда забываю, что имею дело с сумасшедшими.

— Моше, наш казначей, заплатит вам по приезду.

— Посмотрим, — сказал он с сомнением и спрятал кольца в карман. — Но учтите: не будет денег — не будет колец; не будет колец — не будет свадьбы.

Он сдвинул очки на нос и снова взялся за Библию. Старый Гринфельд живет в мире символических действий и игры. Но правила игры строго соблюдаются. Две тысячи лет верующие евреи оставляют в пасхальный вечер дверь открытой для прихода Мессии\*\* и ставят для него лишний прибор. Уверяют друг друга, что в следующем году будут встречать праздник в Иерусалиме. Продают посуду, которая соприкасалась с хлебом, своим нееврейским соседям, а после праздника выкупают ее обратно. Все это одна лишь игра, однако этот упрямый ритуал объединял их в течение многовековых гонений. За их наивностью скрывалась хитрость, а за мистицизмом — тонкая проницательность. Мне бы хотелось знать, действительно ли старый Гринфельд не замечал, что совершаемые им брачные церемонии были сплошным надувательством, или просто притворялся.

Как будто читая мои мысли, он внезапно обратился ко мне:

— Ты очень бегло говоришь на иврите.

— Мы не пользуемся никаким другим языком. Старый Гринфельд тоже говорил свободно, но с

\* Конечно.

\*\* Автор ошибается. Дверь оставляют открытой для пророка Ильи.

традиционным молитвенным напевом, как католический священник, который сошел с уэлсовской машины времени и, оказавшись в базарный день в римском предместье, обратился к торговкам рыбой на церковной латыни.

— Какой смысл в языке, если ты не читаешь Талмуда? — спросил он. — Знаешь ли ты, например, что сказал рабби Элизер из Цфата о Иоханане-сапожнике?

Следя за рытвинами на дороге, я признался в своем невежестве.

— Ой, — вскрикнул рабби при очередном толчке и придержал отороченную мехом шапку, — поезжай чуть медленнее, куда спешить? С Божьей помощью приедем вовремя. Так вот, о рабби Элизере из Цфата. Каждый раз, как он проходил мимо лавки сапожника Иоханана, он заходил к нему и читал главу из Библии. Иоханан радовался оказанной ему чести, хотя не слышал ни слова, потому что Бог создал его совершенно глухим. Ученики спросили рабби, в чем смысл того, что он делает. На что рабби Элизер ответил:

”Есть, конечно, разница, слышит человек или не слышит, но это маленькая разница. Святость Господня действует на человека, даже если он этого не знает”.

Его глаза в красных прожилках взглянули на меня из-под меховой шапки:

— Говорит тебе о чем-нибудь эта история?

Я улыбнулся и утвердительно кивнул, не отрываясь от дороги.

— Тогда заходи ко мне, когда будешь в Цфате. Я живу рядом с синагогой Ари. Ты был когда-нибудь в Цфате?

— Нет, но всегда мечтал побывать.

— Стыдись, живешь не знаю сколько лет в стране и не был в Цфате! Все равно, что жить на чердаке и ни разу не спуститься в подвал.

В каком-то смысле старый Гринфельд прав. Стыдно не повидать Цфата, этой колыбели мистицизма, города средневековых каббалистов и центра иудаизма после испанского изгнания. Я обещал старику посетить его.

– Откуда ты?

– Из Англии.

– Мало кто приезжает из Англии, – заметил он. – Что тебя заставило приехать?

Я ответил уклончиво, он сдвинул очки вверх и посмотрел на меня:

– Ну, давай-давай, рассказывай!, – приказал он нетерпеливо. – Сказано: "Кто может удержаться, чтобы не говорить?"

Внезапно мне страстно захотелось рассказать ему об "инциденте".

– Я жду, – сказал он требовательно. И я рассказал ему все как было, стараясь по возможности тактично подбирать слова. Старый Гринфельд задумчиво покачал головой:

– Ой, чего только от вас, молодых, не услышишь! И ты хочешь мне сказать, что бросил все из-за глупой женщины? – спросил он и хитро подмигнул.

– Нет, не из-за нее. Но я испытал нечто вроде удара, и после этого увидел все в новом свете.

– Понимаю, понимаю, не надо так много слов, – крикнул возбужденно старый Гринфельд. – Сказано: "Говорит, как по писанному, но ничего не понимает".

– Видите ли, я не часто рассказываю эту историю.

– Знаю, знаю, ты боишься, что другие язычники будут смеяться над тобой, вместо того, чтобы славить Его имя за неисповедимые пути, которые Он выбирает, желая преподать урок безумцу. А каков этот урок, ты понял?

– Не знаю.

– Так старый Гринфельд тебе объяснит! Ты был тайный предатель, и Он разоблачил тебя во всей твоей наготе.

Он сдвинул очки на нос и обратился к Библии с таким видом, как будто решил ко всеобщему удовлетворению важную проблему.

Возвращение домой с грузовиком, рабби, бензином и хупой было настоящим триумфом. Все прошло

гладко. Мы купили кольца и поженили три пары, причем Макс замещал жениха, лежащего с дизентерией. Потом продали кольца обратно и накормили Гринфельда макаронами с луком, к чему тот отнесся очень мило. Затем я отвез его на машине в Ган-Тамар и вернулся домой на Гарбо.

День был исключительно приятным. Вечером гулял в поле с Эллен.

### *Среда*

Годовое собрание прошло, и меня не линчевали. Меня спасла новость о том, что через месяц к нам придет новая группа человек в 30 – 40, а в течение года наш киббуц укомплектуется полностью и составит 200 человек взрослых. Новая волна преследований в Центральной Европе ускорила выполнение программы: каждый киббуц должен быть готов в кратчайшее время принять наибольшее число поселенцев, исходя из возможностей своих земельных владений.

Это означало, что мы получим кредиты на срочное строительство и капиталовложение и что весь бюджет на следующий год будет пересмотрен. Большая часть нашей строительной программы намечена в соответствии со стандартными планами Национального фонда, так что нашей оппозиции, возглавляемой Максом и Саррой, не о чем спорить. Но когда дело дошло до обсуждения "общих вопросов улучшения жизни киббуца" и "разного" (этот раздел включает бюджет на роскошь), тут-то и представилась возможность поспорить. Сказав все что можно о покупке несчастной виолончели ("Джозеф играет на скрипке, когда горит Рим"), Макс внес резолюцию, согласно которой все деньги, не имеющие специального назначения, до последней копейки расходуются на нужды детского сада. Это предложение послужило сигналом к одной из бесконечных дискуссий, которые вот уже двадцать лет происходят во всех киббуцах. Все соглашались с тем, что дети – самая важная "продукция" киббуца и уход за ними должен стоять на первом месте. Поэтому ка-

менное или бетонное здание в любом киббуце — это всегда дом для детей. Второе, обычно, коровник. Сперва дети, потом скот, затем работяги, — по этому железному принципу строятся все наши киббуцы. Даже в таком новом и бедном киббуце, как наш, в котором всего пятеро детей, детский сад — это маленькое чудо роскоши, с покрытыми кафелем душевыми и уборными и отдельной кухней, в то время как большинство взрослых работяг до сих пор живут в деревянных балочных бараках, в которых зимой собачий холод и летом удушающая жара, а некоторые до сих пор ютятся в палатках. Иными словами, мы воспитываем наших детей как принцев, а сами живем как свиньи. Это одна из нездоровых крайностей, к которым так склонна семитская страстность, помноженная на радикализм. Новое поколение превращается в фетиш, а старое в "удобрение для будущего", как выражались в ранние пуританские времена русской революции. Результат: высокий уровень заболеваемости и частые физические и душевные срывы среди взрослых.

Другой парадоксальный результат коммунального воспитания — это усиление (вместо ослабления) родительских чувств, что и без того, по-моему, является одной из самых утомительных черт нашей расы. Дети живут в своем детском домике почти с рождения под присмотром квалифицированных воспитательниц (родительство, самая ответственная должность в обществе, как известно, единственная, для которой не требуется никаких дипломов). В нашей системе имеется то преимущество, что она освобождает родителей для работы днем, обеспечивает им спокойный сон ночью и защищает ребенка от папаши Эдипа и прочих напастей. Я считаю, что наши дети физически и душевно здоровее других детей, а родители еще больше привязаны к ним, чем в нормальных семьях. Покончив с работой, они тут же мчатся в детский сад, и с пяти часов до обеда во всех поселениях только и видно гордых родителей, прогуливающих своих ангелочков. Боль-

шинство находит это прелестным, а мне это скучно. Я люблю или не люблю детей в зависимости от их индивидуальности и не рассматриваю их как особую, отличную от нас, породу.

После полуночи мы окончательно выдохлись, и дискуссия прекратилась. Кое-кто, как обычно, спал, остальные клевали носом. Но для нас лучше проспать все собрание, чем хоть минуту отсутствовать, и лучше отрезать палец, чем лишиться права проголосовать по вопросу о постройке нового курятника.

### *Четверг*

Моя ночная работа сегодня не шла. Храп Макса, с которым мы живем в одной комнате, вдруг начал меня раздражать. Я бросил все, вышел из барака и отправился к Эллен. Но она уже спала, а так как Даша тоже была дома, мне, как это ни печально, пришлось убраться. Но в каком-то смысле я даже был рад этому, потому что недавно, во время представления, устроенного старым Гринфельдом, я поймал на себе многозначительный взгляд Эллен, а заниматься выяснением отношений мне не хотелось.

Я прогуливался в темноте по нашей площади. Башня по ночам на фоне звезд кажется огромной, как будто нас охраняет добрый великан. Проекторы за последние месяцы не зажигались, так как в нашем районе все было спокойно. Я прошел к северной стороне ограды. Герман, один из двух бойцов вспомогательного отряда, подошел и предложил мне сигарету. С винтовкой через плечо и широкополой шляпе он выглядел очень картинно. Он жаловался на скуку — за последние три месяца здесь не было ни одного нападения арабов, а в это время в других местах его товарищи из специального ночного отряда Вингейта\* охотились на террористов. О Вингейте, нашем еврейском Лоуренсе, он говорил с восхищением. Это имя гремело по всей

\* Чарльз Орл Вингейт, капитан английской армии, горячий друг сионистов, организовал специальный ночной отряд для борьбы с арабскими террористами.

стране. Герман рассказал мне о придуманной Вингейтом тактике контрзасады с обманчиво безоружными группами в качестве приманки. Я подумал, что требуется немало мужества, чтобы играть роль приманки, но вообще-то, с тех пор, как кончился наш героический период, игра в войну потеряла для меня всякую привлекательность. И даже когда этот период продолжался и случалось по два-три нападения в неделю, это постепенно превратилось в скучную рутину, и в такие времена больше всего мы страдали от недосыпания. Тем не менее мы убили человек 30 террористов, а еще больше ранили, судя по сообщениям полиции и следам крови, которые мы обнаруживали на следующее утро. Убитых и раненых арабы всегда уносили с собой.

Как быстро забывается прошлое, если настоящее захватывает тебя целиком и каждый день приносит новые волнения! Но начать эту кровавую игру снова было бы утомительно.

Я оставил Германа с его тоской по ратным подвигам и направился к детскому саду, симпатичному бетонному строению квадратной формы, белого цвета и с небольшим садиком. Заглянул сквозь сетку в открытое окно и увидел при слабом голубоватом свете ночника трех малышек, спящих крепким сном. Один из них лежал лицом к окну, полуоткрыв рот и подняв вверх сжатый кулачок на манер антифашистского приветствия.

Я побрел дальше и пересек площадь по направлению к коровнику. Больше всего, разумеется, после детского сада, мы гордимся нашим коровником. Почему-то электричество горит там всю ночь. Ярко освещенное помещение с двумя рядами спящих животных по сторонам бетонной дорожки выглядит театрально и завораживающе. Черная корова по имени Тирца, которая должна была завтра отелиться, одна стояла на ногах среди своих спящих соседок. Из-под хвоста свисал прозрачный, наполненный жидкостью пузырь. Когда я вошел, она повернула голову и посмотрела на меня.

Мне кажется, что у коровы, перед тем как ей отелиться, особенно мягкий взгляд. Я потер ее костлявый лоб ладонью, и она прижалась к моей руке. И внезапно я вспомнил, какая трагедия происходит в нашем коровнике. Мы скрещиваем сирийскую корову с голландским быком, так как в нашем климате это дает самые лучшие результаты. Но голландская порода крупнее сирийской, и голова теленка часто застревает. Техника кесарева сечения на животных еще не разработана, и в таких случаях, чтобы спасти теленка, приходится убивать корову. На одном из еженедельных собраний Сарра устроила форменную истерику, обвинив нас в преднамеренном убийстве, и приплела сюда Толстого, Булду и Библию. Но пока мы не добьемся определенного результата от этого скрещивания, придется продолжать это ужасное дело. И под мягким взглядом Тирцы, доверчиво прижавшейся к моей руке, я чувствовал себя примерно как Раскольников. Предчувствует ли она недоброе? Но тут проснулась ее соседка, издала низкое, тупое мычание, я потрепал Тирцу еще разок и вышел.

В столовой струнный квартет репетировал Бетховена. Я немного послушал и вернулся к себе в умиротворенном настроении. В прохладном ночном воздухе мое беспокойство, казалось, растворилось. Макс повернулся к стене и перестал храпеть. Желание работать вернулось, и я перевел около 300 слов из Пеписа на иврит, вместе со сносками и примечаниями. Английский 17-го века прекрасно переводится на библейский язык. Фраза поддается, как покорная невеста. Я перечитал последнюю главу, очень собой довольный, выкурил последнюю (до завтрашней послеобеденной выдачи) сигарету, и – в постель.

### *Суббота*

Старый Давид, водитель грузовика молочного кооператива, который часто заходит поболтать в мою мастерскую, первый принес новость, что Бауман расколол Хагану. Вместе с тремя тысячами своих

сторонников он вышел из организации, прихватив немалое количество нелегально добытого оружия, и перешел к экстремистам. Давид, член районного комитета Хаганы, захлебывался от возмущения.

— Подумай только, — кричал он, — пойти к этим хулиганам, этим фашистским головорезам, которые взрывают бомбы на арабских базарах, убивают женщин и детей! Кто бы мог такое подумать о Баумане?!

Никаких подробностей Давид не знал.

Не могу понять, что произошло. Если бы раскол учинил какой-нибудь сорвиголова, можно было бы это воспринять, как заурядный эпизод в наших внутренних сварах. Но Бауман известен как один из самых ответственных и уравновешенных парней. Он вырос в традициях австрийской социал-демократии и является социалистом до мозга костей и по убеждениям, и по своей психологии. Если он решил связать свою судьбу с правыми экстремистами, значит ситуация острее, чем мы в своей изоляции себе представляем. Мы живем, как на острове, в своей Башне Эзры из слоновой кости. Я не был в Иерусалиме и Тель-Авиве больше года. Мы так заняты своими собственными проблемами, что потеряли всякую связь с действительностью. Эгоизм коллектива не лучше эгоизма индивидуума.

Я страшно встревожился и взволновался ("К оружию, граждане!"). Единственный человек, с кем можно поговорить о таких вещах, это Шимон. Я бросил свою мастерскую в разгар рабочего дня и отправился к нему. Он занимался посадкой молодых деревьев в лесном питомнике. Это его страсть. Он не заметил, как я подошел, и я некоторое время наблюдал за ним. Стоя на коленях, спиной ко мне, он разравнивал ямку, в которую собирался посадить побег, прикрывал один глаз и прикидывал, находится ли центр ямки на одном уровне с остальным рядом. Его обычно страстное, страдальческое лицо смягчилось, он стал похож на погруженного в игру ребенка и что-то бормотал себе под нос. Он посадил побег в ямку, засыпал землей, разравнивал ее ладонями и несколько мгновений продолжал

стоять на коленях, глядя на побег. Заметив меня, он смутился.

Интересно, как у каждого из нас развивается здесь своя особенная страсть. Это не хобби, потому что она связана с ежедневной работой. У Даши, которая господствует на кухне, витаминно-калорийная мания, Арье так сблизился со своими овцами, что я начинаю его подозревать в скотоложстве. Тут и Дина с детским садом, тут и наш киббуцный Шейлок Моше. Это привнесение страсти в работу, характерное для наиболее квалифицированных работников киббуца, частично объясняется большой свободой в выборе занятий по сравнению с городскими условиями или с возможностями индивидуального фермерства. Но только частично. Имеется еще какая-то особая сторона в том, как Шимон относится к деревьям или Дина к чужим детям. Это своего рода новое собственническое чувство, которое развивается именно в киббуцах. Я его ощущаю в себе самом, хотя выразить это трудно. В прошлый шабат, когда мы вернулись с концерта в Ган-Тамар, я ощутил его особенно живо. Когда мы поздно ночью повернули из вади на тропинку, ведущую к нашему поселению, я вспомнил нашу первую ночь здесь, наше путешествие с Диной и Шимоном на нагруженном и раскачивающемся грузовике, вспомнил, как мы прокладывали на рассвете эту тропинку, обливаясь потом и обуреваемые неясными страхами. Я помнил чуть ли ни каждый камень, который мы извлекли из земли. Это была моя тропинка. Больше моя, нежели все, чем я в жизни владел, будь то часы или портсигар. Больше моя, потому что это *мое* собственническое чувство разделяют со мной Дина и Шимон, чьи воспоминания перекликаются с моими. Ведь, в конце концов, чувство собственности по отношению к предмету отражает связанные с ним воспоминания. Чем больше воспоминаний о предмете, тем он нам дороже. То же и с нашей Башней Эзры. Мы все видели, как она подымалась, словно оживший богатырь из праха, а ведь это мы вдохнули в нее жизнь. Так было и с каждым до-

мом, который мы построили, и с каждой машиной, и с каждой коровой, которую мы купили. Чувство собственности характерно для всех крестьян, но в нашем случае к этому добавляется что-то еще. Крестьянин строит ферму вместе с женой. Ценность любого сарая усилена тем, что хозяин делит с женой свои воспоминания о работе. Когда она умирает, он чувствует, что обеднел — общность их воспоминаний разрушена. Киббуц — это большая, густо переплетенная общность воспоминаний. От того, что я владею сообща с другими всем, что есть в киббуце, мое чувство собственности, обладания не уменьшается, а усиливается, и это не теоретический вывод, а анализ лично пережитого опыта. Аналогичный метод можно было бы применить при анализе чувства патриотизма, но нация представляет собой несравненно более расплывчатый и менее однородный организм, чем киббуц.

*В этот же день, позже.*

Как обычно, я отклоняюсь от темы, но на этот раз мне, возможно просто хочется избежать решения вопросов, которые возникли после разговора с Шимоном. Итак, он смутился, заметив меня. Поднялся на ноги и отряхнул землю со своих брезентовых штанов. Он фантастически аккуратен. Шорты не носит, а его брюки, хотя и вылинявшие и залатанные, как у всех нас, безукоризненно чисты и даже содержат намек на складку, — вероятно, он кладет их на ночь под матрац.

Я рассказал ему новости, которые принес старый Давид, хотя мне уже казалось, что я зря пришел к нему посреди рабочего дня только для того, чтобы поговорить. Когда разговариваешь с Шимоном наедине, возникает какая-то странная неловкость. Он как будто не знает, куда девать пронзительный взгляд своих глаз, как подросток не знает, куда девать руки. Кажется, что Шимон готов спрятать глаза в карман. Через минуту его глаза сцепляются с вашими, и тут-то возникает та непонятная неловкость, которую чувствуют посторонние люди, столкнувшись взглядом в трамвае

или лифте.

— Знаю, — сказал он, когда я кончил. — Я с Бауманом в контакте.

Это было для меня новостью, хотя я и ожидал, что Шимон кое-что знает. Я вспомнил сцену в первую ночь, когда Шимон проповедовал террор, и Бауман на вопрос, каково его мнение, сухо ответил: "Я согласен с Шимоном".

— Тогда, может, ты мне объяснишь, чем вызвано решение Баумана?

Шимон помолчал с минуту, затем спросил:

— Ты действительно интересуешься этим делом?

— Мы все интересуемся.

— Нет, — проговорил он медленно, — большинство слепы и глухи. Возделывают наш маленький общественный садик и не видят реальности.

— Ты сам с большим удовольствием возделывал свои деревца, когда я подошел.

Я уже знал, что последует дальше, хотел этого избежать и до сих пор хочу. Но Шимон больше не смущался, что я застал его врасплох, и грустно сказал:

— Не долго мне их возделывать... — И с горечью прибавил: — Через два-три года здесь будет молодая роща...

— Собираешься ты со мной говорить откровенно, или нет?

Вот тут-то мы сцепились глазами. Но я напрасно помянул случайные ощущения, которые испытываешь в трамвае или в лифте. Ничего случайного не было в прямом взгляде его темных глаз. Невозможно не отвести взгляда, когда встречаешься с таким обнаженным выражением чувств. Шимон это знал, вот почему он хотел спрятать глаза в карман. Казалось, он взвешивает, насколько можно мне довериться, хотя особой нужды в такой предосторожности не было: в Башне Эзры каждый знает про каждого все.

— Сядем на минуту, — предложил Шимон (я немного выше Шимона, а он не любит беседовать, глядя снизу вверх).

Мы сели, Шимон подтянул штанины большим и указательным пальцами и заговорил сразу по существу дела:

— Англичане собираются нас продать. Иммиграцию почти прекратили и скоро прекратят ее совсем и навсегда. В Германии наступила ночь больших ножей. Наши люди стоят перед запертой дверью, а нож дюйм за дюймом вонзается им в спину. У большинства из нас там родственники, и что мы делаем для них? Спорим о России и возделываем свой садик. — Он говорил спокойно, только руки его все терли колена, как бы пытаясь унять ревматическую боль. — Вот что закрытые двери означают для тех, кто находится вовне. Для нас, находящихся внутри, это означает смертельную ловушку. В настоящее время мы составляем в стране меньшинство один к трем, а уровень рождаемости у арабов вдвое выше нашего. Отрезанная от внешнего мира, наша маленькая община превратится в стоячее болото, жизненный уровень мы снизим до уровня туземного населения, левантизируемся и растворимся в арабском мире. Мы приехали сюда, получив торжественное обещание, что страна станет нашим национальным очагом, а оказались осужденными на жизнь в восточном гетто, и в конце концов нас уничтожат, как уничтожили армян. Ты считаешь, что я преувеличиваю?

— Нет, — в том случае, если иммиграция действительно прекратится, если они действительно нас продадут, в чем я пока не убежден.

— Продадут. Чехов ведь продали.

— Это другое дело. Немцы для них реальная угроза, а арабы нет.

— Тем не менее они это сделают.

— Почему ты так уверенно говоришь?

— У нас есть свои источники информации.

— У кого это у нас?

— Об этом мы поговорим в другой раз — может быть.

Мы сидели рядом под палящим солнцем. Против

нас на склоне холма Арье пас своих овец. В прозрачном воздухе можно было разглядеть, как он лежит на спине, прикрыв лицо шляпой. Шимон жевал сухой лист, я делал то же самое. Я ничего не чувствовал, только сознавал, что на меня надвигается нечто неизбежное.

— Предположим, что предсказания вашего политического бюро погоды правильны. Что же собираются делать Бауман и его люди?

— Сражаться.

— Против кого? Как? Чем?

— Об этом мы поговорим в другой раз, — повторил Шимон.

— Почему в другой раз?

— Подожду, пока ты созреешь.

— Как ты узнаешь, что я созрел?

— Ты придешь и скажешь, — ответил он так просто и убежденно, что возразить было нечего.

### *Понедельник*

Тирцу пришлось прирезать. Теленок — девочка — в порядке, качается на тонких ножках. Назвали ее Электра.

Дина в больнице с лихорадкой. Пробудет там две недели.

### *Вторник*

Что сделал с нашими девушками спектакль старого Гринфельда! Не думаю, что причина в таинственном влиянии Божьей благодати, которая действует даже на глухих. Скорее, в чем-то более реальном и земном, а именно — в пробуждении глубоко запрятанной привязанности к традиции, которая, казалось, давно преодолена. Мечтательно-тоскливое выражение, возникшее в девичьих глазах, когда они наблюдали за происходящим под вылинявшим бархатным балдахином, с тех пор так и не исчезало. Точно то же самое было после предыдущего визита старого Гринфельда. Через

несколько дней все войдет в свою колею, но пока атмосфера полна призраков прошлого.

Когда сегодня во время обеденного перерыва Эллен пришла ко мне в мастерскую, я понял, что час выяснения отношений пробил. В глазах ее было выражение тупой боли и упрека, обычное для нее в последнее время. А началось все так мило, разумно и по-деловому, никакой чепухи насчет любви, только умеренная взаимная симпатия и потребность друг в друге. Никаких обязательств, никакой бухгалтерии. Никто ничего не должен. Безукоризненная система обмена. Боже, какие мы были передовые!

Она слонялась возле мастерской, наконец вошла и села на скамью. С каждой минутой обстановка отягощалась невысказанным укором. Эдакая раненая, но гордая, молча страдающая женщина. Если нажать кнопку и открыть шлюзы, можно утонуть в стремительном водопаде, и поделом, — ведь сам начал, не так ли? Но если сдержаться и не нажимать кнопку, то тогда ты — бесчувственное животное, и молчаливый упрек будет усиливаться, пока нервы не натянутся, как веревки. Я предпочел быть бесчувственным животным.

— Как твой огород? — спросил я, продолжая стучать молотком по ботинку.

— В порядке.

Эллен хороший, добросовестный работник, пользуется всеобщим уважением, отчего я чувствую себя еще большей скотиной. Действительно, положение по нашим стандартам совершенно ненормальное. Нормальная и простая процедура — известить секретариат о нашем желании поселиться вместе. Нам выделяют комнату, устроят вечеринку, Моше расщедрится на 20 пиастров — стоимость трех бутылок вина и торта, — и все будет хорошо. Старому Гринфельду вовсе не обязательно появляться на сцене, пока не предвидится ребенок: теоретически каждый мог в любой момент нарушить союз и переехать в помещение для холостяков, безо всяких объяснений. Дети, если они есть, продолжают жить в детском саду, никакими финансо-

выми или иными обязательствами ты не связан. Все это теоретически. А практически...

— Иосиф, — сказала Эллен, — что с тобой творится?

— Со мной?

— Да.

— Со мной ничего.

— Правда?

— Правда.

Таков был диалог двух передовых людей коммунального общества. От усилия, которое я прикладывал, чтобы оставаться бесчувственным животным, меня прошиб пот. В ярком свете дня Эллен казалась здоровенной, массивной и бесполой, как всякая крестьянка на работе. Она пришла ко мне прямо с огорода, по дороге в душ. При лунном свете запах женских подмышек возбуждает, днем же оказывает противоположное действие, особенно если смешивается с запахом сапожного клея. Но если я сейчас порву с Эллен, то через три дня стану бегать, как отравленная половыми гормонами крыса. Эллен будет страдать от тех же лишений, но существенная разница заключается в том, что страдающая от половой неудовлетворенности женщина по крайней мере вознаграждена сознанием своей добродетели, а для мужчины такое состояние только смешно и унизительно.

Как передовые теоретики все упрощали! Папаша Маркс и дядюшка Энгельс вдоволь поиздевались над буржуазным браком, а что предложили взамен? Что касается русских, то уровень их пролетарской морали таков, что наши викторианские предки выглядят по сравнению с ними разнузданными развратниками.

— Джозеф.

— Да.

— Я хотела бы выяснить наши отношения.

Вот оно, началось! Никуда не денешься. Эллен начала кусать ногти, короткие квадратные ногти компетентного огородника и ответственного товарища. Ладно. Я отложил ботинок и перестал притворяться.

– Тов\*, – поговорим, но при условии, что ты перестанешь кусать ногти.

– Почему ты так плохо ко мне относишься? Раньше ты был не таким! – вдруг разрыдалась она.

От банальности этой сцены мне стало совсем тошно. Опять партия в шахматы: пешка от короля, ферзевая пешка. Безнадёжно. Я заранее знал ответы на все, что она может сказать.

– "Удовольствие, если оно не получает постоянной пищи, переходит в свою противоположность"\*\*\* – процитировал я.

– Откуда это? – спросила Эллен, прервав хныканье.

– "Антоний и Клеопатра" в моем собственном переводе. В английском оригинале звучит немногим лучше.

– Пожалуйста, Джозеф, не издевайся надо мной, – она опять принялась кусать ногти и плакать.

Вот оно, – ядовитый пластырь жалости, который невозможно содрать, не сдирая кожи.

– Я не насмехаюсь. О переводе я упомянул не зря. Это половина моей работы, половина жизни. Если мы поселимся в одной комнате, я не смогу работать.

– Но почему? При Максе ты можешь работать, а при мне нет?

– Макс не мешает свет, не мешает, когда я топаю по комнате или выхожу среди ночи погулять. Он переворачивается на другой бок и продолжает храпеть. А ты спать не сможешь, я же, зная, что мешаю тебе спать, не смогу работать.

Я знал, что мои оправдания звучат неубедительно, хотя в них была доля правды. Остальная доля заключалась в том, что присутствие Макса было нейтральным, тогда как ее присутствие было бы постоянным посягательством, поглощением комнатного пространства, что сделало бы невозможным не только работу,

\* Хорошо (иврит) .

\*\* В оригинале непереволимая игра слов, основанная на слове revolution, что означает и "революция" и "оборот". Связана с предыдущими рассуждениями Джозефа о тщеславии "передовых теорий" в отношении брака.

но и всякое независимое от нее существование. Короче говоря, я нуждался по временам в физической близости с ней, но отнюдь не в ее постоянном обществе. Но можно ли в этом признаться, не ранив его, человеку, к которому хорошо относишься? Поэтому выяснение отношений всегда останется фарсом. Наши передовые три четверти правды иной раз хуже викторианской полуправды. Те откровенно подчиняли плоть требованиям церкви, мы же предоставляем ей, плоти, некоторую автономию, но еще очень далеки от признания за ней полной независимости. И лучше бунтовать против открытой тирании, чем против лицемерного либерализма. Мне легче было бы отказаться от женитьбы на Эллен, если бы она была обыкновенной мешанкой, чем отказать ей в праве на товарищеское общение.

Эллен была совершенно убита. Она рыдала и продолжала кусать ногти.

— Обещаю, что не буду тебе мешать.

Эти слова были ненужными и унижительными. И унижение гордой и сильной девушки причиняло мне боль.

— Почему, — спросил я в отчаянии, — ты настаиваешь на том, из чего, как мы оба понимаем, ничего хорошего не выйдет?

Но я знал, что мои аргументы не действуют на нее, и внезапно у меня появилось подозрение.

— Ты ждешь ребенка?

Она покачала головой и утрюмо высморкалась.

— Послушай, Эллен. В капиталистическом мире девушка стремится замуж по соображениям престижа или по экономическим причинам. У нас эти соображения не действуют. Даже если у тебя будет ребенок, какая разница, живем мы в одной комнате или нет? Наши бараки находятся друг от друга на расстоянии двадцати метров, и мы можем видеться так часто, как нам хочется. Зачем же мучить друг друга и все портить?

Эллен попыталась подавить рыдания, но вместо

этого начала ужасно трогательно икать. Робким голосом, глядя в сторону, она спросила:

— Тебе никогда не хотелось проспать со мной всю ночь и утром проснуться рядом?

Именно этого мне и не хотелось.

— Дорогая, конечно, мне этого очень хочется. Но разве ты не понимаешь...

— А если нам не понравится, — перебила она, — мы ведь всегда можем разойтись.

— Ты прекрасно знаешь, что разойтись здесь не так легко, как это кажется. До сих пор у нас был только один случай. Помнишь, какой скандал подняли вокруг бедной Габи из-за ее "антиобщественного поведения" и "разрушительных тенденций" только потому, что ей надоел Макс, и она ушла к Менделю?

Наступило молчание. Внезапно Эллен вскочила со скамьи. Наконец она поняла, как бесполезен и унизителен наш спор.

— Ладно, — сказала она, — оставь свои аргументы. Но я знаю, в чем дело.

Я тоже знал, но промолчал, а она была достаточно тактична, чтобы не упоминать Дину. Она вышла, хлопнув дверью.

Будь проклят старый Гринфельд.

Не видел Шимона весь день.

### *Среда*

Помощник районного комиссара с женой нанесли вчера нам свой ежегодный визит. На этот раз они приехали без майора. На Ньютона наши успехи, по-видимому, произвели впечатление, ведь год назад поселение было всего лишь огороженным квадратом в пустыне. Он ничего не сказал, только мямлил и бормотал в своей рассеянной манере, как будто решал шахматную задачу (возможно, так оно и было), но явно был поражен тем, что увидел. Мы показали им поля, огород, оранжерею, прачечную, похвастались каждой курицей. Полагаю, что то же самое он видит в любом из поселе-

ний, но боюсь, что пройдет немало времени, пока мы привыкнем к мысли, что наши коровы и куры ничем не отличаются от прочих коров и кур, и перестанем наводить на гостей скуку нашей детской радостью по поводу каждого выращенного нами помидора.

Взглянув на деревню Кафр-Табие, Ньютон заметил, что на следующей неделе будет присутствовать на церемонии примирения, которая положит конец двадцатилетней кровавой вражде между семьями двух мухтаров. Когда я сказал, что несколько наших тоже приглашены на церемонию, мадам сделала такое лицо, как будто мы бестактно стремимся проникнуть в аристократический клуб в Руна\*. Физиономия ее стала еще кислее, чем в прошлом году, казалось, она удивляется, что арабы нас до сих пор не перерезали. По традиции они пообедали с нами в столовой, и как обычно, еда была скудной – луковый суп и макароны с соусом.

– Это вы едите каждый день? – спросила она, по-видимому, подозревая, что мы специально для них приготовили такой мерзкий обед. Впрочем, если бы обед был хороший, она потом говорила бы о бедных арабах и обжираться евреях. Чтобы разрядить напряжение, я рассказал известную историю об обеде сэра Артура Уокопа в Хефци-Бе. Назначенный верховным комиссаром Палестины, Уокоп нанес официальный визит в один из старейших киббуцов Изрезльской долины. С его стороны это был важный политический акт, и в Хефци-Бе решили принять его по-царски и угостить на славу.

– Это вы едите каждый день? – спросил Уокоп. На что Ледерер, секретарь киббуца, ответил:

– Ваше превосходительство, когда мы услышали о вашем визите, мы устроили собрание, чтобы решить, следует ли вас кормить тем, что мы едим каждый день, или нам поесть так, как вы едите каждый день. Мы решили остановиться на последнем.

Ньютон рассмеялся.

\* Руна – город в Индии. Имеется в виду клуб, в который вход был разрешен только европейцам.

Когда мы показывали им детский сад, мадам Ньютон спросила:

— А вы знаете, чьи это дети? Я имею в виду, кто их отцы?

Последовало тягостное молчание. Бедняга Ньютон стал покашливать и что-то бормотать. Моше ответил с невозмутимым видом:

— Нет, мадам, но мы тянем жребий.

— Вот как? Это интересно! — оживилась мадам Ньютон.

Стоявшие тут же девушки захихикали, и несчастная мадам покраснела, как рак. До чего она должна нас ненавидеть!

Шимон во время визита не показывался.

### *Четверг*

Весь день чинил в мастерской обувь. Без этих двух кусков кожи из Ган-Тамар половина киббуца ходила бы босиком, а уже начались дожди. Починка обуви доставляет мне еще больше удовольствия, чем изготовление новой. Испытываешь чувство хирурга, но без риска, потому что даже самый старый сапог не гибнет под моим ножом. Мне нравится запах свежей кожи и клея; когда я забиваю в каблук гвозди, то всегда насвистываю. Работа не монотонная, нет никакой подготовительной скучной стадии, как, например, в плотничьем деле; быстрое превращение в моих руках бесформенного, заскорузлого от грязи и сморщенного предмета в блестящий, заново родившийся ботинок меня буквально опьяняет. Я чувствую себя добрым волшебником. Никакое другое ремесло не дает такого глубокого удовлетворения. Заплата на одежде остается заплатой, поэтому портные, занимающиеся починкой одежды, — робкие люди с виноватым выражением в глазах. Если вы механик в гараже, может случиться, что работа вытянет из вас душу: попадется какой-нибудь заржавленный болт, до которого трудно добраться ключом, или сломанная деталь, для которой нет под

рукой замены. Поэтому гаражные механики – хмурые, неприветливые люди и никогда не могут точно сказать, сколько времени займет работа, тогда как я всегда точно знаю сроки и не боюсь заранее пообещать. Мои гвозди входят в подошву как нож в масло. Когда я режу свежий кусок кожи острым ножом, я испытываю чисто чувственное наслаждение.

Или взять мою противоположность – парикмахера. Он занят поверхностным украшательством, пустым, несолидным делом. А я обеспечиваю необходимый фундамент для ходьбы по земле. Отсюда отличие парикмахера – болтливое, легкомысленное Фигаро – от сапожника, которого и фольклор, и литература изображают спокойным, с чувством собственного достоинства, доброжелательным философом. Не представляю себя ни на какой другой физической работе: монотонная обработка земли в поле свела бы меня с ума. Не понимаю, почему другие мне не завидуют. Но, по-видимому, Моше, Даша и другие маньяки чувствуют то же самое, что и я.

О Боже, остаться бы мне тем, что я есть! Я был довольно требовательным к себе типом, а здесь я нашел удовлетворение и душевный покой, по крайней мере, столько удовлетворения и покоя, сколько я способен испытывать. Я требовал многого, а удовлетворился малым, потому что это малое пришло правильным путем. Я люблю эти горы, люблю свою дневную и ночную работу; ко мне хорошо относятся, и я хорошо отношусь к людям. Иногда, валяясь на солнце, я повторяю про себя слова из Песни Песней: "И его любовь, как знамя, развевалась надо мной".

Боже, пусть со мной будет то, что есть. Ты дважды изгнал нас из Страны, изгнал нас из Испании, превратил в народ вечных бродяг. И как мы ни стараемся замаскироваться, *они* чувствуют нас на расстоянии и выставляют на посмешище в наготе нашей плоти. Сейчас, когда колесо истории сделало полный поворот назад и на каждой его спице – засохшая кровь, останови его, останови, наконец!

Я, кажется, впадаю в истерику. Я думал, нет большого эгоизма в том, что я приехал сюда, на пустынные холмы Галилеи, чтобы работать сапожником. Но если послушать Шимона, это чистый эгоизм и бегство от ответственности.

Хоть бы вернулась Дина, я бы поговорил с ней. Завтра наш струнный квартет даст свой первый концерт.

*Из дневника Джозефа, члена киббуца Башня Эзры.*

*Воскресенье. ...ноября 1938.*

На прошлой неделе наше население почти удвоилось. В Башне Эзры сейчас 77 душ: 41 – старых поселенцев (в том числе 5 детей) и 11 новых, которые станут членами киббуца; кроме того, имеется 25 девушек и ребят, которые приехали на шесть месяцев для профессионального обучения.

Всю неделю был сплошной бедлам. Наш покой и налаженный быт нарушены, распались на мелкие куски. Во вторник прибыли новенькие. До их приезда знали мы о них только то, что они из разных стран: из Германии, Польши, Румынии, а один даже из Египта. За ними должны были последовать другие, и в течение года или двух наше население увеличится до нормы в 200 взрослых работников. О новеньких мы также знали, что они совсем недавно прибыли в страну и были беженцами, – в отличие от нас, кто, если не считать Дины и Шимона, приехали до разгара преследований в Европе, более или менее по свободному выбору. Еще мы знали, что эти семеро мужчин и четыре девушки не женаты. И наши одиночки обоего пола ожидали их прибытия с плохо скрытым нетерпением, особенно Габи, наша рыжеволосая Мессалина из Вены, которая, оставив год назад Макса для Менделя, успела уже бросить и того. Мендель, впрочем, по этому поводу не очень страдал, деля свои увлечения между трактором и струнным квартетом.

Мы поставили три сохранившиеся с прежних вре-

мен палатки, повесили на воротах плакат "Добро пожаловать" и приготовились к встрече. Они прибыли из Тель-Авива на грузовике во время обеденного перерыва, и все мы, кроме работавших в поле, выстроились у ворот приветствовать новоприбывших, с которыми нам, может быть, придется жить вместе до конца дней.

Одиннадцать будущих поселенцев стояли у бортов грузовика и были похожи на погорельцев или спасшихся после землетрясения: в кузове громоздились матрацы, кастрюли, часы с кукушкой, старое бабушкино кресло, велосипед, даже клетка для птиц, — все это в полном беспорядке. Приехавшие громко пели "Эль йивне ха-Галиль". Это несколько улучшило впечатление, и все же когда грузовик въехал в ворота, мы глядели на них молча и тупо, как деревенские мужики на городских гостей. В какой-то момент я увидел нас со стороны — толпу тяжеловесных, медлительных мужчин и молчаливых женщин, — какими мы стали за этот первый тяжелый год. Но тут же мы побежали за грузовиком, провожая его к площади, крича и размахивая руками.

Грузовик остановился перед башней, новоприбывшие соскочили на землю и запели гимн, выстроившись как по команде "смирно". Мы присоединились. Сами мы гимн давно не пели, и все получилось очень торжественно. Посреди песни одна из новых девушек, толстая, с круглым и мягким лицом, расплакалась и продолжала петь, а слезы лились из ее глаз:

Еще не умерла наша надежда, древняя надежда  
Вернуться на нашу землю, древнюю землю,  
Вернуться в наш город, в город Давида...

Мне бросилось в глаза лицо египтянина — очень смуглого, с голубоватыми белками и гибким телом негритянского танцора. Он стоял в полной неподвижности (состояние, на которое почти никто из евреев не способен), даже зрачки его остановились, вперившись

в верхушку башни. Третий, кого я отметил, был худым и неуклюжим молодым человеком, типичным доктором философии (специальность: неокантианство). Пытаясь стоять смиренно, он слишком переусердствовал и выглядел так, будто все кости его развинтились от напряжения, и он все пытался подогнать их на место слабыми, почти незаметными движениями. Я поклялся себе, что не невзлюблю его, и нарушил клятву к концу первого куплета. Между тем Габи при виде египтянина растаяла (кажется, она способна испытывать оргазм от одного только созерцания), в то время как худое птичье личико Сарры приняло чопорное и негодующее выражение, как всегда при виде мужчины, действующего на ее голодную плоть. Продолжая петь, я подумал, что, хотя девять из десяти мужчин безусловно предпочтут Габи, психологически ситуация такова, что египтянин, возможно, заинтересуется Саррой. Затем я взглянул на Моше, поющего против меня во весь голос, в то время как его опытный глаз оценщика скользит по сваленным в кучу на грузовике вещам, которые с завтрашнего дня станут собственностью киббуца и обогатят его запасы.

Исполнив гимн, мы все устремились в столовую, и процесс знакомства начался. Макс тут же взял под свое крыло толстую девушку, как бы приносиваясь к ней и что-то втолковывая (вероятно, о необходимости развивать арабские профсоюзы). Она слушала его с восхищением в добрых коровьих глазах, явно не понимая ни слова. Эллен, время от времени искоса взглядывая на меня, была занята серьезным разговором с доктором философии. Дина, как всегда при встрече с новоприбывшими из Европы, была безучастна. Она сидела с краю скамьи, вяло уставившись в тарелку. С тех пор, как она вернулась из больницы, голубоватые тени под глазами углубились, и она стала еще красивей.

Мы старались вовсю, и все же пройдет немало времени, пока новенькие почувствуют себя действи-

тельно дома и мы их окончательно примем как своих. И даже тогда между ними и нами останется едва заметная, неуловимая разница, которая будет сказываться в наших отношениях. У них не будет тех воспоминаний о ранних днях, которые навсегда останутся при нас, они не поймут многих наших шуток. Для них мы всегда будем старожилками, аристократами с Мейфлоур, да и мы сами в глубине души будем чувствовать то же самое. Что ни говори, — разве мы не возродили это место? А когда приедет следующая группа, она будет смотреть на обе предыдущие с одинаковым восхищением и почтением, не в состоянии уловить между ними разницу. Так последний пришедший в приемную врача и не знакомый с установленной до него иерархией, причисляет всех к одной категории "тех, кто был здесь до него".

Это патрицианское высокомерие до некоторой степени останется у нас навсегда, и в свое время мы, первые 37 человек, превратимся, как это было в Дгании, Хефци-Бе, Кфар-Гилади, в живописных стариков с трубками, подагрой и бородами, как у пророков — уважаемыми, легендарными и довольно утомительными... Конечно, те из нас, кто уцелеет.

### *Позже*

Прибытие группы молодежи было менее вдохновляющим, правду сказать, даже довольно тягостным.

Я не первый раз испытываю страх перед нашим молодым поколением. Эти 25 юношей и девушек довольно типичные сабры — все родились и выросли в стране, всем им от 16 до 19 лет. Большинство из них — сыновья и дочери поселенцев из Петах-Тиквы, Рош-Пина, Метулы и других поселений старого типа, созданных до киббуцов. Остальные приехали из города. Школа и молодежное движение свели их вместе. Они проведут 6 месяцев у нас и примерно через год поселятся на земле, обещанной им Национальным фондом, в восточной части долины Изреэль. Всего их 150 человек, на время профессионального обучения они разби-

лись на более мелкие группы.

Все это прекрасно. То, что многие из молодых уроженцев страны стремятся жить коммунами, это хороший признак. Выбор для них облегчается нашей пропагандой в школах, где все учителя принадлежат к партиям Мапай или Мапам. Профсоюз учителей зорко следит за тем, чтобы ни один правый еретик не затесался в стадо, с чем я вполне согласен: всякое образование основано на пропаганде того или иного образа жизни, почему же нам не пропагандировать то, во что мы верим? И все же существует разница между нами, приехавшими из-за границы, чтобы найти пути для новых форм общественного и национального существования, и ими, кто вливаются в готовую форму под руководством старших. Для нас наш выбор был свидетельством революционного неприятия прошлого, для них это акт конформизма. Но не это важно. Когда эксперимент выкристаллизовывается в организационную форму, это только доказывает, что он удался. Нам не нужны романтика и постоянные тревобления. Мы хотим, чтобы народ стал жить естественной жизнью. И если молодое поколение хочет подражать нам, надо только радоваться.

И все же что-то, может быть, мой врожденный скептицизм, подсказывает мне, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. И дело тут не в самой идее, а в человеческих качествах молодого поколения. Я наблюдал за ними с самого начала, с первых минут: коренастые девушки с довольно грубыми чертами лица, большими задами и тяжелыми грудями, развитые физически и неразвитые умственно, перезрелые и в то же время инфантильные; неотесанные, хлопающие девиц по их задкам юнцы, с агрессивным смехом и невыразительным голосом, — без традиций, без манер, без стиля...

Их родители были самой космополитической расой на земле, они — провинциальны и шовинистичны; родители были сплошным комком нервов с неловким телом, у этих — нервы, как веревки, а телом они —

еврейские тарзаны, бродящие ордами по горам Галилеи. Родители были напряженными, страстными, они — пресны и толстокожи. Родители были настоящими полиглотами, они же знают только один язык, который был в бездействии двадцать столетий, пока его искусственно не возродили.

В этом главная проблема. Возрождение иврита из его священной окаменелости и превращение его в живой язык народа было фантастическим достижением. Но чудо повлекло за собой тяжелые жертвы. Наши дети воспитываются на языке, который не развивается с начала христианской эры. В языке не сохранилось почти никаких воспоминаний о том, что пережило человечество со времен разрушения Храма\*. Представьте себе, что развитие английского языка остановилось на Беовульфе, а даже Беовульф на тысячу лет ближе к нам! Наша классика — это книги Библии, наша лирика остановилась на Песне Песней, наша проза — на Книге Иова. С тех пор — пустота.

Конечно, в употреблении архаичных оборотов есть свое очарование. Мы едем в автобусе и предлагаем соседу сигарету: "Не угодно ли сударю подымить!" — "Нет, благодарю, дымить — не находит благоволения в моих очах". Но мы уже не замечаем причудливости языка. Когда все ходят на ходулях, никто этому не удивляется. Итак, молодое поколение воспитывается на языке, страдающем потерей памяти, знает мировую литературу весьма поверхностно и очень смутно представляет себе, что произошло на свете с того дня, как 9-й легион под командованием Тита захватил крепость Давида. Европейских языков они не знают, за исключением английского на школьном уровне, а не слишком многочисленные и не очень компетентные переводы классиков мировой литературы не находят никакого отзвука в их сердцах. Латынь и греческий в наших школах не изучаются. Зато они знают все об удобре-

\* Это рассуждение автора о развитии еврейского языка и культуры было характерным для еврейского общества того времени.

ниях, ирригации и полеводстве, знают имена птиц и цветов, умеют стрелять и не боятся ни арабов, ни дьявола. Иными словами они перестали быть евреями и превратились в иудейских крестьян.

Именно на это нацелена наша философия и пропаганда. Вернуться на родину и на землю, излечиться от нервного перенапряжения изгнания и рассеяния, ликвидировать национальный комплекс неполноценности, вырастить здоровый, нормальный, привязанный к земле народ. Эти еврейские тарзаны — именно то, к чему мы стремились. Почему же они меня пугают? Может быть, потому, что существует вечный конфликт между творческим началом и надежностью. С одной стороны, — жар и провидение, с другой, — ровный пульс здоровья. На одной чаше всегда — стимулирующие духовные достижения, преследования и незаурядность, неистовые пророки и раздраженные мессии от Иисуса до Маркса и Фрейда. На другой — заплаченная за это цена: тонны горящих тел на кострах Испании, пролитая кровь, которой хватило бы, чтобы наполнить Мертвое море, вонь, грязь и теснота гетто, искажение механизма наследственности из-за выживания самых ловких, самых ничтожных, самых бесчестных. И окончательный продукт — плоскостопый, с бегающим взглядом вечный бродяга.

В Бухенвальде сейчас подвешивают людей на крючках, как рыбу. Кто не отдал бы все формулы Эйнштейна, чтобы спасти хоть одного несчастного от крючка? Но кто, после такой удачи, порадуется этой сделке?

Чуть не забыл эпизод, который меня особенно напугал. Один из молодых тарзанов, увидев меня за работой над Пеписом через открытую дверь моей комнаты, рассказал мне с широкой улыбкой историю о своем друге, родившемся и выросшем в Иерусалиме. Когда мальчику исполнилось 13 лет, отец подарил ему авторучку. В 17 лет он написал письмо отцу: "Дорогой папа, сегодня кончил школу. Больше мне ручка не понадобится, и я ее возвращаю". Это, конечно, край-

ний случай. Но нельзя отрицать, что молодые тарзаны представляют собой шаг назад, и понадобится несколько поколений, чтобы наверстать упущенное. Жертва принесена добровольно, но от этого не веселей. Руссо повезло, что французы отнеслись к нему недостаточно серьезно. Если бы они последовали его совету и стали бы все пастухами и земледельцами, он бы повесился.

### *Среда*

Комиссия британского правительства, назначенная для выработки предложений по разделу, опубликовала свой доклад. Согласно ее рекомендациям, Еврейское государство должно составить меньше одного процента всей территории Палестины — площадь в 60 миль длиной и 10 миль шириной, исключая большую часть наших поселений, всю Галилею, долину Изреэля, словом — все. Это не политический доклад, а издевательство.

Вместе с докладом правительство выпустило "Белую книгу", отклоняя раздел, но не из-за чудовищности предлагаемых им границ, а "из-за политических и финансовых затруднений, связанных с ним". Вместо этого будет созвана конференция Круглого стола для решения будущего страны, на которую будут приглашены не только обе заинтересованные стороны, но и представители всех арабских стран. Это что-то новое. Никогда не слышал, чтобы Англия приглашала Ирак и Сирию на свои переговоры с Египтом. Это может означать лишь одно: они ищут повода, чтобы освободиться от своих обязательств по отношению к нам и похоронить идею Национального очага. Вместе с этой идеей похоронят и наше будущее.

### *Четверг*

Шимон в хайфской больнице с тифом. Как я жду его возвращения! Здешнее безразличие к политической ситуации прямо сводит меня с ума; они, по-видимому, даже не понимают, что что-то не ладно. Большинство читают только заголовки газет. По вечерам все слыш-

ком усталые и хотят только покоя. Известный, честный и гибельный подход: мы делаем свое дело, об остальном пусть заботятся политики.

Вчера вечером был праздник: Юдит, жена Моше, вернулась из родильного дома с близнецами, будущими жильцами № 6 и № 7 в нашем детском саду. Пили сладкое вино, ели пироги и отпускали слишком откровенные шутки по поводу методов, применяемых Моше для рационализации детопроизводства. Так как в их маленькой комнатухе могут поместиться стоя не больше десяти человек, мы заходили туда по очереди. Моше стоял у дверей, крепкий, как породистый бык, с серьезной миной пожимая руки и сияя от гордости. Поскольку мы пьем вино каких-нибудь пять-шесть раз в год, два стаканчика этого отвратительного поила так нас возбудили, что на площади затеяли хору с Менделем в обычной роли дудочника и с совсем ошалевшими новичками. Египтянин изображал дервиша, а доктор философии не держался на ногах, разбил очки и вообще вел себя очень глупо. Молодежь сначала критически наблюдала за тем, как резвятся старшие, а потом образовала собственную хору с криками и хлопаньем по задкам, как орда дикарей в джунглях.

Около полуночи Реувен, Моше, Макс, Дина, Даша и я забрели на кухню для традиционного "кумзица". Я включил радио, чтобы послушать последние известия, но ничего интересного не было. Я не удержался и спросил присутствующих, что они думают о создавшейся ситуации, хотя и знал, что последует обычная бесплодная дискуссия. Наступило негодующее молчание, и я почувствовал себя виноватым, что испортил праздничное настроение. Не так много у нас праздников. Затем Реувен осторожно сказал:

— Предложение о разделе, конечно, скандальное, но в конце концов они же его и отвергли.

— Но разве ты не понимаешь, что сам факт его опубликования говорит об их подходе к проблеме? Подумайте только — один процент страны! Вот каким способом они идут к тому, что на их языке означает

”разумный компромисс”! Сначала они публикуют оскорбительные предложения с примечанием, что, к сожалению, по техническим причинам их нельзя осуществить, а затем приглашают представителей мусульманских стран решать нашу судьбу, прозрачно намекнув им, что, по мнению самого правительства, следует с нами сделать.

— Ах, ты, как обычно, преувеличиваешь, — сказала Даша.

— Джозеф находится под влиянием компании Баумана, — рассудил Макс. — Ему хочется бросать бомбы, сначала в арабов, затем в англичан.

— Замолчи, Бауман не такой дурак, — сказала Дина.

Когда Дина говорит о политике, глаза ее становятся серьезными, как у ребенка, который решает, съесть ему свой шоколад сейчас, или оставить на потом.

— Не дурак? При том, что связался с Жаботинским и его фашиствующими молодчиками? — крикнул Макс.

— Послушай, Макс, — вступился я, — нельзя ли обойтись в этом вопросе без партийных дразг?

— Нет, нельзя, — сказал Реувен спокойно. — Эти люди воюют против наших профсоюзов, против Рабочей партии зубами и когтями. Сами они не создали ни одного поселения, раскололи Хагану, у них нет никаких конструктивных достижений и ничего за душой, кроме криков и игры в солдатики.

— Одним словом, они фашисты, еврейские фашисты, — сказал Макс.

— Нельзя называть Баумана фашистом, — вступилась Дина.

— Почему нет? — воскликнула Даша. — Они бросают бомбы на арабских рынках, убивают женщин и детей.

— Они задурили голову молодым дуракам вроде Бен-Иосефа, — сказал Макс, — склоняя их совершить какой-нибудь идиотский поступок, чтобы за это их повесили. А соучастник Бен-Иосефа оказался сумасшедшим, и его отправили в больницу. Это символично: фанатики и сумасшедшие — все они такие.

И так оно продолжалось. Я тем более был в ярости,

так как понимал, что они частично правы, и, совсем перестав сдерживаться, накинулся на Макса:

— Этот дурак Бен-Иосеф — первый еврей, которого повесили здесь со времен восстания Бар-Кохбы. Ты как будто ненавидишь этого мальчика, а ведь он, в конце концов, погиб за наше дело. Черт бы побрал вашу объективность! Народ, который сохраняет объективность, когда речь идет о его существовании, обречен на гибель.

Секунду-две все молчали, но мой гнев не иссяк. Какое облегчение плюнуть на объективность, закрыть глаза на всяческие "но" и "если", которые я понимаю так же хорошо, как они, и даже лучше!..

— Но Джозеф, — вмешалась Эллен со всей серьезностью ответственного огородника в социалистическом поселении, — будь же благоразумным.

— Не хочу быть благоразумным. Достаточно, что в течение двух тысяч лет мы одни были благоразумными. Я был той благоразумной мухой, которая бегаёт по стеклу, потому что видит свет с другой стороны, мухой с выдернутыми крыльями и лапами. Хватит с меня вашего благоразумия.

— Что же ты предлагаешь? — холодно спросил Реувен. В его спокойном голосе слышались предостерегающие нотки.

— Не знаю, — ответил я, чувствуя, что моя ярость сменяется бессилием. — Знаю только, что в виде разумного компромисса нам предложили только один процент страны. И знаю, что в ту первую ночь, когда на нас напали, и я мог со спокойной совестью и с Божьего благословения стрелять, я был счастлив, что убиваю.

— Вы слышите голос фашиста? — закаркал Макс.

— А ты, — внезапно Дина перегнулась через стол задышала прямо в лицо Максу, — а ты, умник. Предлагаешь? Петь "Бандьера Росса?"\*

Макс отшатнулся, как будто ее дыхание обожгло ему лицо. Мне пришло в голову, что Дина, утра

\* "Bandiera Rossa" ("Красный флаг") — гимн итальянских антифашистов.

способность любить, только одна среди нас сохранила нерастраченной ненависть.

— Если вы еще в состоянии слушать, — сказал Макс с удивившей меня сдержанностью, — я скажу вам, что, по-моему, надо делать. Мы должны привлечь арабов на свою сторону, нравится вам это или нет. Можете обзывать меня, как угодно, играть передо мной гимн и размахивать флагами под носом, — я не отступлюсь от того, во что верю. Пролетарии всех стран, все бедные и униженные — соединяйтесь. Это для меня так же свято, как Десять заповедей или Нагорная проповедь. Арабы — бедные и униженные, и мы — бедные и униженные. И нет другого пути. Это моя вера, и я не продам ее за чечевичную похлебку шовинизма.

Его большой нос вздрагивал, глаза с вечно воспаленными веками дрожали. Я любил и ненавидел его одновременно.

— Напрасно ты вспомнил о чечевичной похлебке. Это запутанная и опасная притча, вроде бумеранга.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросил Макс, моргнув.

— А то, что наш предок Иаков получил благословение и вместе с ним страну хитростью и обманом. Это отвратительная история: он обманул простодушного Исава, помог сам себе, и поэтому ему помог Бог. Был бы он разборчивее в своих методах, мы бы не получили страну, она досталась бы волосатому охотнику пустыни.

— Да брось ты трепаться, — отмахнулся Макс.

— Это ты брось, ты, со своей пацифистской фразеологией. Что, если арабам не понадобится твоя благотворительность? Не нужны им твои деньги, твои больницы и твои профсоюзы.

— На них влияют землевладельцы и муфтии, — сказал Макс. — Они боятся потерять свои привилегии. Но как только народ поймет, что мы пришли как друзья...

— Как только, — передразнила Дина. — Сколько же ты собираешься ждать, умник? Сто лет, тысячу?

— Никто не собирается ждать, — сказал Макс, заметно напуганный Диной. — Я этого никогда не говорил. Я говорил только, что мы должны идти им навстречу и действовать в духе доброжелательства и понимания их нужд.

— Но они *не хотят* встречать тебя, слепой идиот, — закричал я, — они ненавидят тебя, потому что ты чужак и потому что их муфтии велели им ненавидеть тебя, потому что они верят муфтиям, потому что безграмотны, живут в XIII веке и не читали твоего Маркса. Ты же болтаешь о доброжелательстве, а сам лезешь дальше и дальше, хотят они этого или не хотят. Вот что ты на самом деле делаешь, проклятый лицемер!

— С тобой невозможно спорить. Ну, что ты орешь во всю глотку? — сказал Макс.

— А ты почему не орешь, умник? — спросила с издевкой Дина. — Потому что не умеешь орать. Вот и будешь всегда в накладе!

— Ну, знаешь, это несправедливо: орать вдвоем на одного, — сказал Реувен.

— Черт бы побрал твою справедливость, твою идеологию и всю вашу еврейскую болтовню, — сказал я.

— Это что-то новенькое, — вставила Эллен, — Джозеф стал антисемитом.

В этот момент включился наш тяжеловес Моше:

— Это не дискуссия, а сплошная туманность — раскаленная, парообразная, без начала и без конца. Если я правильно понял, Иосиф только что обнаружил, что правительство Чемберлена хочет от нас избавиться. Мы это знаем. Мы также знаем, что они этого сделать не могут, — мы стали слишком сильными. Нас полмиллиона человек — мы представляем треть населения страны и больше двух третей ее экономики. Едва арабы начали стрелять, англичане нас покинули. Мы сами справились с арабами. Мы знаем нашу силу, и нечего впадать в истерику. Акр за акром, корова за коровой, мы делаем свое дело. Я, по крайней мере, так понимаю свою задачу: купить еще один акр земли, еще одну корову. Спокойной ночи.

Не было никакого смысла продолжать спор, и мы пошли спать.

### *Шабат*

Пошли в полную силу дожди, и с ними начался второй после жары бич — боц, грязь. На будущий год, если будут деньги, мы проложим асфальтовые дорожки по всему поселению, но этой зимой еще придется жить, как на болоте. Проблема не только в том, как добраться до работы и обратно. Наши жилые помещения, удобства и учреждения разбросаны по площади в пять акров. Душ и уборная находятся за 20 метров от моего барака, читальня за 80, секретариат — за 60, столовая за 100 метров в другом направлении. Все функции повседневной жизни превращаются в рискованные экспедиции. Приходится каждый раз менять резиновые сапоги на домашние туфли и обратно, без конца соскребать грязь, мыть и чистить обувь.

Конечно, все упирается в деньги. Можно было бы устроить водопровод и уборную в каждом бараке. Но такую роскошь не могут себе позволить даже старые и сравнительно богатые киббуцы. Наш девиз, как известно: сперва дети, потом скот, потом работяги. К счастью, через месяц закончится строительство двух бетонных домов, и у всех обитателей, включая молодежь, будет хотя бы настоящая крыша над головой, а палатки уберут до следующего наплыва новеньких.

Самое неприятное во время сезона дождей — заполучить расстройство желудка, а это случается нередко. Шлепать в дождь и под ветром через непролазную грязь по три-четыре раза за ночь к уборной — тяжелее, чем отражать атаки арабов. Но эти героические достижения лавров не приносят.

Гендель и Штраус посвящали музыку воде. Нашему Менделю следовало бы написать симфонию для двух басов о грязи: медленное, тяжелое топанье, шлепанье, плюханье, брызганье, а аккомпанемент — стучащий по крышам дождь.

Арабский бунт выдыхается. Вчера нас посетил командир отряда Хаганы в Ханите — самом уязвимом из поселений на ливанской границе. Он долго говорил с Реувеном, по-видимому, о нелегальной доставке оружия. Позже в столовой он рассказывал нам о Вингейте, который прошлым летом жил в Ханите, обучал бойцов Хаганы приемам партизанской войны и командовал несколькими акциями. Все его обожают: он отличается чувством юмора, романтической склонностью к еврейской истории, кроме того, не знает ни страха, ни усталости. Однажды он заявил: "За неделю вы можете научиться большему, чем английский солдат за год, но наговорите за день больше, чем он за год".

Все это очень хорошо, но Вингейт среди англичан исключение. Политику правительства такие исключения не меняют, а заключается эта политика в том, чтобы использовать нас против арабов, а потом устроить нам Мюнхен. Как они искренно возмущаются, если жертва, перед тем, как ей перережут глотку, посмеет протестовать! Чехи могли хотя бы утешаться тем, что ими пожертвовали ради мира в Европе. Нас же предают без большой нужды, просто потому, что предательство стало условным рефлексом этого правительства. Так называемый арабский бунт — всего лишь блеф, в котором принимало участие каких-нибудь 1500 человек. Мусульманский мир еще больше расколот, чем христианский; племена в пустыне заняты взаимной враждой и кровной мстостью; опасность священной войны против неверных примерно так же реальна, как благородный шейх из кинофильма. Наши соседи в стране — даже не арабы, а потомки хананеян, филистимлян, крестоносцев и турок со значительной примесью еврейской крови. При всем том это очаровательный народ — наивные, лукавые, вздорные, добродушные и жестокие. Они непоследовательны, как умственно отстающие дети, в них совмещается жадность и щедрость, раболепство и гордость, растленность и чистота.

Естественно, что они нас не любят. Как трущобные дети, владеющие огромной площадкой для игр, они с удовольствием валяются в пыли. А тут приходят другие дети, которым негде играть, и начинают приводить площадку в порядок: необыкновенно энергично ставят палатки, строят уборные. Трущобные дети им кричат: "Убирайтесь, вы нам не нужны!" — "Но здесь достаточно места для всех, — возражают умные пришельцы, — и мы получили разрешение пользоваться площадкой вместе с вами. Вам же потом будет лучше". — "Убирайтесь, — настаивают те, и хватают у умных детей их игрушки, — это место наше, и мы хотим, чтобы оно осталось таким, как оно есть".

Они — осколок средних веков. Нет у них национальной идеи, нет дисциплины; они хорошие налетчики и плохие бойцы, иначе ни одно из наших изолированных поселений не уцелело бы. Со времен халифов их политическая роль ничтожна. Все, что они умеют, — это нарушать спокойствие. Почувствовав твердую руку, они становятся смиренными; если им потакают, они распускаются. Политика правительства заключается в подстрекательстве к беспорядкам, чтобы иметь повод от нас избавиться. Два года назад, когда положение стало совершенно невыносимым, была создана королевская комиссия. В заключении комиссии говорится: "Совершенно очевидна терпимость мандатной администрации по отношению к арабской политической агитации, даже в тех случаях, когда эта агитация приводила к насильственным действиям". Вот как далеко зашли англичане в своей игре, если к таким выводам приходит официальная комиссия!

Почему я не способен к такой ненависти, как Шимон! Но, в конце концов, я сам наполовину англичанин. Избалованные безопасной жизнью на нашем острове, в течение тысячелетия не подвергаясь вторжениям, мы веками позволяли себе все делать далеко не лучшим образом и в то же время лелеять мистическую веру в то, что в подобном поведении проявляется наша Богом данная мудрость.

## *Вторник*

Опять дожди и опять боц. Угнетает не столько возня с грязью, как ее тяжесть на сапогах. Тяжесть эта лишает человека легкости, притягивает к земле. Шлепая по грязи, я чувствую, как по законам мимикрии превращаюсь в глиняного мокрого истукана.

## *Четверг*

Две новые пары. В соперничестве с Саррой за египтянина Габи выиграла, если она вообще заметила Сарру. Он ходит с выпученными от счастья глазами, ее глаза тают. По крайней мере в их случае угнетенная плоть восторжествовала. Она называет его Хам, что на иврите означает "горячий", но может означать и второго сына Ноя, от которого происходят египтяне. Другая пара — Макс и та самая толстушка из Румынии. Возможно, что союз с этой мягкой периной укротит его рвение спасти мир.

Обе пары переедут в новый барак, который будет готов к следующей субботе, так что я какое-то время побуду один. Эллен бродит, сжав губы, и едва на меня смотрит.

Бедной Сарре еще хуже. Добродетель разъедает ее, как кислота. Киббуц до сих пор не разрешил проблему одиночек. У нас их одиннадцать. У тех, кто не спарился в течение года или двух, появляется нечто вроде аллергии друг к другу. Слишком большая близость людей в маленьких киббуцах действует, как психологический барьер между родственниками. Пока мы полностью не укомплектовались, у них остается надежда. После этого одни подчинятся судьбе, другие покинут нас и, возможно, через год-два вернуться, спасаясь от одиночества и поняв, что по-другому жить не способны.

Иногда хорошие результаты получаются, когда отправляют людей в годичный отпуск, но мера эта применяется редко, так как слишком ясна и комична ее матримониальная цель, есть в ней драматический привкус последнего шанса, и люди боятся вернуться, не достигнув цели.

Я надеялся в субботу после обеда мирно посидеть со своим Пеписом. Вместо этого два часа говорил с Реувеном, что привело к серьезным последствиям. Тема беседы: моя личность (Иосиф и его братья, личность и общество).

Разговор начал Реувен. Он пришел ко мне с несколько смущенным видом и полуофициальным предложением прогуляться. Я сразу сообразил, что тут что-то кроется. До сих пор я не совсем понимал, что мое положение опасно. Тем более я не представлял, что другие мое положение видят. Каждый из нас в отдельности может быть не очень наблюдательным, но существует коллективная интуиция, действующая безошибочно, как это свойственно насекомым.

Дождь прекратился утром, и хотя поселение все еще представляло собой грязное месиво, края вади начали подсыхать. Реувен предложил спуститься в вади, подняться на противоположный холм с востока и посмотреть на наши виноградники. Я положил Пеписа на полку, и мы пошли. Как всегда по субботам детский сад был пуст, — детей разобрали родители. Двери дома были распахнуты, виднелись кровати. В конце коридора на табурете сидела Дина и делала вид, что читает. Казалось, ей хотелось доказать, что и в субботу она отвечает за дом и за детей. Дом стоял белый, безмолвный и мертвый в полусонном покое субботы и производил гнетущее впечатление. Дина посмотрела на нас с трогательной бодрой улыбкой. Похоже, она ждала, что мы ее позовем с собой. Реувен кивнул, но промолчал, и я ничего не мог поделать.

— Реувен позвал меня погулять, -- сказал я ей, — а потом меня бросят в колодец.

По ее лицу я понял, что она догадалась, в чем дело. А молчание Реувена доказывало, что и он, в свою очередь, понял, почему Дина сидит одна в пустом детском саду. Мы все слишком много знаем друг о друге, и атмосфера иной раз бывает слишком напряженной, как некоторые участки в эфире, когда несколько

передатчиков одновременно работают на одной волне.

Когда прошли заграждение, я сказал:

— Ладно, выкладывай, в чем дело: Эллен, мои фашистские настроения или общий цинизм?

Реувен промолчал, продолжая спускаться по склону, наконец ответил:

— Разговор будет о твоём отношении к обществу в целом. У каждого здесь есть свои проблемы, и каждый старается их упростить. А ты, кажется, сознательно стараешься усложнить проблемы.

— Чем? Тем, что читаю газеты, или тем, что отказываюсь жить с нелюбимой девушкой?

Реувен снова помолчал:

— Мне неприятно вмешиваться в твои личные дела, но Эллен в очень плохом состоянии, а когда доходит до того, что нарушается внутреннее равновесие товарища и страдает работа, то дело перестает быть личным и становится делом коллектива.

— О Боже, о Моше рабейну!

Реувен продолжал неуклонно шагать вниз. Я бы возненавидел его, если бы не знал, как ему самому ненавистно то, что приходится говорить.

— Короче говоря, — сказал я, — вы не можете заставить меня жить с Эллен против воли. Есть границы того, что общество может требовать от своих членов.

— Почему же? Если бы ты был мусульманин, ты же считал бы естественным, что должен жениться на девушке, не желая быть прирезанным ее братом? Живя в городе, ты считал бы естественным, что половые отношения влекут за собой определенные обязательства. Нелогично мириться с ограничениями, налагаемыми традиционным обществом и протестовать, если их требует общество социалистическое.

— Да смысл-то социализма в том и состоит, чтобы избавиться от традиционных ограничений и свести вмешательство общества до минимума.

— Правильно. Весь вопрос только в том, как определить этот минимум. Полагаю, что уважение к чувствам друг друга входит в этот минимум. И если он не со-

блюдается, тогда вмещивается общество, чтобы урегулировать положение, допуская при этом некоторую несправедливость во избежание несправедливости большей.

— "Небольшая несправедливость" в моем случае — это навязывание мне отвратительного для меня союза.

— Что ж — выбирай: или стабильные отношения, или — если твое отвращение действительно так сильно, а не вызвано обыкновенным эгоизмом и эмоциональной трусостью, — ты должен с Эллен порвать.

— Но мы нужны друг другу. И все шло хорошо почти шесть месяцев.

— А после шести месяцев Эллен почувствовала, что твое отношение для нее неприемлемо и оскорбительно.

— Но когда вы все поймете, — простонал я, — что физические отношения не более и не менее оскорбительны, чем интеллектуальные? Разве унижительно для моего партнера в теннис, что я не играю с ним в шахматы? Говорить фривольно о политике для меня так же непристойно, как тискать какую-нибудь полудеву. Но двое людей, доставляющих друг другу физическое удовлетворение, находятся в чистых и здоровых отношениях, которые вполне самодостаточны.

— Я с тобой не согласен. Я не верю, что секс можно изолировать от всего остального. Но дело не в том, во что я или ты верим, а что чувствует Эллен. А ее чувства таковы, что она собирается поднять этот вопрос на ближайшем общем собрании.

— О Боже милостивый!

— Мы с Моше пытались ее отговорить, но нам это не удалось.

— Я думал, что мы переросли период юношеского эксгибиционизма, — сказал я, чувствуя себя очень несчастным.

— Так обстоят дела, — сказал Реувен мрачно.

Внезапно я расхохотался, поняв, что, несмотря на свои убеждения и взятую на себя миссию, он испытывает чувство мужской солидарности. Одновременно

я вспомнил комические и постыдные публичные исповеди на наших собраниях времен первых лет.

— Почему ты смеешься?

— Помнишь, как Даша каялась, что она пустая, эгоистичная мелкобуржуазная мешанка, потому что боится потолстеть?

Реувен улыбнулся. Полуденное солнце приятно пригревало, мы сидели на камнях на склоне.

— А Макс признавался, что испытывает ко мне иррациональную неприязнь, и просил товарищей помочь от нее избавиться. А Сарра проповедовала целомудрие как средство сублимирования биологических импульсов в социальные. А наши дискуссии о том, не следует ли отказаться от курения, потому что гедонистическое наслаждение, испытываемое курящим, дает ему преимущество перед некурящим!

— Это была детская чепуха, и мы скоро с ней закончили.

Реувен бросил камень в сидящего поблизости коршуна, и тот поднялся, хлопая тяжелыми крыльями и издавая пронзительный протестующий крик.

— Послушай, Джозеф, — сказал он, — мы почти шесть лет вместе. Когда мы приехали, мы были молоды и глупы. Эти исповеди и стремление к абсолютному равенству — признак юношеской незрелости и влияния философии эссеистов и мистиков из Галиции. Но сейчас мы взрослые, и если такой взрослый товарищ, как Эллен, дошла до того, что обращается к общему собранию, это совсем другое и очень серьезное дело.

— Итак, мы вернулись к тому, с чего начали. Скажи точно, насколько это серьезно? Ты ведь не думаешь, что предложат меня исключить?

Реувен продолжал бросать камни, хотя никаких коршунов поблизости не было. Чем дольше продолжалось молчание, тем сильнее я ощущал сухость в горле. Я понял наконец, как опасно мое положение, и ощутил страх в сердце и в животе. И вспомнил выражение на лице негра в фильме. Негра собирались линчевать за преступление, которое он не совершал,

а он вдруг понял, что никто не верит в его невиновность.. И все, что ему оставалось, это кричать побелевшими губами: "Нет, нет!", широко разевая рот, как задыхающаяся на берегу рыба, и зная, что в ответ он услышит бесповоротное: "Да!"

— Итак, меня собираются линчевать? — спросил я.

Реувен пожал плечами и продолжал бросать камни. Множество скворцов кружилось над нами, казалось, мне все это снится. Когда меня выгонят отсюда, наши холмы будут так же равнодушно стоять на месте. Солнце клонилось к закату, и холмы отливали фиолетовым цветом. Днем для них характерен цвет промежуточный между серебристым и сиреневым. Несмотря на бесплодность, они не кажутся суровыми, очертания их мягки и волнисты, как будто море застыло в неподвижности. Для людей наши холмы имеют какое-то зрительское очарование. Осенью, после первых дождей, когда они начинают покрываться зеленым пухом, мне иногда снится, что я впиваюсь зубами в живую, трепещущую, истекающую молоком Галилеи плоть земли.

— Итак, меня собираются линчевать? — повторил я.

Реувен перестал бросать камни, но на меня не смотрел.

— Не знаю, — сказал он, — если ты будешь упрямитесь, все может повернуться довольно мерзко. Будут разговоры об антиобщественном поведении, неуважении к товарищу, женщине и тому подобное. Они не могут принудить тебя жить с Эллен, и я не думаю, что есть достаточно оснований для исключения. Но елейные речи будут, потом все дело отложат, а через некоторое время начнут снова. Тем временем атмосфера будет отравлена. Давно у нас не было скандалов, и все займутся этим с удовольствием. Каждый из нас не прочь покопаться в грязи. Ты же, как обычно, заведешься и еще больше их заденешь. И так уж многие против тебя настроены из-за твоего сочувствия к Бауману и к террористам и из-за того, что не без

оснований называют твоими фашистскими наклонностями. Все это всплывет, и получится довольно неприятная история.

Я молчал. Вдруг вспомнил, как в первую ночь, после атаки, я думал, что ничего нет на свете лучше, чем вызывать симпатию людей и самому их любить. У меня засосало в груди. Реувен осторожно продолжал:

— Твоя беда, Джозеф, что ты такая многоцветная птица. Сереньким, таким, как я, куда легче в коммуне.

Я не ответил. Правда, что Реувен — довольно бесцветный человек, но я ужасно к нему привязан, возможно, именно поэтому. Внезапно мне стало страшно: мне пришло в голову, что моя привязанность к нему, возможно, не взаимна. А Моше, а Макс? А Даша, Мендель, Шимон, Арье, — как они ко мне относятся? Что нас связывает? Неужто я все время жил в блаженном неведении?

Мне захотелось побыть одному. Я встал и пошел по склону. Боясь, что мне изменит голос, я молчал. Хотелось поговорить с Диной, но тяжело было представлять, что я забудусь, трону ее за руку, а она испуганно и резко отстранится. Споткнувшись о камень, я отшвырнул его ногой и продолжал взбираться, пока не задохнулся. Потом услышал голос Реувена: он догнал меня и тронул за руку — редкий знак симпатии с его стороны. Я тут же успокоился.

— Не будь дураком, Джозеф, — сказал он, — впрочем, теперь, по крайней мере, ты знаешь, как себя чувствовала все время Эллен.

— Эллен? — удивился я. — Мне это в голову не приходило.

— Естественно. Ты был слишком занят собой, чтобы о ней думать.

— Неправда. Мне ее жаль. На днях, когда она расплакалась, у меня сердце перевернулось. Поверь, что я отношусь к ней очень тепло, мне ее жаль, но помочь ничем не могу.

— Дело не в жалости. — Реувен улыбнулся своей неопределенной грустной улыбкой. — Твое сердце

болит за нее, когда она рядом, и тут же успокаивается, когда ее нет. Она для тебя объект, а не субъект, и существует для тебя только в связи с тобой. Ты эмоциональный позитивист. Признаешь только явные факты. Ты любишь абстрактно. Ты увлечен иудаизмом, но не любишь евреев. Ты любишь идею человека, а не самого человека. Ты живешь среди нас шесть лет, и до сих пор мы для тебя объекты, а не субъекты.

— Неправда! — крикнул я. — Я к вам больше привязан, чем вы ко мне!

— Это сентиментальность. У тебя есть эмоции, но не чувства. Ты привязан к людям как к объектам для наблюдения и как к проекции твоих собственных эмоций. Так любят лошадей и собак.

Я почувствовал опустошенность и бессилие. Сел на землю. Реувен остался стоять передо мной. Никогда я не видел его таким красноречивым и требовательным.

— Каждый несет бремя одиночества. В коммуне человек еще больше одинок, чем во внешнем мире. Там существует семья, на которую направлена вся привязанность человека. Здесь имеется только равномерно распределенная доброжелательность. Этого недостаточно, особенно женщинам. Мы должны компенсировать потребность людей в интимности с помощью прочных, длительных союзов.

— Значит, назад к прочной семье, к той самой, с которой, казалось, мы покончили?

— Ты неправ. Мы освободили детей от тирании родителей, а родителей — от материальных забот. Разве этого мало?

— Остается тирания моногамии.

— Послушай, — сказал Реувен, впервые проявляя признаки нетерпения, — киббуц существует для того, чтобы решить срочные национальные и общественные проблемы. Претендовать на решение биологических и сексуальных проблем было бы слишком. Разница между утопией и практическим делом в том, чтобы знать пределы своих возможностей.

Не в первый раз за время нашего разговора я подумал об Эстер — жене Реувена — незначительном, маленьком создании, похожем на мышку. Она ждала ребенка и ходила с большим животом. Все прочее казалось только добавлением к животу. Я никогда не мог понять, что нашел в ней Реувен.

— Ладно, — сказал я, — мы достаточно спорили. Что ты предлагаешь мне делать?

— Подчиниться неписанному закону общества, без которого оно не может существовать. Сделать последний шаг или, если тебе хочется драматизировать события, принести последнюю жертву. Практически это сводится к тому, чтобы поселиться с Эллиен в одной комнате, вместо того, чтобы жить с Менделем, да еще плюс доктор философии, потому что, как ты знаешь, когда придет новое пополнение, холостяков поселят по трое.

Я невольно улыбнулся:

— Это шантаж!

— Но холостякам действительно придется жить по трое!

— Но разве не будет для Эллиен унижительным сознавать, что я согласился жить с ней под давлением общества?

— Употребил свой знаменитый шарм. Объясни, что произошло недоразумение, — он улыбнулся, — к тому же, самая чувствительная женщина становится удивительно толстокожей, когда речь идет о замужестве.

— Ты настоящий иезуит!

— Я просто выполняю свои обязанности в качестве избранного на год секретаря киббуца, — ответил он с самым серьезным видом.

— А какая существует для меня альтернатива? Если я откажусь, мне придется уйти?

Он посмотрел на меня с улыбкой:

— Я ни на минуту не допускаю, что ты предпочтешь этот вариант. Ведь ты, Джозеф, — один из наших патриархов!

Я не ответил, но уже понимал, что сдаюсь. После

недавно пережитого страха я испытывал облегчение, вроде того, наверное, которое испытывает приговоренный к смерти, когда ему заменяют казнь пожизненным заключением. Жизнь с Эллен вдруг показалась даже привлекательной. Эдакая уютная камера с продолжительными прогулками на тюремном дворе.

В этот момент Реувен, как настоящий киббуцный иезуит, преподнес сюрприз:

— Я считаю, что мы пришли к соглашению, — заявил он. — А сейчас обсудим еще один вопрос. Следующее пополнение прибудет через две недели. Отдел поселений Сохнута ускоряет план расширения поселений. Это значит, что нашему казначею придется много ездить, вести переговоры о займах, о покупке новых машин, стройматериалов и прочем. Моше нам все время нужен на месте. Следовательно, придется выбрать еще одного члена секретариата для работы вне киббуца, которому придется проводить пять дней в неделю в Иерусалиме и Тель-Авиве. Мы с Моше решили предложить на следующем собрании твою кандидатуру. Через неделю.

Я судорожно сглотнул:

— Это что, — взятка?

— Подумай сам — кто больше тебя подходит для этой работы? И для нас это выход, и для тебя.

Так закончился этот роковой разговор. Я был брошен в колодец, вытаснен обратно, и через неделю в пятницу, вероятно, вступлю в должность Иосифа-кормильца. За это время мне предстоит прочесть для доктора философии серию лекций по теории и практике сапожного дела, чтобы он замещал меня в мое отсутствие.

Супружеская жизнь по уик-эндам — тоже неплохая перспектива. Я почти предвкушал ее. Может, и впрямь следует позаботиться о повышении уровня рождаемости. И я опять окажусь в городе, буду шагать по тротуарам Содома и Гоморры!

Я все еще слишком взволнован, чтобы оценить все

последствия происшедшего. Я недооценил Реувена. Благослови его Бог. Каждому бы киббуцу такого иезуита!

### *Среда*

Выпало несколько солнечных дней подряд. В обеденный перерыв я отправился на гору по другую сторону вади, чтобы навестить Пещеру предков. Пещеру открыл несколько месяцев назад пастух Арье. Весь холм над новым виноградником изрыт пещерами, и некоторые из них во времена Византии стали местами захоронения. Могилы много раз грабили, в них валялись разбросанные кости. Сравнительно хорошо сохранилась та, которую открыл Арье. В могиле недостает только черепа предка. Возможно, утащил его какой-нибудь арабский террорист, чтобы одним евреем оказалось меньше во время той гражданской войны, которая разгорится, когда произойдет воскрешение из мертвых. Арабы эту грядущую картину принимают очень близко к сердцу и, чтобы подготовиться к кампании, уже похоронили четыре сотни мусульманских героев вместе с мечами в юго-восточном углу Харам аш-Шариф. Миссия захороненных будет состоять в обороне Мечети Омара против нападения евреев, которые восстанут с кладбища долины Иехошафат\*.

Как бы то ни было, нам нравится, что у нас есть Пещера предков, хотя в ней находится лишь скелет без черепа да вырезанное на камне имя "Иешуа". Это весьма скромно по сравнению с находками в других киббуцах, такими, как, например, полы синагоги в Бет-Альфа с прекрасной мозаикой, изображающей знаки зодиака.

Возле пещеры я встретил Арье с овцами. Как всегда, он лежал на спине, прикрыв лицо шляпой. Арье – единственный из нас, кто может отдыхать, лежа прямо на

\* Харам аш-Шариф – место, где стоял Иерусалимский Храм и где сейчас находится Мечеть Омара. Долина Иехошафат – часть Кидронской долины, где, по преданию, произойдет воскрешение из мертвых.

земле. Когда мы с Эллен, Диной и Моше гуляем и останавливаемся передохнуть, мы можем оставаться неподвижными не больше двух минут. Хотя жизнь земледельцев в какой-то мере и очистила нашу кровь от векового беспокойства, мы все еще постоянно настороже. Как видно, наше коллективное подсознание полно призраков прошлого — легионеров, инквизиторов, крестоносцев, ландскнехтов и казаков. Думаю, что наши тарзаны полностью от них избавлены. И спят они, вероятно, здоровым сном, без страхов и без сновидений.

Арье в нашей среде исключение. Но Арье, мягко выражаясь, совсем прост. Мне он очень нравится, и я считаю, что приятно для разнообразия иметь хоть в одном киббуце пастуха, который не бывший профессор семантики, а просто глупец.

Я не мог понять, спит ли он. Гури, огромная пастушья собака, лежала, устроив четыре лапы у него на груди. При моем приближении пес заворчал. Хотя Гури — коллективная собственность, своим настоящим хозяином он считает только Арье, а с остальными лишь дружески снисходителен. Мы все ревнуем Гури к Арье, и я боюсь, что Сарра подымет о нем вопрос на следующем собрании.

Арье не шевелится, я решил, что он спит, и продолжал путь к Пещере. Через узкий вход я спустился в помещение для захоронения. Там было грязно, пахло сыростью и мочой. Вокруг этого помещения в стене расположены три ниши, каждая размером с небольшой гроб. Но предков хоронили без гробов, просто заворачивали в простыни и запикивали в нишу. В первой нише лежали разбросанные кости, другие были пусты. В первой нише всегда есть огарок свечи. Я зажег его и стал спускаться по скользким ступенькам в нижнее помещение, стараясь не удариться головой о камни. Там находились еще три ниши, средняя — с безголовым Иешуа. Над узким входом в нишу были выбиты четыре буквы: юд, шин, вав и аин. Я смотрел на кости в песке и безуспешно пытался себе предста-

вить, что на этих жалких костях когда-то была теплая плоть, плоть эту покрывала экзотическая одежда, а в недостающем черепе — работала мысль. Меньше всего я мог себе представить, как этот человек выглядел при жизни. Однако я, вероятно, унаследовал от него какую-то частицу его существа. В моей сперме имеется сложная, но устойчивая группа молекул, которая дошла непосредственно от него и, возможно, в один прекрасный день я, с помощью Эллен, передам их по цепочке дальше. Все это похоже на длинный трубопровод, только тянущийся не в пространстве, а во времени; через каждую милю времени, или около этого, имеется кран, прикрепленный к паре чресл. Когда этот кран открывается, древняя струя смешивается с потоками в других трубопроводах. Разветвленная система ирригации, как на наших огородах, только охватившая всю иссохшую земную кору. Так-то!

Если подумать, не так уж много кранов можно насчитать между старым Иешуа и мной. Длина трубопровода всего каких-нибудь 17 веков, что соответствует примерно 51 поколению. Возможно, старый Иешуа был одним из воинов Бар-Кохбы, воевал против легионеров на этих самых галилейских холмах, его жена и родственники погибли на кресте, а его пропавшая голова, когда-то бородастая, с морщинистым лбом, была полна Вещами, Которые Надо Забыть.

Я вылез из пещеры. Снаружи меня ждал Гури, волнуясь, что одна тридцать шестая часть его коллективного хозяина исчезла под землей. Увидев мою голову, он взвыл от радости, а так как мне понадобились руки, чтобы выбраться, он воспользовался случаем и облизал мое лицо своим слюнявым языком. Я, разумеется, был в восторге. Нет ничего более лестного, чем внимание собаки с ярко выраженной индивидуальностью. Люди ценят в вас те или иные качества, но для собаки вы "вещь в себе".

Спускаясь по склону, я смотрел под ноги и выискивал монеты и глиняные черепки. В это время года

здесь находят много монет: осенние дожди вымывают их из-под разрушенных террас. На днях доктор филологии нашел большую редкость, *Judaea capta*\*. Ему везет. Мне попалось только несколько римских и византийских монет.

Когда мы с Гури подошли к Арье, он сидел и курил сигарету вместе со своим другом Уалидом, пастухом из Кафр-Табие. Гури, у которого сильно развиты национальные предрассудки, зарычал на Уалида, но одного слова Арье было достаточно, чтобы он прижал уши и улегся в классической позе сфинкса, высунув язык и наблюдая за нами.

Я пожал руки Арье и Уалиду и присел покурить. Уалид — тихий и очень вежливый парень. Началась обычная церемония вопросов и ответов, по сравнению с которой английский салонный разговор о погоде выглядит слишком грубым и примитивным:

- Как здоровье, Уалид?
- Здоров, слава Богу.
- У тебя все в порядке?
- Да, слава Богу, у меня все в порядке.
- А твой отец тоже здоров?
- Да, мой отец вполне здоров, слава Богу.
- Я рад, что твой отец здоров, Уалид.
- Вполне здоров, слава Богу.
- А как поживает твой старший брат?

И так далее, при чем перечисляются все члены семьи, лошадь, двое мулов, скот и птица. Ответ всегда будет, что все хорошо, даже если семья, вместе со скотом и птицей, готова вот-вот умереть. Успокаивающий и приятный ритуал! Когда мы с ним покончили, Уалид, пожевав стебелек травы, сказал:

- Я только что заметил твоему другу, что ваши молодые деревья очень красивы.
- Уалид любит деревья, — объяснил Арье лениво.
- Почему бы вам не посадить деревья в Кафр-

\* Монета, выпущенная Титом после разрушения Иерусалима; на ней изображена женщина, сидящая под деревом в скорбной позе.

Табие? — спросил я.

— Тс-тс, — покачал головой Уалид, — это невозможно.

— Почему невозможно?

— Они долго не продержатся.

— Почему?

— Поссоришься с соседом, и он вырубит деревья.

— Это очень плохо. И ничего нельзя поделатъ?

— Нет. У нас выращивать деревья невозможно.

Мы посидели молча, посматривая на овец и на облака. Арье предложил нам еще покурить, но у него остались только две сигареты, и мы с ним покурили одну на двоих. Уалид дважды вежливо отказался, но на третий раз взял. Через минуту он сказал:

— Очень уж вы бедные.

— Не очень. И мы только начинаем.

— У вас есть тракторы и электричество, но нет сигарет.

— Все деньги мы вкладываем в тракторы и машины и через некоторое время будем богаты.

— Нет, — сказал он, — если у вас будет больше денег, вы купите больше тракторов.

Почему-то меня его замечание рассердило, и я сказал, чтобы подразнить его:

— А у вас нет ни тракторов, ни сигарет.

— Зато мы свободны, а вы живете, как в тюрьме.

— Уалид считает, что мы слишком много работаем, — объяснил Арье.

— Никто нам не указывает, сколько работать. Мы работаем, потому что нам нравится.

— Вы сажаете деревья, за ними надо ухаживать. Вы всегда начинаете что-то новое, которое надо кончать, потом опять начинаете новое, как арестанты. А я свободен. Если захочу, могу завтра поехать в Египет, Англию или Америку.

— Для этого нужны деньги, — философски заметил Арье.

— Ну и что? Все равно я свободен, а вы арестанты.

— Каждый, кто поставил для себя цель, становится

арестантом, — сказал я.

С этим согласились и Уалид, и Арье.

### *Четверг*

Сегодня я сказал Дине, что женюсь на Эллен. Мы стояли на платформе башни после заката. Дина ответила, что давно этого ожидала, и больше мы к этому вопросу не возвращались.

Минут пять стояли молча. Я пытался заговорить, но каждый раз чувствовал, что слова застревают в горле. Я знал, что и она вспоминает первое наше утро, когда она проснулась на моем плече в палатке первой помощи, а потом мы забрались на вышку, чтобы встретить восход солнца. Внезапно мне пришло в голову, что вся беда Дины от нервов и ипохондрии, а если ее обнять, может быть, удастся сломать барьер. Я посчитал до десяти, повернулся к ней и крепко схватил за плечи. Она не отшатнулась, казалось, она этого ждала. Даже наверное ждала. Когда я привлек ее к себе, она не сопротивлялась, но тело ее напряглось, стало неподатливым и задрожало; слышно было, как скрипнули зубы, когда она сжала челюсти, чтобы не закричать. Я испугался, но не отпустил ее, я знал, что и Дина полна той же отчаянной надежды, что и я. Ее окаменевшее тело непроизвольно отшатнулось от меня, и в тот момент, когда я прижался к ее сухим губам, она резко меня оттолкнула. Мы стояли, тяжело дыша, на темной платформе. Дина проговорила шепотом: "Уйди, пожалуйста", — и затем, прежде чем я успел что-либо сообразить, она перегнулась через перила, и ее вырвало.

Через минуту ей стало лучше, и мы спустились. И тут я не посмел ей помочь. При слабом свете, падающем через дверь столовой, она с вымученной улыбкой пожелала мне спокойной ночи. Я пошел в поле и бросился на мягкую, покрытую росой землю. Закрыв глаза, я представлял себе, что бы я сделал с теми, кто довел Дину до такого состояния. Первый раз в жизни я отдался такой фантазии, и когда пришел в себя, был

мокрый от пота и весь дрожал. Но возвращение к реальности было слишком мучительно, и я впился ногтями в землю, представляя, что впиваюсь в глаза мучителей Дины. Когда я вторично очнулся, то протрезвел окончательно.

Но и сейчас я не отказался бы от мести, если бы такой случай представился. Мечь противоречит моим убеждениям, противоречит здравому смыслу. Но рассуждениями сыт не будешь. Сегодня я понял, что жажда мести может превратиться в физиологическую потребность. Дине это не помогло бы, но помогло бы мне.

Я вспомнил историю о сицилийском крестьянине, который провел пять лет в тюрьме за покушение на убийство соблазнителя своей жены. В день освобождения он пошел в дом к соблазнителю, убил его и спокойно отправился назад в тюрьму, чтобы остаться там до конца жизни. Итальянский коммунист, который рассказал мне эту историю, прибавил, что видел крестьянина после десяти лет отсидки. Тот был вполне счастлив и нисколько не раскисался. Тогда я не мог поверить услышанному, но теперь понимаю, что пожизненное заключение или даже виселица -- не такая уж дорогая цена, чтобы купить спокойствие души.

Арабы, как видно, это понимают, так же, как и парни Баумана, как Бен-Иосеф, который пел "Хатикву" под виселицей, пока веревка не оборвала его голос. Климат ли здешний, или испещренная древними захоронениями земля так действует на человека, что в нем открываются шлюзы, которым было бы лучше оставаться закрытыми.

Высказав это, я изгнал из себя дух безголового Иешуа. Сформулировать чувство -- значит одержать над ним победу. Но разве я не считал всегда, что наша беда в слишком большой склонности к формулировкам?

## *Пятница*

Утром столкнулся с Диной возле душевой и шел с ней вместе до столовой. Ее волосы были влажны после мытья, и от них в холодном утреннем воздухе шел легкий пар. Контраст между свежим лицом и синими тенями под глазами делает ее лицо еще красивее. Казалось, она совсем забыла о вчерашнем, и после тарелки каши я тоже почувствовал себя лучше.

Как бы то ни было, вчерашний инцидент разрубил все узлы: завтра Эллиен ко мне переезжает.

## *Воскресенье*

Шимона, наконец, перевели из инфекционного отделения, так что вчера я смог навестить его в хайфской больнице. На фоне белой подушки он еще больше был похож на больного сокола. Его черные глаза впелись в меня и, казалось, притягивали к себе. И лицо, и желтые от никотина пальцы сильно похудели.

Одеяло на койке было аккуратно заправлено, пижама застегнута на все пуговицы. Одеяло, тумбочка и даже подушка были покрыты газетами и газетными вырезками.

Я сел на стул возле кровати и взял его за руку.

— Лучше ко мне не прикасаться. Я, может быть, еще заразный, — предупредил он, но видно было, что мой приход его радует.

— Ну, как дела на нашей башне из слоновой кости?

— Я женюсь на Эллиен и буду работать казначеем, ездить по делам киббуца по городам.

— Ну?! — Он реагировал на новости с откровенным интересом школьника, которому не терпится узнать, что произошло в классе за время его отсутствия. В постели Шимон казался не таким железным, как обычно.

— Ну и ну! Силен наш Реувен в диалектике! — Он посмеялся, потом закашлялся. — Но это очень хорошо, — продолжал он, — лучше тебя для этой работы никого не найти. К тому же, иначе бы ты рано или поздно ушел.

Значит, Шимон тоже заметил, в каком растерянном состоянии я находился в последнее время. Все это заметили, кроме меня самого.

Был час свиданий. У каждой из четырех кроватей сидели посетители. Все были увлечены своими разговорами, и каждая кровать вместе с тумбочкой, стулом и ширмой представляла собой маленький отдельный островок. Шимон лежал на спине и глядел в потолок.

— Расскажи еще что-нибудь о нашей Башне, — попросил он.

— Габи выходит замуж за египтянина. У Моше родилась двойня. Но это ты, наверное, уже знаешь.

Он кивнул:

— А что еще?

— Мы купили за 20 фунтов кобылу в Эйн Хашофет.

— Сколько ей лет?

— Три года. Пепельного цвета. Симпатичная, но довольно худая.

— Как зовут?

— Алия.

Он отрывисто засмеялся:

— Символы, символы, и ничего за ними!

Пожилая толстая медсестра с судном в руках проковыляла мимо. Похожа она была скорее на переодетую раввиншу. Шимон некоторое время помолчал, затем кашлянул и с деланным равнодушием спросил:

— А как посадки?

— Юдит смотрит за ними. С прошлых дождей они выросли почти на дюйм.

— Все принялись?

— По-моему, все.

— Последний ряд нуждается в лишней поливке.

— Я скажу Юдит.

Глядя в потолок, он пожал плечами.

— Когда тебя выпустят? — спросил я.

— Через неделю.

— Тебе придется жить вместе с Менделем и доктором философии.

— Не придется.

— Трудно устроиться иначе. Через две недели ожидается новое пополнение.

Шимон промолчал. Я спросил:

— Тебя пошлют отдыхать в Зихрон?

— Наверное.

— А домой когда вернешься?

— Никогда.

Я уставился на него, а он продолжал смотреть в потолок. Затем медленно повернул ко мне голову:

— На самом деле это тебя не очень удивляет, не правда ли?

У меня сильно колотилось сердце.

— Хабиби, — наконец выдавил я, — не верю!

Он улыбнулся:

— Шутка заключается в том, что я и сам в это не верю.

Больше, чем что-либо другое, эти слова убедили меня в том, что спорить бесполезно. Без Шимона киббуц в моих глазах потускнел, как на сцене, на которой постепенно уменьшили свет. В каком-то смысле это даже хуже, чем если бы мы потеряли Дину. Киббуц не просто сборище людей. Это своего рода мозаика, и если выпадает кусок, остается навсегда дыра.

— Но почему, Шимон? — спросил я.

Его улыбка была ироничной:

— Спроси сам себя и поймешь.

Я молчал, чувствуя себя не только несчастным, но и виноватым, совсем как во время нашего последнего разговора в лесном питомнике. С тех пор я Шимона избегал, и, откровенно говоря, его болезнь пришлась весьма кстати. А сейчас некуда было скрыться, как нельзя было скрыться от вопроса, касающегося Эллен. Нет смысла бежать от проблем. Они следуют за тобой медленно, но в конце концов догоняют.

Шимон оперся на руку и что-то поискал в своих бумагах. Он был очень слаб, и его тонкая шея с выступающим кадыком дрожала от напряжения. Толстая сестра приковывляла и возбужденно закаркала:

— Сказано, что нельзя садиться!

— Подите к черту, — спокойно ответил Шимон.

Она уставилась на него, но он спокойно продолжал рыться в бумагах, не обращая на нее внимания. Она повернулась на каблуках и вся красная, ни слова ни говоря, вышла.

— Прочти-ка вот это, — Шимон сунул мне пачку вырезок и откинулся на подушку. Вырезки были аккуратно скреплены. Я прочел:

”По заявлению правительства Северной Родезии члены законодательного совета единогласно выступили против иммиграции еврейских беженцев. Ввиду этого исполняющий обязанности губернатора не считает нужным, чтобы Государственный секретарь предпринимал в настоящее время дальнейшие шаги в этом направлении”.

”Заявлено, что массовая иммиграция в португальские колонии категорически запрещена”.

”Бразильский президент Варгас опубликовал декрет, согласно которому ежегодная квота для иммигрантов устанавливается в 2% от общего числа иммигрантов той же национальности за последние 50 лет”.

”Местные профессиональные союзы Кипра подали в муниципальный совет меморандум, требующий запрещения иммиграции на Кипр”.

”Согласно заявлению министра финансов, сделанному на прошлой неделе, эмиграция из стран Европы в Новую Зеландию поощряться не будет”.

”Как стало известно, правительство Южной Африки считает нежелательным изменить существующие ограничительные законы, касающиеся иностранцев. Это делает иммиграцию евреев практически невозможной”.

”Сообщается, что правительство Уругвая дало своим консулам инструкции отказывать в визах евреям, добывающимся эмиграции по расовым или политическим мотивам”.

Шимон смотрел на меня гипнотизирующим, полным горечи взглядом. В глазах его был яд, и я понял, поче-

му медсестра промолчала в ответ на его грубость.

— Имей ввиду, — сказал он, — что это вырезки из одной только газеты и только за последние три месяца. В моем списке имеются распоряжения двадцати стран, запрещающие въезд прокаженным с желтой заплатой. А теперь прочти вот это.

”Германия. Надежные, но не подлежащие разглашению источники сообщают, что в последнее время в государственных сиротских домах проводятся эксперименты по безболезненному уничтожению калек, душевнобольных и детей нежелательного происхождения. Применяется метод инъекций фенола в аорту, введение воздуха в вену с целью создания тромба и камеры с углекислым газом”.

Шимон молча наблюдал за мной.

— Возможно, что это все преувеличение, — сказал я помолчав.

— Нет, ты так не думаешь. Просто в тебе заговорил англичанин, пытающийся отгородиться от действительности. А сейчас почитай это.

Он протянул вчерашнюю газету, которая еще не дошла до Башни Эзры. Я прочел:

”Лондон, 8 декабря. Заместитель министра колоний отнесся с пониманием к просьбе разрешить въезд в Палестину 10 тысячам еврейских детей, чьи родители стали жертвой нацистских преследований, но указал, что правительство Его Величества не в состоянии удовлетворить эту просьбу, чтобы не повредить работе Конференции круглого стола по вопросу о Палестине, которая вскоре состоится в столице”.

”Во время дебатов в Палате лордов было указано, что решение правительства отказать палестинскому еврейскому населению в просьбе о допущении детей в Палестину, равносильно лишению их последнего шанса на спасение”.

Я вернул вырезки.

— Зачем ты их собираешь?

– Мне предложили редактировать брошюру.

– Кто предложил?

Он помолчал, затем ответил с иронической улыбкой:

– Группа Баумана и те, кто с ней связан. Не притворяйся, что это тебя удивляет.

– Нет, меня это не удивляет, – сказал я и добавил:

– Так вот почему ты нас покидаешь!

Шимон вытер со лба пот аккуратно сложенным носовым платком.

– И это все, что ты можешь мне сказать? Я думал, что ты обзовешь меня фашистом, убийцей, подонком и черт знает кем.

– Нет, я этого не сделаю.

Мы помолчали, но я чувствовал, что Шимон за мной наблюдает, и каждое движение на моем лице запечатлевается в его памяти, как на фотопластинке. Затем он сказал:

– События сейчас развиваются быстро. Через несколько месяцев или даже недель нашей группе придется уйти в подполье. Правительство начнет нас сажать и высылать. Тогда мы начнем стрелять и, будь уверен, у нас это получится эффективнее, чем у арабов. Есть у нас кое-какие технические сюрпризы для них.

Он говорил с уверенностью человека, за которым стоит армия.

– И откуда все возьмется?

– Оружие? У нас его много, а будет еще больше.

– Откуда?

– Из-за границы. Подробности ты в свое время узнаешь. Узнаешь много такого, что тебя удивит.

Я ничего не сказал. То, что говорил Шимон, звучало фантастично, но как он это говорил! Его уверенность подрывала мой скептицизм. Как всегда в общении с ним во мне иссякала склонность к критике и появлялась вера.

– Но твое время еще не пришло, – сказал Шимон, и я почувствовал, как возникшая между нами связь обрывается. – Ты нужен на нашей башне из слоновой

кости. Моше прав: надо продолжать работу, пока есть хоть какая-нибудь возможность. Когда ты понадобишься, мы дадим тебе знать.

— Я еще не сказал, что согласен, — ответил я, но Шимон только усмехнулся:

— Думаешь, я говорил бы с тобой так откровенно, если бы не знал, что на тебя можно положиться?

Время посещения больных подходило к концу, и во всей палате люди вставали, топтались возле коек и подолгу прощались. Шимон показался мне обычным больным, которому тяжело остаться в одиночестве. Я почувствовал к нему жалость. Жалость к сильному человеку бывает острее, чем к слабому.

— Ах, Шимон, — сказал я, пожимая его желтые влажные пальцы, — почему мы не можем остаться в нашей башне из слоновой кости? Ты — со своими посадками, я — со старыми сапогами и с Пеписом? Разве это так много?

Шимон убрал руку и сухо ответил:

— Спроси у Бога или у англичан.

— Время истекло, — объявила толстая сестра, но к койке Шимона подойти не посмела.

— На что ты будешь жить в городе? — спросил я, сообразив, что после шести лет работы в коммуне у Шимона не было ни гроша, ни смены белья.

Он пожал плечами:

— Я ведь стану профессиональным убийцей.

Непонятно было, шутит он или говорит серьезно.

— Время истекло, — снова крикнула сестра, глядя на нас.

— Помнишь, Джозеф, как ты сказал мне: "Запомнятся только наши дела. Что мы при этом чувствуем, — для будущего неважно".

— Время истекло!

Я покидал палату последним.

**ДНИ ГНЕВА**  
**(1939)**

*– Говорят, что Ирландия – единственная страна, в которой никогда не преследовали евреев. И знаешь, почему?*

*– Почему, сэр? – спросил Стефен.*

*– Потому что никогда их туда не впускали, – торжественно заявил мистер Дизи.*

*Джеймс Джойс, "Уллис"*



”И царь Вавилона поразил их и побил их у Ривлы в стране Хамат. Так иудеи были изгнаны со своей земли. Храм Бога сожгли, разрушили стены Иерусалима, и пожгли огнем все дворцы, и разбили Божественные сосуды. А тех, кто избежал меча, увели пленными в Вавилон, где они были слугами царя и его сыновей, пока не наступило царствование персов”.

*Книги Царств и Хроник*

”В первый год Кира, царя Персидского, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского; и он повелел объявить по всему царству своему, словесно и письменно: все царства земли дал мне Господь, Бог небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа Его, — да будет Бог его с ним, — и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа, Бога Израилева.

Вот сыны страны из пленников переселения, возвратившиеся в Иерусалим и Иудею... И поставили жертвенник на основании его, так как они были в страхе от иноземных народов. Когда строители положили осно-

вание храму Господню, тогда поставили священников в облачении их с трубами, и левитов с кимвалами. И весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание дома Господня. Впрочем, многие из священников и левитов и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма перед глазами их, плакали громко, но многие и восклицали от радости громогласно. И не мог народ распознать восклицаний радости от воплей плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко.

И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу. И стал народ земли той ослаблять руки народа Иудейского и препятствовать ему в строении. И подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятие их, во все дни Кира, царя Персидского, и до царствования Дария, царя Персидского. А в царствование Ахашвероса написали обвинение на жителей Иудеи и Иерусалима. И во дни Артаксеркса Рехум советник и Шимшай-писец и прочие товарищи их писали одно письмо против Иерусалима. И вот список с письма, которое послали к нему: "Царю Артаксерксу — рабы твои, люди, живущие за рекою. Да будет известно царю, что Иудеи, которые вышли от тебя, пришли к нам — в Иерусалим, строят этот мятежный и негодный город, и стены делают, и основания их уже исправили. Да будет же известно царю, что, если этот город будет построен и стены восстановлены, то ни подати, ни налога, ни пошлины не будут давать, и царской казне сделан будет ущерб".

Царь послал ответ Рехуму-советнику и Шимшаю-писцу и прочим товарищам их: "Мир... и прочее. Письмо, которое вы прислали нам, внятно прочитано предо мною. И от меня дано повеление, — и разыскивали, и нашли, что город этот издавна восставал против царей, и производились в нем мятежи и восстания. Итак, дайте приказание, чтобы люди сии перестали работать, и чтоб город сей не строился, доколе от меня не будет

дано повеление”.

Как скоро это письмо было прочитано пред Рехумом и Шимшаем-писцом и товарищами их, они немедленно пошли в Иерусалим к Иудеям, и сильною вооруженною рукою остановили работу их”.

*Из Книги Эзры*

3

Письменный стол Патрика Гордона-Смита, кавалера Ордена Британской Империи и помощника верховного комиссара правительства Палестины, ничем не отличался от обычных полированных столов красного дерева, какие можно видеть в любом универсальном магазине. Как бы компенсируя его заурядность, из высоких окон временного помещения правительственных канцелярий при гостинице монастыря св. Павла открывался великолепный вид на стены Старого города, построенные султаном Сулейманом Великолепным из огромных, цвета охры, камней, из которых иные, судя по особенностям обработки, сохранились со времен римского владычества и когда-то были частью внешней стены Храма Ирода.

Слегка наклонившись влево, П. Гордон-Смит мог наблюдать прямо со своего кресла пыльную и пахучую, но чрезвычайно живописную мешанину из ослов, верблюдов и арабов перед Дамасскими воротами. Несмотря на резкие крики продавцов лимонада, шипение старого граммофона с террасы ближайшего кафе, звяканье овечьих колокольчиков и непрерывные сигналы машин, в этом зрелище было что-то нереальное, как будто внезапно ожила средневековая гравюра с изображением паломничества в Иерусалим. Это было одно из немногих мест города, которое евреи не успели изуродовать вульгарными современными постройками и которые вообще редко посещались евреями, так как весь арабский квартал к северу от Старо-

го города был нынче для них небезопасен.

П. Гордон-Смит с усталым видом взял с желтого подноса лежащий сверху документ. Это был протест армянской общины против нарушения "статуса кво" в церкви Рождества в Вифлееме, так как после ежегодной уборки завеса, отделяющая православную часть храма, была укреплена с помощью первого верхнего крюка на столбе к юго-востоку от левого спуска к яслям.

По утрам помощник верховного комиссара имел привычку прежде всего разбирать не слишком срочные бумаги с желтого подноса, потом переходить к голубому, а уж после всего заниматься самыми срочными материалами с красного подноса. С годами привычка укоренилась так глубоко, что другой порядок работы показался бы ему эксцентричностью, дурным тоном. Однажды, вынужденный объяснить свои действия — хотя он терпеть не мог объяснений личного характера, попахивающих психологией, — он попытался это сделать. "Полагаю, — сказал он в своей обычной осторожной манере, — что истолковать рационально подобные действия вообще невозможно. Хотя, если вдуматься, все очень просто: о так называемых срочных делах все равно позаботятся, а прочие могут остаться без внимания. Так мать, повинувшись инстинкту социальной справедливости, спешит прежде всего выдать замуж некрасивую дочь".

Хорошенькая переводчица-еврейка, задавшая ему с невинным видом этот несколько вольный вопрос, была озадачена таким логическим финтом. Помощник верховного комиссара внутренне посмеивался. Он-то знал, что в действительности объяснение его поступкам следовало бы искать в далеком детстве, когда он прочно усвоил неписанный закон: неприлично слишком увлекаться чем бы то ни было кроме спорта. Сдерживать свои импульсы стало для него условным рефлексом. По правде говоря, нынешней своей работой он был довольно-таки увлечен, — слабость, которую он успешно скрывал под маской усталости и скуки.

Тем непростительнее было бы ворваться в кабинет, скинуть шляпу и наброситься на важные дела, как лавочник на новые заказы.

Итак, обратиться сначала к желтому подносу, приберегая красный напоследок, было для него в действительности не только проявлением здравого смысла, как он растолковал бестактной переводчице, но также и тех свойств, говорить о которых не подобало, ибо прозвучало бы это слишком претенциозно. Свойства эти были: уважение к традиции, достоинство, манеры. Ценность ритуала возрастала от того, что помощник верховного комиссара проделывал его, находясь в своем кабинете один. В присутствии подчиненных он позволял себе изредка менять порядок работы, ибо вежливость велит нам иногда снисходить до уровня другого человека, чтобы его не обидеть. Приходится же, например, есть пальцами в доме араба и делать вид, что тебе это нравится, или спорить с евреями о юридических тонкостях, не показывая вида, что эти тонкости не имеют никакого значения.

Помощник верховного комиссара взял со стола стальной верблюжий колокольчик, прикосновение к которому каждый раз доставляло ему истинно чувственное удовольствие, позвонил и попросил своего личного секретаря мисс Кларк поискать в подшивках, касающихся распределения прав и обязанностей между различными общинами в Святых местах, документы о "*статус кво*" в церкви Рождества в Вифлееме. Следующий документ, который он взял с подноса, был протестом антисионистской фракции раввината против якобы имеющих место нарушений правил забоя скота со стороны их собратий из просионистской фракции. Едва он прочел протест, вернулась мисс Кларк с нужными документами — отчетом 1920 года арабского заместителя инспектора губернатору Иерусалима сэру Рональду Сторсу. В этом отчете вышеуказанные права и обязанности были замечательно четко определены. Их нарушение приводило раза два в год к кровавым столкновениям между священнослужителями различ-

ных вероучений. Под заголовком "Церковь Рождества, ее уборка" в отчете говорилось:

1. В православной части храма окна, выходящие на юг, могут открываться только на время уборки.

2. Православные могут поставить в армянском приделе лестницу для чистки верхней части придела, начиная с карниза.

3. Армяне имеют право чистить северную часть колоннады, в которой помещается православный амвон, только до карниза.

4. По взаимному соглашению устанавливается нижеследующее:

а/. Православные должны закреплять свой завес на нижнем крюке № 2 у основания колонны, расположенной к юго-востоку от левых ступеней, ведущих к яслям. (Этот пункт помощник верховного комиссара подчеркнул синим карандашом).

б/. Вдоль той же колонны естественным образом должен спускаться католический завес, с просветом в 16 см между ним и завесом православным.

в/. Крюк № 1 должен оставаться неиспользованным. (Этот пункт помощник верховного комиссара подчеркнул дважды).

5. В случае инициативы со стороны правительства в деле уборки любой части храма необходимый инвентарь должен быть также правительственным.

6. Вышеуказанный порядок может быть изменен в случае издания в период, предшествующий следующей годичной уборке, соответствующих официальных документов.

— Армяне правы, сказал помощник верховного комиссара, — дело чистое. Все бы дела были такими!

Мисс Кларк издала один из своих утвердительных возгласов. Она безгранично восхищалась патроном — истерзанным всеми этими ужасными местными сектами, общинами и Бог знает, как их звать, — но всегда спокойным, вежливым и мягким. Чтобы облегчить

его бремя, она старалась работать быстро, прилежно, почти не выдавая своего присутствия и выражая свое мнение главным образом с помощью утвердительных возгласов, в которых только и выражались ее подавленные дисциплиной чувства. Помощник верховного комиссара вскоре привык к этим звукам и воспринимал их как экономичный эквивалент словам "да, мистер Гордон-Смит". Скрытый за этими звуками эмоциональный подтекст он предпочитал игнорировать.

Он продиктовал две короткие записки ко второму секретарю, поручая ему составить проект ответа на армянский протест и пообещать (в шестой или седьмой раз) сделать запрос по поводу убоя скота.

Следующим номером был десяток писем с переводами на английский язык от разных арабских нотаблей и деревенских мухтаров, принадлежащих к умеренной партии Нашашаби. В письмах выражалась лояльность к правительству и просьба о защите от террористических банд. В двух письмах ставился наивный вопрос: справедливы ли слухи, что правительство заинтересовано в арабском терроре как средстве избавления от евреев? Если да, то не прикажет ли правительство террористам, чтобы они прекратили вымогательство денег у арабов? Этот вопрос, однако, относился к военному ведомству и к уголовно-следственному отделу.

Передавая письма мисс Кларк, помощник верховного комиссара на секунду задержался мыслью на своем племяннике, младшем офицере Джимми, который неделю назад в стычке с арабскими террористами, нападшими на еврейское поселение, потерял ногу. Слегка смутившись от того, что позволил личным эмоциям вкратце в дела, он обратился к голубому подносу. Первый документ был отпечатан на знакомом бланке Сионистской экзекутивы и сопровождался знакомой же подписью мистера Гликштейна. Гликштейн просил встречи с Его Превосходительством по поводу репатриации в страну 10 тысяч детей из Германии. Поперек письма энергичным почерком Его Превос-

сходительства было выведено: "Отказать. Дело окончательно решено Заявлением секретаря по делам колоний за № 24 в Палате общин и 8 декабря в Палате лордов".

Помощник верховного комиссара повернулся к мисс Кларк, озабоченно улыбаясь:

— Упорный парень наш мистер Гликштейн, не правда ли?

Мисс Кларк издала свой утвердительный звук, в нем, с одной стороны, выражалось сочувствие шефу, которому Его Превосходительство в очередной раз сплавляет неприятное дело, а с другой — неодобрение по адресу назойливого Гликштейна с его золотыми зубами.

— Напишите, что, к сожалению, Его Превосходительство не может повидать мистера Гликштейна, но что я буду рад с ним поговорить в следующий понедельник в 11 часов.

Переходя к следующему письму, он размышлял о том, что Его Превосходительство зашел слишком далеко в своей неприязни к еврейской общине. В течение года он упорно отказывается встретиться с Гликштейном, а на последний официальный прием никто из общины практически не был приглашен. Правда, Гликштейн — личность невыносимая, а его упорство в деле, решенном на уровне Кабинета, и неполитично, и дурного тона, но также дурно демонстративно грубое отношение к представителям общины со стороны Его Превосходительства. Такое отношение вредит справедливому делу и вызывает нападки на администрацию в Палате общин и в Женеве. А уж о нападках мистера Гликштейн и его товарищи позаботятся! Однако...

Следующим документом был обзор вчерашней еврейской и арабской прессы, кишущей, как всегда, грубыми неточностями и ядовитыми наскаками одних на других, на соперничающие фракции внутри каждого лагеря и, главным образом, на правительство. Редакционные статьи с их тирадами он пропустил и стал читать сообщения, содержащие факты.

”Нам стало известно, — писала ведущая еврейская газета, — что в настоящее время в государственной больнице в Иерусалиме не имеется ни одного постоянного врача-еврея. Сообщается также, что число евреев-чиновников в Медицинском управлении весьма незначительно. Английская администрация предпочитает говорить с чиновниками-евреями по-арабски. Один из начальников требует, чтобы с ним здоровались по-арабски, а не по-еврейски”.

Эту страницу расторопная мисс Кларк по своей инициативе снабдила заметкой: ”Вот факты, полученные от Медицинского управления: В государственной больнице Иерусалима четверо из десяти штатных врачей — евреи. Двадцать одна из пятидесяти трех медсестер — еврейки. Все три члена больничной канцелярии — евреи. Из семидесяти пяти человек медицинского персонала управления тридцать один — евреи. Из общего числа медсестер триста тридцать одна, то есть 38% — еврейки”.

— Прекрасно, — воскликнул помощник верховного комиссара, — пошлем эту поправку в газету.

Минуту он сидел неподвижно, положив руки на подлокотники и глядя в окно. За стеной Старого города через базар тянулась улица царя Соломона\*, шедшая к Мечети Омара, главный проповедник которой, шейх Абдул аль-Хатиб, был убит недавно экстремистами из сторонников муфтия.

— Как ничтожны все эти сообщения, — проговорил он с досадой.

Мисс Кларк рискнула высказаться:

— Иногда сомневаешься, можно ли их вообще цивилизовать.

Что подразумевается под словом ”цивилизованный”, она бы затруднилась объяснить, но зрительно представляла это себе отчетливо: ленч из чая, двух булочек с маслом и ломтика сыра в угловом ресторане

\*Ошибка автора. Правильно — улица царя Давида.

на набережной. Слышится "Венгерская рапсодия" Листа в исполнении женского оркестра.

Откинувшись в кресле, помощник верховного комиссара задумался.

— Вам не кажется, мисс Кларк, что в здешнем воздухе слишком много святости? Между тем, выносятся она только в слабых дозах, вроде кристаллов соли для ванны. Слишком большая концентрация — это отравка.

Не слыша обычного утвердительного звука, помощник верховного комиссара сообразил, что мисс Кларк шокирована. Он, однако, был уверен в ее безграничной снисходительности и спокойно обратился к подносу с бумагами, требующими срочного рассмотрения. Главным документом на этом подносе был секретный отчет секции по еврейским делам при политическом отделе уголовно-следственного управления. Отчет касался деятельности Эцеля. Эта крайне националистическая воспизированная организация значительно усилилась после присоединения к ней так называемой группы Баумана. По-видимому, изменилась также и тактика организации. До сих пор она в основном занималась ввозом в страну нелегальных иммигрантов из Восточной Европы и совершала акты возмездия против арабов. Но на прошлой неделе ей удалось установить коротковолновый передатчик, работающий по два часа в день на волнах 37,3. Радиостанция, очевидно, была передвижной, так как передачи засекались в разные дни в разных местах, от Тель-Авива до Галилеи. Главным диктором была девушка с приятным контральто и сефардским акцентом. Содержание передач распределялось примерно поровну между нападками на якобы антисемитскую политику мандатного правительства и обвинениями Хаганы в бездействии. В начале и конце исполнялся национальный гимн, а сами передачи через каждые пять минут прерывались фразой: "Твоих братьев убивают в Европе. Что ты сделал, чтобы им помочь?"

В отчете отмечалось, что произошел значительный сдвиг от антиарабской к антибританской пропаганде

и намекалось на возможность террористических действий против администрации. В приложенном списке из 30 человек, подозреваемых в том, что они состоят членами Эцеля, упоминался некий Шимон Штарк из кибуца Башня Эзры.

— Ну и ну! — воскликнул помощник верховного комиссара и спросил мисс Кларк, что она об этом думает.

— Я думаю, что это — позор, — резко ответила мисс Кларк, и ее бледные щеки слегка зарумянились от возмущения. — Мы пустили этих людей в страну, защищаем их от арабов, и вот что получаем вместо благодарности!

— Верно, — сказал помощник верховного комиссара и в первый раз сообразил, что его племяннику Джимми придется отказаться от соревнований по теннису. — Верно, мисс Кларк, но не совсем верно.

Несколько мгновений он рассеянно на нее смотрел. Опустив глаза, мисс Кларк думала, что вид у него сегодня совсем измученный.

Через несколько секунд помощник верховного комиссара ожил снова, как будто внутри него перезажились иссякшие было батарейки.

— Верно, мисс Кларк, но не совсем верно, — повторил он и пожалел про себя, что не способен смотреть на вещи так просто, как она. Потому что, как бы он на них ни смотрел, для исхода дела это не имеет никакого значения.

Вздохнув, он наконец обратился к красному подносу. Сверхнеотложное сообщение было только одно, и он заранее знал, что оно собой представляет: верховный комиссар просил набросать проект предложений для готовящегося в Лондоне сообщения правительства о политике в Палестине.

— Благодарю вас, мисс Кларк, больше вы мне не понадобится. — И склонившись над столом, приступил к работе.

— Напомнить вам о времени? — спросила мисс Кларк перед уходом. — У вас к обеду гости.

— Да, позвоните мне, пожалуйста, без четверти час,  
— попросил он, не отрываясь от бумаги.

Мисс Кларк хорошо знала, что, погрузившись в работу, он времени не замечает.

4

Дик Метьюс вторично приехал на Ближний Восток через полтора года после первого визита. Успех его последней книги "Одряхлела ли демократия?", опубликованной несколько месяцев назад, позволил ему бросить газету и сосредоточиться на работе в журнале. Заказанная ему серия статей должна была покрыть расходы на поездку и составить основу следующей книги.

Идя по улице Пророков своей тяжелой поступью и испытывая приятное чувство от двойной порции арака, выпитого в баре гостиницы "Кинг Дейвид", он заметил молодого рабочего в шортах, кожаной куртке на молнии, какие носят в киббуцах, и с непокрытой головой. Его насмешливое обезьянье лицо показалось Метьюсу знакомым. Молодой человек шагал посреди улицы и разговаривал сам с собой. Губы его шевелились, а сходящиеся на переносице брови прыгали вверх и вниз.

Метьюс остановился на краю тротуара и на горланном мичиган-иврите, с остановкой после каждого слова, позвал:

— Шма-на, бахур, амод!\* Я тебя откуда-то знаю!

Молодой человек остановился, секунду смотрел на Метьюса отсутствующим взглядом, потом улыбнулся:

— Джозеф из Башни Эзры, — сказал он на прекрасном английском. — Итак, вы опять к нам приехали и даже выучились ивриту!

— Всего несколько слов. Полюбил я вашу чертову страну.

— Какую ее половину — нашу или арабскую?

\*Послушай, парень, остановись!

- Господи, нельзя ли обойтись без политики хоть в первую минуту встречи?
- Нельзя. И вы бы не обошлись, живи вы здесь.
- О чем это вы толковали сами с собой? Твердили какой-нибудь манифест?
- Нет, — наш месячный дефицит. Я сейчас нечто вроде киббуцного казначея.
- Так вот почему вы околачиваетесь в Иерусалиме, вместо того чтобы возделывать галилейскую землю!
- Именно поэтому.
- А куда сейчас направляетесь?
- В отдел поселений при исполнительном комитете. Попытаюсь получить у них гарантийное письмо для Рабочего банка, где рассчитываю взять шестимесячную ссуду в 100 фунтов. Из них 50 заплачу Сельскохозяйственному институту в счет нашего долга в 250 фунтов. Срок платежа истек вчера.
- Ну и ну! А что вы собираетесь делать с остальными пятьюдесятью?
- Одолжить их нашему казначею Далии, которая взамен обещала мне долговую расписку на 300 фунтов, гарантированную молочным кооперативом "Тнува". По этой расписке я надеюсь получить по крайней мере 75 фунтов наличными от Рабочего банка. На эти деньги я рассчитываю купить подержанный тракторный мотор, который продает мошавник из-под Реховота, судя по объявлению в газете "Давар".
- А когда вы обанкротитесь?
- Никогда. Наоборот, — мы процветаем. Мы открыли новый источник воды для орошения шестидесяти дунамов. Но в стране слишком много кредитных операций и мало наличных денег, так что приходится изворачиваться.
- Хотелось бы узнать обо всем этом поподробнее. Как насчет того, чтобы завтра вместе пообедать в "Кинг Дейвид"?
- В таком вот виде? Другой одежды у меня здесь нет, — сказал Джозеф, прибавив про себя: "Ни здесь, ни в другом месте".

— Кого это волнует? Или у вас комплексы по поводу одежды?

Джозеф, улыбнувшись, покачал головой.

— Ладно, приду, — согласился он после минутного колебания.

Они попрощались, но пройдя несколько шагов, Джозеф вернулся.

— Послушайте, — замялся он, — вы приехали из-за границы, знаете то, что нам здесь не известно. Каковы, по-вашему, наши шансы в политическом отношении?

Секунду Метьюс смотрел на него в упор.

— Плохие шансы. Чемберлен вас продает.

Джозеф постоял молча и пошел.

Помощник верховного комиссара вернулся домой около часу дня. Старое одноэтажное арабское здание представляло собой каменный куб с толстыми стенами и маленькими окнами, но внутри его было прохладно и уютно. Входная дверь вела в просторный холл с выложенным плиткой полом, часть которого была покрыта персидским ковром. Вдоль стен стояли диваны и кресла, в живописном беспорядке по залу были расставлены низкие столики с инкрустацией. Огромный камин из кирпича не казался здесь неуместным, он приятно сочетался с общей картиной. Посреди комнаты, похожая на статуэтку, стояла леди Джойс, представляя мужу лоб для традиционного поцелуя. По ее улыбке помощник верховного комиссара сразу понял, что у жены мигрень. Как многие бесплодные женщины, она обращала много внимания на свои недомогания, к тому же здешний климат действовал на нее плохо.

Слуга-араб подал поднос с напитками, на нем же лежали три письма: напечатанное по-английски и на иврите приглашение на выставку тель-авивского художника, второе — по-английски и по-арабски — приглашение от владельцев цитрусовых плантаций в Яффе. Третье было короткой запиской, напечатанной на простой бумаге и только на иврите. Иврит помощник верховного комиссара едва знал, поэтому он со-

брался было положить записку в карман, чтобы дать ее позже перевести, как вдруг в глаза ему бросилось слово "мавет"\*; напечатанное в разрядку. Он достал с полки словарь, опустился в кресло и начал разбирать письмо, посасывая свой арак.

— Зачем ты возишься с этим? — спросила Джойс.

— Занятое послание! — ответил помощник верховного комиссара, ища очередное слово в словаре. Через две минуты он кончил переводить.

— Вот послушай, — сказал он, и стал читать, осторожно держа записку за уголки:

"Помощнику Верховного комиссара, Иерусалим.

Полицейскому агенту и провокатору Ицхаку Бен-Давиду, проживающему по Бухарской улице, № 113 в Хайфе неоднократно посылались предупреждения, в которых ему предлагалось прекратить предательскую деятельность.

Ввиду того, что эти предупреждения игнорировались, руководство Иргун цваи леу. и, выслушав представленные ему свидетельские показания, признало Ицхака Бен-Давида виновным в измене наряду и приговорило его к смерти.

Приговор будет приведен в исполнение при первой же возможности".

— Да, забавно, — заметила Джойс.

— Не слишком забавно. Эти ребята не шутят. В результате того, что они называют "ответными действиями", они убили довольно много арабов.

— Арабы — другое дело. Но человека, работающего на нас, они убить не посмеют.

— Хотел бы я знать... — начал он, но тут вошел слуга, который доложил, что явились первые гости, — профессор Шенкин из Еврейского университета вместе с супругой.

Профессор Шенкин, пожилой, небольшого роста человек с козлиной бородкой, уже направлялся к хозяйке дома, кланяясь и протягивая руку. Его жена

\*Мавет (ивр.) — смерть.

Ревекка, приземистая и смуглая, происходила из старинной иерусалимской семьи, которая проживала в стране больше ста лет. Ее отец, булочник из Старого города, нажил состояние на спекуляциях недвижимостью и владел несколькими домами в квартале Меа Шеарим. Он был набожным евреем и горячим противником политического сионизма. Дескать, в старые времена при турках, когда евреев было здесь всего несколько тысяч — в большинстве своем старые, святые люди, приехавшие в страну умирать, — мусульмане относились к ним терпимо. Ну, бывали изредка погромы, но разве их можно было назвать настоящими погромами? Зато сейчас, с приходом сионистов, с их разговорами о еврейском государстве, арабы ожесточились. Национальный фонд невероятно затруднил спекуляцию землей, безбожная молодежь в киббуцах оскверняет своим присутствием землю, а рабочие в пекарнях организовались в профсоюзы. Госпожа Шенкин в глубине души соглашалась с отцом, но никогда не спорила со своим мужем, выходцем из Бухареста и сионистом, хотя и умеренного толка. Она гордилась тем, что была женой профессора университета, а тот факт, что деньги ее отца сыграли не последнюю роль при заключении брака, ее ничуть не беспокоил. Разве ученый женился бы на дочери булочника, если у нее не было бы денег? В благодарность она родила ему пятерых детей, и их брак был очень счастливым.

Когда с приветствиями было покончено, госпожа Шенкин к своему смущению обнаружила, что оказалась у камина в обществе леди Джойс Гордон-Смит. Мужчины прошли в другой конец комнаты. Слуга предложил ей выпить, но она поспешно отказалась:

— Я не пью. Я не модная женщина, — пробормотала она на ломаном английском.

— Зато я пью, — лениво заявила Джойс.

Прислонившись к камину, она разглядывала макушку госпожи Шенкин, пытаясь определить, носит ли та парик. Сквозь жидкие, седеющие пряди волос госпожи Шенкин можно было разглядеть бледную ко-

жу черепа. Нет, парика она не носила.

— Мы только что вернулись из Тель-Авива, — сказала госпожа Шенкин, чтобы завязать разговор, — навещали нашего второго сына, который учится в гимназии. Вы часто бываете в Тель-Авиве?

— Никогда, — ответила Джойс.

В Тель-Авиве она была всего раз, и уродливая архитектура этого еврейского города, его знойные улицы, его переполненные потной и шумной толпой лавочки показались ей так отвратительны, будто она вывалилась в муравейнике. Она любила ходить по арабскому базару, хотя там было еще больше толпы и еще больше запахов. Но то был настоящий Восток, а Тель-Авив — это просто средиземноморский Ист-Энд, помесь Уайт-чепеля и Монте-Карло.

— Разве вы не любите купаться в море? — спросила госпожа Шенкин. Сама она никогда не плавала в море, но справедливо решила, что Джойс должна была бы плавать.

— На море в Тель-Авиве слишком много народу.

— Да, в Тель-Авиве страшные толпы. Скоро там будет сто пятьдесят тысяч жителей, а двадцать лет назад не было никого. — Несмотря на свой антисионизм, она разделяла общееврейскую гордость этим городом.

Джойс не ответила. Она медленно пила сухой мартини, думая о своем недомогании. Эти толстые еврейки, наверное, много знают о лечебных травах и всяких таких вещах. Но как ее об этом спросишь?

В поисках темы для разговора госпожа Шенкин вытащила из сумочки фотографию и показала Джойс:

— Это мой сын.

— Очень мил, — сказала Джойс, едва глянув на фотографию. Однако она должна была признать, что этот стройный, светловолосый мальчик был в самом деле исключительно хорош. Как удалось двум безобразным людям произвести его на свет, было непостижимо.

— Он гений, — заметила госпожа Шенкин небрежно, — он переводит стихи Пушкина на иврит.

— Замечательно! — сказала Джойс.

-- Да, он переводит Пушкина, хотя не знает ни слова по-русски.

Леди Джойс внезапно фыркнула в свой коктейль, представив, как расскажет в клубе о еврейском вундеркинде, который переводит Пушкина, не зная русского. Она опустила стакан:

— Как же ему это удастся? — спросила она с некоторой, впервые появившейся теплотой в голосе.

-- О, это очень просто! Его друг рассказывает ему содержание, а он пишет на эту тему стихи.

Слуга доложил о мистере Ричарде Метьюсе, и в комнату ввалился довольно неряшливо одетый и не очень трезвый американец. Познакомившись с Метьюсом в его прошлый приезд на обеде у Его Превосходительства, Джой сразу же его не влюбила. Он был неуклюж, невежлив и самоуверен, — настоящий вульгарный американец. Однако за последние два года он стал довольно известен, а жене помощника верховного комиссара приходится принимать всяких людей. Сегодняшний вечер был организован ради него, а Шенкины приглашены потому, что в американских газетах часто пишут, будто к евреям здесь плохо относятся. Для равновесия Джойс пригласила также Кемаля Эффенди эль-Шалаби, редактора умеренного арабского еженедельника, но тот, как всегда, опаздывал.

Стояли у камина с бокалами в руках и с томительным ощущением бессмысленности происходящего, характерным для всех иерусалимских званых вечеров. Профессор Шенкин рассказывал путанную историю о раскопках у Мертвого моря и объяснял, почему они не удалась. Время от времени помощник верховного комиссара с дружелюбной миной задавал какой-нибудь невинный вопрос, который тут же выявлял невежество профессора в археологии. Шенкин, однако, вовсе не был специалистом в области археологии, он был профессором философии, но никому не было известно, что именно было предметом его философских изысканий. За всю жизнь он опубликовал в еврейских журналах две работы: "Спиноза и неоплатоники" и "Тал-

мудические влияния в германском средневековом мистицизме”. Ходили слухи, что кафедру свою он получил благодаря родственнику в Америке, который был членом правления университета.

Наконец, прибыл Кемаль Эффенди – розовощкий, жизнерадостный и элегантный. Он вручил хозяйке букет роз и с чрезмерной сердечностью поздоровался с Шенкиным, которого видел прежде только один раз, восемь лет назад на официальном приеме. Снова принесли напитки. Метьюс пил из огромного бокала виски с содовой. Кемаль потягивал маленькими глотками арак, изящно отставив мизинец. Профессор мусолил стакан сладкого тягучего местного вермута. Глядя на него, Джойс с содроганием вспомнила званый обед у Гликштейнов, на котором к рыбе подали сладкий кармель в ликерных бокалах.

Гости перешли в столовую. Джойс чувствовала легкий запах горелого. Плов подгорал, что случалось всякий раз, когда в дом приглашались евреи, хотя, каким образом повар-араб заранее узнавал об этом, – оставалось тайной. Впрочем, ей все они осточертели.

Кемаль Эффенди оказался в центре внимания. Спровоцированный каким-то вопросом Метьюса, он пустился рассуждать о политике.

– Муфтий погубит страну! Сколько раз мы предостерегали наших английских друзей против махинаций клана Хуссейни! Говорили им, что муфтий использует свое положение и вверенные ему фонды для финансирования своих террористических банд. В каждой деревне у него агенты, в каждой мечети по его приказу мулла проповедует ненависть. Увы, нам не верили! – Он шутиливо погрозил пальцем помощнику верховного комиссара: – Вы не верили нам и поддерживали Хадж Амина, пока он не предал вас и не залил страну кровью. Тогда вы дали ему под самым вашим носом скрыться в Сирию и продолжать свою враждебную деятельность на итальянские деньги.

Помощник верховного комиссара с улыбкой занялся подгоревшим пловом. Он был похож на добродуш-

ного школьного учителя на пикнике среди слишком расшалившихся учеников.

— Правда ли, что он бежал из Мечети Омара в женской одежде? — пропищала госпожа Шенкин.

— Неважно, как он бежал. Для меня важно, что его наемники убили моего двоюродного брата Муссу Эффенди, Фахри Бея Нашашиви и шейха Абдаллу Хатиби Хадж Амин, клан Хуссейни и вся их партия — это бедствие. Они убивают и шантажируют всех, кто против них, и подстрекают к кровопролитию.

Арак и вино типа бургундского из Ришон ле-Циона подействовали на Кемалья Эффенди. Лицо его раскраснелось больше обычного, голос гремел.

— Вы рассуждаете почти как сионист, Кемаль Эффенди, — заметил ему помощник верховного комиссара, которого забавляли разглагольствования Кемалья.

— Нам не нужны Хуссейни, чтобы бороться с сионизмом. Против сионистской опасности все арабы едины.

Вспомнив о Шенкиных, он повернулся к профессору с широкой улыбкой:

— Не примите за личный выпад. Мы говорим о принципах, а друзья остаются друзьями.

Профессор, прилаживая салфеточку под козлиной бородкой, с готовностью откликнулся:

— В каждом лагере есть свои экстремисты и смутьяны. У вас — муфтий и его сторонники, у нас — наши молодые фанатики. Без них арабы и евреи могли бы мирно жить вместе, как тысячу лет назад в Испании.

— Вот именно, — заметил с невинным видом помощник верховного комиссара, — вопрос только, на каких условиях.

— Условия! — Кемаль Эффенди неожиданно повернулся к хозяйке, которая, сидя в напряженной позе, ожидала очередного приступа боли. — Если вы, мадам, оказали мне честь, пригласив в свой дом, разве я спрашиваю об условиях? Разве, пользуясь вашим гостеприимством, я стремлюсь стать в доме хозяином? Нет,

мадам, я к этому не стремлюсь. То же и с нашими еврейскими друзьями. Они пользуются нашим гостеприимством — ахлан васахлан — добро пожаловать! Будем братьями. Гостей мы примем с распростертыми объятьями!

— Гости-то платные, — пробормотал Метьюс, но, к счастью, Кемаль Эффенди его не расслышал. Зато это слышал помощник верховного комиссара, который взял себе еще порцию плова.

— Да, мы их примем, как братьев, — продолжал Кемаль Эффенди, — как в славные дни Испанского халифата, по справедливому замечанию профессора. Что касается условий, то если они захотят завладеть нашим домом, мы этого не позволим.

— Ваша очередь, профессор, — подмигнул Метьюс.

— Я лично понимаю точку зрения нашего друга. Я всегда был против провокационных разговоров о еврейском государстве. Эти разговоры только расстраивают наших арабских друзей. Для меня Сион — это символ. А государство — это просто эгоистичный, старомодный предрассудок.

Кемаль Эффенди закивал:

— Как это справедливо сказано!

— Наши молодые фанатики стремятся к еврейскому большинству, — продолжал профессор. — Но разговоры о большинстве — сплошная провокация. Что значат цифры? Важен дух. В духе дружбы и понимания мы должны подходить к нашим арабским друзьям. Евреям чуждо насилие. Наша историческая миссия...

— Чушь, — проговорил Метьюс отчетливо.

На него уставились, но он был занят пловом.

— Не желаете ли еще немного? — прозвучал в наступившей тишине голос Джойс. — Хотя, боюсь, он несколько...

— Да, — с серьезным видом подтвердила госпожа Шенкин, — плов подгорел. С нашей прислугой тоже случается. Все из-за примусов.

— Ужасная система, — ледяным тоном заметила Джойс.

Очистив тарелку, Метьюс повернулся к профессору:

– Слушайте, вы прибыли сюда для чего, – чтобы построить страну или еще одно гетто?

– Я приехал, – ответил профессор, ерзая на стуле, – чтобы преподавать в Еврейском университете.

– К черту ваш университет! Людям прежде всего нужна безопасность, потом какой-то доход и свободное время, а потом уже следует думать об университете. У вас же все наоборот.

– По этому вопросу могут быть разные мнения, – сказал Шенкин.

– Не может быть разных мнений, – заявил Метьюс, опрокидывая стакан. – От вас, евреев, можно с ума сойти. Хочешь вам помочь, но вы все затрудняете.

Кемаль Эффенди захихикал:

– Мы в таком же положении! Хотим помочь бедным людям, а чем они нам платят? Хотят стать хозяевами в нашем доме.

– Ах, бросьте болтать о доме! Последние 500 лет дом этот принадлежал не вам, а туркам!

Кемаль Эффенди покраснел:

– Большинство населения здесь всегда были арабы. Мой род, например, очень старый, он происходит прямо от Шалаби, одного из военачальников Магомета. А Хуссейни и Нашашаби – только выскочки.

– Мой отец – Кохен. Мы происходим от древних священнослужителей, – пропищала госпожа Шенкин.

Джойс резко поднялась. Она чувствовала, что больше не выдержит, и с нетерпением ждала, пока Метьюс доест последнюю ложку мороженого. Видя, что госпожа Шенкин совсем не знает английских обычаев, Джойс объяснила:

– Мужчины присоединятся к нам позже для кофе. И, улыбаясь, выплыла из комнаты в сопровождении госпожи Шенкин, как королева с недостойной ее свитой.

Четверо мужчин секунду постояли, затем снова сели, и помощник верховного комиссара попытался переменить тему разговора:

— Надвигается хамсин. Моя жена чувствует его за сутки.

— Хамсин — это местная разновидность сирокко? — спросил Метьюс.

— Да, только еще зловреднее.

— От настоящего хамсина можно сойти с ума, — прибавил Кемаль Эффенди.

— В таком случае, в этой стране, как видно, всегда хамсин.

Кемаль Эффенди громко расхохотался. Профессор погладил бороду:

— "Когда дует восточный ветер, пастушьи луга погружаются в траур и вершина Кармель чахнет", — процитировал он Библию.

— Однако этот же иссушающий восточный ветер называют Божьим дыханием, поэтому, если мы все сумасшедшие, то это святое безумие, — возразил помощник верховного комиссара.

— Я полагаю, что к здешнему безумию больше причастен не Господь Бог, а ваше министерство колоний, — заметил Метьюс.

— И ваш лорд Бальфур, — прибавил Кемаль Эффенди.

— Мы вернулись к политике! Налить портвейна, ликера?

Все отказались, кроме Метьюса, который взял большой бокал бренди.

— А чем плох старик Бальфур? — спросил он, повернув свою большую косматую голову к Кемалю Эффенди.

— Он отдал наш дом, — сказал Кемаль, любивший придерживаться одной метафоры.

— Снова чушь. — Метьюс попробовал бренди и одобрил его. — Никогда здесь не было никакого дома. А была пустыня, вонючие болота и больные сифилисом феллахи. Вы были париями Ближнего Востока, а теперь вы самая богатая из арабских стран. Веками численность вашего населения падала, потому что половина младенцев умирала от грязи в колыбели, а с тех

пор, как пришли евреи, население удвоилось. Ни дюйма вашей земли они не украли. Они забрали только вашу малярию, трахому, детские болезни и вашу бедность.

— Ну, ну, мистер Метьюс, — помощник верховного комиссара напустил на себя усталый вид, хотя в глубине души забавлялся, — это слишком сильно сказано и не слишком справедливо.

Кемаль Эффенди вскочил, задыхаясь и не находя слов от возмущения.

— Теперь нам все ясно! Вы явились сюда гостем, объявляете себя американским журналистом, но на самом деле вы один из тех, кто... — Он яростно потер указательный палец о большой, на лице его появилось весьма неприятное выражение.

— О да, — спокойно сказал Метьюс, — я один из сионских мудрецов.

— Полагаю, что пора присоединиться к дамам, — заявил помощник верховного комиссара. Профессор поспешно поднялся, но Кемаль Эффенди не обратил на него внимания.

— Мне безразлично, кто вы такой, -- кричал он, — вы приезжаете к нам как гость и вы же нас оскорбляете. Вот что мы получаем за гостеприимство!

— Бросьте, мистер Эффенди. Я не ваш гость. Я за себя плачу, а вашего разрешения не спрашивал.

— А мне плевать на то, что вы платите! И плевать на их больницы и школы! Это наша страна — понятно? Не нужны нам иностранные благодетели и покровители. Нам нужно, чтобы нас оставили в покое — понятно? Мы хотим жить, как нам нравится, без иностранных учителей, иностранных денег, чужих нравов, снисходительных улыбок и похлопываний по плечу. И без их женщин, бесстыдно виляющих задами в наших святых местах. Не хотим их меда и их жала — понятно вам? Ни меда, ни жала! Расскажите им об этом в вашей Америке. Если их выбрасывают из других стран, — это очень плохо, очень жаль. Очень, очень жаль, но это не наше дело. Если кто-нибудь из них хочет сюда приехать —

тысяча, две тысячи, — добро пожаловать. Но тогда пусть знают, что они в гостях, и ведут себя соответственно. Иначе — к черту. Халлас. В море — и конец. Коротко и ясно. Передайте им.

Наступило неловкое молчание. Кемаль Эффенди вытирал лоб, а помощник верховного комиссара высунулся над группой с видом огорченного фламинго. Неожиданно Метьюс сказал:

— Я понимаю вашу точку зрения, Кемаль Эффенди. Полагаю, что вы неправы, но неправы по-своему.

Помощник верховного комиссара бросил на него любопытный взгляд, казалось, он собирался что-то сказать, но промолчал. А Кемаль Эффенди безо всякого перехода оглушительно расхохотался:

— О-о! Неправ по-своему! Это очень глубокое замечание, мой друг! — Он одобрительно щелкнул языком, схватил Метьюса за руку и затряс ее. — Не обижайтесь, мистер Метьюс, мы здесь легко возбуждаемся. Климат такой, знаете ли, хамсин.

И они отправились к дамам в хорошем настроении, все, кроме профессора Шенкина, который брел по коридору, задумчиво склонив голову на бок и ведя пальцами по стене.

## 5

Шенкины скоро ушли: у них только что родился третий внук, и им надо было посетить невестку в родильном отделении Хадассы. Через несколько минут удалился и Кемаль Эффенди. Метьюс остался, попросив помощника верховного комиссара уделить ему четверть часа для неофициального разговора. Джойс ушла в комнату и прилегла. Хамсин усиливался. Это отражалось на нервах.

— Хотите сигару? — предложил помощник верховного комиссара, когда они остались вдвоем. Он опустился в свое любимое кресло, и выражение усталости исчезло с его лица.

— Ну вот, мистер Метьюс, — сказал он, — сегодня вы имели возможность ощутить атмосферу этой маленькой страны. А ведь и профессор, и Кемаль Эффенди — умеренные люди, учтите.

— Профессор-то безусловно умеренный. Считаю, что силы были слишком неравны.

Помощник верховного комиссара улыбнулся:

— Возможно. Но вы ведь не ожидали, что для равновесия сил я приглашу еврейского террориста? Для меня это было бы интересно, но жена дорожит мебелью.

Метью долил в полупустой стакан бренди с содовой:

— Ваш хамсин здорово действует. — Он опорожнил стакан и с легким звоном опустил его на инкрустированный столик. — А теперь скажите мне прямо, господин верховный комиссар... — Его тяжелое тело качнулось вперед: — Почему вы их продаете?

— Простите...

— Бросьте. Не бойтесь ничего. Это останется строго между нами, господин верховный комиссар.

— Помощник, — поправил его тот. Он явно рассердился, хотя и продолжал улыбаться. — Можно узнать, что вы подразумеваете под словом "продавать"?

— Бросьте, — повторил Метьюс, растягивая каждую гласную до невозможности. Казалось, что массивный бык старается раздражить изящного матадора. — Вы ведь читали отчеты Лиги Наций? Из них ясно видно, что вы подстрекаете арабов против евреев, чтобы покончить с сионизмом.

Помощник верховного комиссара стряхнул пепел с сигары с осторожностью врача, занятого серьезной операцией. Он подумал, что не сможет навестить в воскресенье племянника Джимми в больнице, так как обещал присутствовать на открытии выставки цветов в Тель-Авиве.

— Милостивый государь, — сказал он, — я искренний поклонник евреев. Они — лучшие в мире торговцы, независимо от того, что они продают: ковры, марксизм, психоанализ или собственных пострадавших

в погромах младенцев. Им ничего не стоит обвести вокруг пальца таких доброжелательных людей, как профессор Раппард и других членов Женевской мандатной комиссии. Так же, как и членов наших обеих палат, если это понадобится. Если согласиться, что фантастические обвинения против нас справедливы, как вы объясните, что двести британских солдат были убиты в борьбе с арабскими мятежниками? Рассуждая о нашей политике, не следует ли помнить, что солдаты эти защищали жизнь и собственность евреев?

— Душещипательные разговоры! — ответил Метьюс, наливая без приглашения свой стакан, и подумал: "Я доведу этого самодовольного типа, даже если кончится тем, что его Ахмед или Махмуд выбросит меня отсюда". — Год назад, когда я был здесь впервые, я видел банду арабских головорезов, сторонников вашего муфтия, швырявших камни в старых евреев и во все горло орущих: "Правительство за нас!" Вы будете это отрицать, господин верховный комиссар?

— Помощник, — поправил тот. — Конечно, я не буду этого отрицать. Естественно, что хулиганы хотят уверить других, что правительство на их стороне. Так же, как они хотят, чтобы верили, будто евреи подбрасывают в Мечеть Омара дохлых свиней. Но не слишком справедливо возлагать на нас ответственность за каждый слух, пущенный на базаре.

— Ну нет, вам не удастся так просто от меня отделаться! Арабы верят, что вы одобряете убийство евреев только потому, что все ваше поведение дает им для этого основание. Двадцать лет вы поддерживали муфтия, хотя вам были известны его дела. Я прочел все 400 страниц отчета вашей королевской комиссии, обвиняющей администрацию в поощрении арабского терроризма. Отчет этот никак нельзя назвать еврейской пропагандой. Он напечатан в государственной типографии. Я знаком с одним из парней в вашей разведке, который объезжал в своей машине арабские деревни в районе Назарета и убеждал не продавать евреям землю, объясняя, что правительство в этом не

заинтересовано. Я знаю также, что англичане продавали оружие сирийским мятежникам. Понятно, что вы лично за это не отвечаете, но вам следовало бы поднять скандал и остановить романтических маменькиных сынков из ваших университетов, которые, переодевшись бедуинами, учиняли беспорядки. Я встречал кое-кого из них, и если бы я имел влияние в вашем правительстве, я бы выпорол их и послал обратно в колледж. Будем откровенны, господин верховный комиссар, вы хотели беспорядков, и вы их получили, а теперь жалуетесь, что убивают английских солдат. Вам следовало бы уничтожить арабские банды не ради евреев, а ради вас самих, потому что эта страна — стратегический центр Британской империи, и сна нужна вам. При этом вы чертовски мало сделали, чтобы защитить еврейских поселенцев, которых предоставили самим себе и сажали в тюрьму за то, что у них было оружие, необходимое им для самозащиты. — Он вынул из кармана потрепанную записную книжку. — Вот отрывок из доклада Королевской комиссии, страница 201: "Сейчас ясно, что не был выполнен элементарный долг, — позаботиться об общественной безопасности. Несомненно, что евреи имеют полное право жаловаться на отсутствие безопасности". Нет, господин верховный комиссар, вам не удастся так просто от меня отделаться. Разговоры о еврейской благодарности сгодятся для вашего дутого профессора и ему подобных, но не для беспристрастного наблюдателя.

Он допил стакан и подумал: "Если и это его не проймет — он просто дохлая рыба".

— Беспристрастный наблюдатель, — это, конечно, вы, господин Метьюс?

— Полагаю, что я достаточно беспристрастен. Я не еврей, и у себя дома я их так же не любил, как и все.

— Но теперь вы пересмотрели свои взгляды?

— Пожалуй, если вам угодно.

— Как видно, наш красноречивый мистер Гликштейн повлиял на вас.

— К черту Гликштейна! Он той же породы, что и

профессор. От них воняет гетто.

— Могу я узнать, что заставило вас так сильно изменить свои взгляды?

— Можете. Я видел их поселения. Я был в долине Иордана и в Галилее, в долине Изреэля и в болотах Хулы. Вот это парни!

— Разделяю ваше восхищение. Но не кажется ли вам, что вы все-таки их идеализируете, так же, как некоторые люди, которые вам не по вкусу, идеализируют арабов?

— Нет. Я не заметил, чтобы за последнюю тысячу лет арабы от Танжера до Мекки создали что-нибудь стоящее, кроме порнографических открыток и кабаре.

Помощник верховного комиссара улыбнулся:

— А вам не кажется, что народ может хранить определенные ценности и особый образ жизни и не выражать это в эффектных достижениях?

— Может быть. Но не об этом речь. Меня не так легко сбить, господин комиссар. Мы обсуждаем не жизненную философию, а политику вашего правительства, которое предает евреев.

Помощник верховного комиссара с огорчением вздохнул:

— Нет, вас нелегко сбить. Я имел удовольствие познакомиться с вашей целеустремленностью по вашей книге "Одряхла ли демократия?"

— Речь опять же не об этом.

— Ваша книга полна нападок на то, что сейчас принято туманно называть политикой умиротворения в Европе. Что ж, мистер Метьюс, в ваших глазах и в глазах ваших друзей я — закоренелый грешник, потому что я за соглашение с арабами, за их умиротворение, если вам угодно. Иными словами, я считаю, что всякая политика должна основываться на разумном компромиссе.

— Вопрос в том, что считать разумным.

— Налейте себе еще стакан. Все гораздо проще, чем кажется. Среди арабов с самого начала наибольшим влиянием пользовался клан Хуссейни. А из всех

Хуссейни наибольший авторитет был у Хадж Амина, муфтия Иерусалима. Поэтому иметь дело с арабами было удобнее всего через него. Конечно, мы предпочли бы иметь дело с умеренными, так же точно, как мы предпочли бы иметь дело не с Гитлером, а с Брюнингом. В обоих случаях нас обвинили в том, что мы поддерживаем экстремистов, в то время как мы всего лишь приспособлялись к заслуживающему сожаления, но неизбежному ходу событий. Арабский национализм в этой стране растет так же быстро, как в Египте, Ираке и Сирии. Возможно, что кое-кто лично симпатизирует этой тенденции, так же, как имеются поклонники у господина Гитлера. Замечу в скобках, что я к ним не принадлежу. Однако могу вас уверить, что личные симпатии на основную линию нашей политики не влияют. Националистические движения иррациональны, поэтому бесполезно доказывать арабским националистам, что от иммиграции евреев они только выиграют. Они хотят быть хозяевами в стране, где составляют большинство, и противятся еврейскому господству, какие бы материальные выгоды оно им не сулило.

— Почему же, в таком случае, они, как только представляется возможность, продают землю евреям?

— А потому, дорогой друг, что личная корысть и патриотические чувства издревле состоят в антагонизме. Желание есть свой пирог и одновременно его сохранять — общечеловеческая черта.

— Что ж, запрещая продавать землю евреям, вы таким образом боритесь с жадностью и поощряете патриотические чувства арабов!

— Возможно, нам придется принять соответствующий закон, — заметил помощник верховного комиссара небрежно, одновременно удивляясь: откуда этот проклятый американец получает информацию?

— Отдаете ли вы себе отчет в том, что закон, запрещающий свободную продажу собственности евреям, будет единственным в мире, не считая национал-социалистической Германии?

— Я знаю, что если мы примем этот закон, — хотя должен указать, что официально еще ничего не решено, — сионисты, как обычно, подымут крик, пуская в ход именно эти ваши аргументы, господин Метьюс. Но фактически аналогия чисто внешняя. В Германии имеется еврейское население, с давних пор живущее в стране, а здесь закон будет лишь защищать местное население от наплыва иностранцев.

— Я полагал, что ваше правительство обязалось создать национальный очаг посредством поселения евреев на земле. Но я, вероятно, не туда попал.

Помощник верховного комиссара взглянул на часы, впервые за весь разговор позволив себе этот знак раздражения, но тут же постарался скрыть это очаровательной улыбкой:

— Не стоит начинать юридический спор, мистер Метьюс. Правда заключается в том, что нам приходится учитывать интересы обеих сторон. Мы чрезвычайно сочувствуем евреям, и, может быть, здесь уместно напомнить, что в деле оказания помощи еврейским беженцам Великобритания сделала больше, чем любая другая страна в Европе, и не только в Европе, позвольте заметить. Например, есть основания надеяться, что большая часть детей из Германии, переселение которых в эту страну оказалось невозможным, будет допущена в Англию. Однако мы не можем ради евреев восстанавливать против себя арабский мир, — так же, как мы не можем начать мировую войну ради чехов. Вы скажете, что мы пожертвовали чехами, а я отвечу, что эта небольшая жертва оправдана, потому что благодаря ей удастся избежать мирового пожара. Пусть поносят нас в прессе молодые и слишком горячие гуманисты, вроде вас, — мы все стерпим, чтобы обеспечить мир в Европе нашему поколению. Можете обвинять нас в трусости, но все же признайте, что не так уж одряхла наша демократия, если мы готовы ради общего блага рискнуть собственной репутацией. Наша роль в этой стране кажется вам неблагодарной, но будьте уверены, мы сыграем ее до конца. Мы пришли

к соглашению с Египтом и Ираком. Нам необходимо прийти к соглашению с арабским населением этой страны на основе разумного компромисса, который, кстати сказать, полностью обеспечит безопасность еврейского меньшинства. Вот как обстоят дела. Все остальное — пропаганда и риторика.

Последовала короткая пауза. Затем Метьюс тяжело поднялся с места.

— Благодарю вас, господин верховный комиссар. Это все, что я хотел выяснить. Я вас понял. Ваша разумная позиция принесет миру такие несчастья, каких не придумает мозг безумца. Пока.

Он заковылял к двери. Помощник верховного комиссара любезно проводил его, затем вернулся к своему креслу. Подумав, он решил сам написать организаторам соревнования по теннису, что Джимми участвовать не сможет.

”Что ж, дружок, подумал он про своего племянника, потерять одну ногу, защищая еврейские поселения, — этого господину Метьюсу недостаточно. Подавай ему вторую! Иначе он скажет, что ты трус”.

6

”Отвечая на вопрос полковника Уэджвуда, министр колоний господин Малькольм Мак-Дональд заявил, что за время с 15 февраля до 15 апреля 1939 года был предотвращен въезд в Палестину 1220 нелегальных иммигрантов.

21 марта 269 евреев с парохода ”Ассанду” было приказано вернуться в Констанцу. 2 апреля 710 евреев, в том числе 698 беженцам из Германии, было запрещено высадиться на берег с парохода ”Астир” и приказано вернуться. 11 апреля 250 евреев была запрещена высадка с парохода ”Асси-ми”, судно задержано в хайфском порту вместе с пассажирами, которым приказано вернуться в порт отбытия.

Господин Ноэль-Бекер задал вопрос министру колоний, действительно ли еврейские беженцы после того, как им было запрещено высадиться,

вернулись обратно? Господин Мак-Дональд ответил, что их вернули в порт отплытия.

Господин Нозль-Бекер: "То есть в концентрационные лагеря?"

Господин Мак-Дональд: "Ответственность за происшедшее целиком лежит на тех, кто организует нелегальную иммиграцию".

Министр добавил, что правительство относится с величайшим сочувствием к еврейским беженцам, но если впустить хоть один пароход, за ним последуют другие".

*Из дебатов в Палате общин 26-27 апреля 1939 г.*

"Любой офицер, занимающий командную должность на судне, плывущем под надлежащим флагом, имеет право преследовать в территориальных водах Палестины любое судно, если есть подозрение, что на нем находятся иммигранты, и если оно в ответ на приказ не остановится. Он также имеет право после сигнального выстрела обстрелять судно, чтобы заставить его остановиться".

*Поправка к Закону об иммиграции, экстренный выпуск "Официального бюллетеня" от 27 апреля 1939 г.*

7

Как обычно, Джозеф провел пятницу и субботу дома, а в воскресенье утром отправился по делам.

Проснувшись в половине четвертого, он бесшумно перебрался через Эллен, спящую с его ребенком в чреве, пробежал сто ярдов мимо башни, столовой и детского сада в душевую, пустился обратно, оделся, схватил свой импозантный портфель, полагающийся ему по чину (портфель прежде принадлежал доктору философии), и вовремя поспел на грузовик, который

доставлял молоко в Хайфу.

Водитель грузовика Давид был, как всегда, угрюм и небрит. Он страдал от национальной болезни — язвы двенадцатиперстной кишки. Джозеф дремал, сидя рядом с ним, и просыпался только от тряски, стучаясь головой о стенку кабины. Тряска прекратилась, когда они выехали на дорогу, и целых два часа ничто не мешало его сну.

Однако он проснулся, как и хотел, в нескольких минутах езды от Назарета, на одном из поворотов, откуда открывался такой восхитительный вид на долину Изреэля, что у Джозефа каждый раз захватывало дух. К югу долина расширялась до двадцати километров, она сверкала на утреннем солнце и была похожа на шахматную доску с квадратами темно- и светло-зеленого, лимонно-желтого и красно-коричневого.

Дорога Афула — Иерусалим пересекала равнину, как белая стрела в полете, направленная на серебристые меловые холмы Самарии. Холмы располагались широким полукругом, подобно стенам амфитеатра. На западе стены отступали в покрытых соснами склонах Кармеля и падали в бледное море, на востоке сливались с грозной массой горы Гильбоа.

Но далекие холмы только обрамляли картину. Наслаждением для глаз была сама зеленая долина Изреэля, колыбель киббуцов. Двадцать лет назад здесь были лишь пустынные болота, подверженные всем мыслимым египетским казням. Нынче цепь поселений протянулась, как жемчужное ожерелье, от Хайфы до Иордана. Это было самым блестящим достижением движения, это была ячейка еврейского государства. В течение веков это место представляло собой поле боя и было даже в смысле геологической структуры грандиозным. К востоку шел спуск в самую глубокую впадину на земном шаре. И казалось странным, что самые восточные из больших киббуцов — Бет-Альфа и Хефци-Ба возникли именно в этом адском, болотистом, пораженном болезнями и под-

верженном разбойничьим нападением месте. Но двадцать лет назад именно здесь земля была дешевой, а ведь за каждый квадратный метр земли приходилось платить наличными. Народу, имеющему славу финансового гения, приходилось покупать свой национальный очаг в рассрочку, дунам за дунамом.

Видимо, Бог решил наказать свой народ за былое ростовщичество. Но на этот раз Министерство колоний в Лондоне превзошло Бога. Бездомным больше не будут продавать пустынные земли. Деревянный плуг защитят от грохочущего трактора, жаждущую землю — от орошения, камни — от непочтительного выкидывания с полей и беспомощных москитов — от жестокого осушения питающих их болот. Есть еще в мире справедливость!

Грузовик подпрыгнул, прервав размышления Джозефа, и его голова стукнулась о потолок кабины. Он рад был, что боль от удара отвлекла его от горьких мыслей и судорог бессильной злобы. Последнее время он жил как одержимый. Ночами ему не спалось. Мысленно он спорил с невидимым оппонентом — безличным, тупым и всемогущим. Бывало, что таким оппонентом оказывался краснорожий майор полиции, навестивший Башню Эзры в первый день ее существования; в другой раз он спорил с украшенным медвежьей шапкой существом, шагающим, как автомат, перед Бекингемским дворцом; иногда это была целая Палата общин, трюки которой он наблюдал когда-то с галереи для гостей.

Он доказывал и доказывал свое, пока не начинались спазмы в желудке, и он плевался в платок зеленой желчью. "Я или заболею язвой желудка, — думал он, — или присоединюсь к террористам Баумана. Человек может дойти в своем унижении до такой точки, когда единственным выходом для него окажется только насилие, иначе я изгрызу собственные кишки. Вот почему весь наш народ буквально изъязвлен. Пятнадцать столетий бессильного гнева изгрызли наши внутренности, заострили черты и вытянули книзу углы губ".

Когда он наконец засыпал, то настоящих снов не видел. Перед ним являлись в полусне мучительные сцены. Вот он сидит в галерее для гостей в Палате общин и что-то кричит спикеру, пытается и не может поймать взгляд этой великолепной и почтенной фигуры в белом парике. Он хочет преградить дорогу часовому в медвежьей шапке, но гигант шагает сквозь него, как сквозь воздух. А однажды он как будто услышал вкрадчивый голос с интонациями воспитанника его собственного университета, приглашающий уважаемых джентльменов рассаживаться, в интересах мира и безопасности, на головах тонущих в море людей.

Ночи были тяжелыми. Но по утрам, вместо того, чтобы попытаться снестись с Бауманом или Шимоном, он продолжал исполнять сложные обязанности кочующего казначея киббуца Башни Эзры. Киббуц расширился. Прибыло третье пополнение, и Джозеф чувствовал, что на данном этапе он незаменим. Он жаждал поговорить с Шимоном, но и Бауман и Шимон ушли в подполье, и хотя Джозеф знал, как установить с ними контакт, он не решался это сделать, так как ему разрешалось обратиться к связному только в крайнем случае. Он завидовал им, людям, которые сожгли за собой мосты, и восхищался ими, как осторожный обыватель восхищается игроком, идущим ва-банк. Он дорого бы дал за этот высокий дар безответственности, за способность перевести чувство в прямое действие. Каким бы облегчением было разрядить свой гнев с помощью хорошей бомбы! Акт убийства представлялся ему сейчас лишенным физического аспекта раздираемой плоти и боли и казался почти духовным действием. Он забыл физическое ощущение от прикосновения к лицу убитого Нафтали и помнил только безличное чувство, с каким целился в ружейную вспышку и спускал курок. Какая роскошь — спустить курок и спеть "Ха-Тикву" на эшафоте! Покончить сразу со Всем, Что Надо Забыть. Ведь оно не

забывается, а снова и снова повторяется со все более потрясающими подробностями, разрастается, вживается в человека, в его мозг и внутренности. Но руки утопающих не привлекают внимание спикера, и единственная возможность привлечь его внимание — это взорвать бомбу, как делают люди Баумана. Но у него, Джозефа, другая миссия: он должен добиваться ссуды от Отдела поселений для покупки насоса, чтобы оросить еще двести дунамов. Ведь двести дунамов — это убежище еще для пятидесяти семей.

Только одно приносило ему облегчение: выходные дни в киббуце. Под сенью Башни Эзры трагедия казалась почти нереальной, и единственной проблемой оставались вопросы, что строить раньше: новый курятник или новую душевую. Там была Эллен — хозяйка огорода и мать его будущего ребенка. И там была Дина.

Грузовик медленно спустился в предгорье Звулуна. Слева, в молодом лесу Бальфура, серебрились аллепские сосны. Они тоже были посажены на средства Национального фонда, они были еврейскими деревьями, чужаками в стране и кололи глаза местным патриотам, которые по ночам вырубали деревья и вырывали молодые насаждения из земли. Между еврейскими лесниками и убийцами деревьев завязывались кровавые бои. Что за страна, — думал Джозеф, — что за страна! Каждый камень здесь насыщен электричеством и несет на себе проклятье древних воспоминаний. Только успеет ваш взгляд отдохнуть на мирном арабском каменном доме, как вдруг в мозгу вспыхивает искра: вы заметили, что камни — это часть римской колонны, разбитой мятежными маккавеями, или перемычка синагоги времен Бар-Гиоры.

Утро было восхитительным. Свежий воздух, как дыхание Суламифи, был напоен ароматом молодых яблок. Узор из диких тюльпанов, ирисов и цикламенов расстилался под молодыми соснами, как ковер под ногами принцессы. Среди леса блестели красные крыши новых киббуцов: Гиннегар и Рамат-Давид. Назва-

ние последнего высекло в мозгу грустную ассоциацию, так как киббуц был назван не в честь царя Давида, а в честь английского государственного деятеля Давида Ллойд Джорджа. В период его правления евреям было дано обещание о Возвращении в страну. И это обещание теперь нарушено.

За каждым поворотом дороги открывались перед Джозефом новые и новые поля, где волновалась пшеница, блестя каплями росы на колосьях, открывались новые сосновые леса. Красота вызванной к жизни долины захватывала его. Каждый раз, проезжая по этой долине, он испытывал восторг и детскую гордость. "Посмотри, — говорил он себе, — вот еще одна еврейская корова жует траву на лугу, политом из еврейского колодца, а вот еврейская курица сидит на яйцах — из них, несомненно, вылупятся гениальные цыплята". Он подшучивал над собой, но гордость его была истинной, это было ликующее, безумное упоение от сознания того, что все кругом, включая свиней, кур и овец, спускающихся по склонам Эфраима, является его собственным творением.

За Нахалалом дорога пошла ближе к Кармелю, мягкие склоны которого были покрыты кустарником, зелеными соснами и серебристыми оливковыми рощами. Они проехали мимо еще одной группы киббуцов с бетонными квадратами и красными крышами построек. Проехали мимо бедуинских стоянок и арабских поселений, находящихся в состоянии живописного упадка. Рядом с киббуцами они выглядели, как муляж туземных деревень на какой-нибудь колониальной выставке.

У западного входа в долину перед Джозефом открылись руины огромного галилейского некрополя, где в свое время находился Синедрион Израиля и где скрывались уцелевшие сподвижники Бар-Кохбы. Это было пустынное место, усеянное разбитыми колоннами и испещренное захоронениями. Ныне это место называлось Шейх-Абрек, по имени малоизвестного мусульманского святого, чья могила находилась поблизости.

Джозеф пытался урезонить себя: мы похожи на ирландцев и узльсцев, которые убиваются, что города на Британских островах не сохранили старинных названий, произносимых при помощи одних согласных звуков, без единой гласной между ними. Но давно известно, что национализм, как морская болезнь или влюбленность, — смешон, когда дело касается других. Что ж, народ, борющийся за жизнь, не может себе позволить чувство юмора. Так мы, вернувшись в Страну, теряем свое прославленное острословие. Подумать только, что у нас есть больше ста журналов и газет, но ни одного юмористического издания! В этой стране по существу отсутствует юмор. Не годится иврит, язык гнева, для анекдотов о двух евреях в купе вагона.

Дорога проходила совсем близко от склона Кармеля. Справа открылась долина с разбросанными на ней в беспорядке фабриками и нефтеочистительными установками, а за ними виднелись желтые дюны и стеклянная поверхность моря. Усиленное движение на дороге, несмотря на ранний час, выдавало близость большого порта. Двигались арабские и еврейские автобусы, переполненные, как Ноев ковчег, верблюды, ослы и машины для перевозки горючего. Наконец они проехали мимо старой железнодорожной станции, где несколько недель назад одна из бомб Баумана убила сорок человек.

8

В портфеле Джозефа лежал список товаров, необходимых для его большой семьи.

Оптовые конторы находились в новом деловом центре Хайфы и напоминали дискуссионные клубы. Джозеф заказал сахар, рис и чай, затем сел в автобус и поехал по крутой, извилистой дороге в еврейский квартал Хадар Хакармель. Перед ним открывался вид на сверкающий залив, и горизонт отступал дальше. Порт и желтые дюны с колеблющейся белой линией прибоя уменьшались. Массив Кармеля защищал

бухту, по глади моря сновали пароходы и лодки. В некотором отдалении стоял на якоре большой румынский пароход "Ассими" с 250 беженцами на борту, которым не позволили сойти на берег.

На полдороге до Кармеля Джозеф вышел из автобуса и продолжил покупки. Его знакомый, дешевый бакалейщик из Литвы, бородатый, небольшого роста человек в кипе, увлекался поисками исчезнувших колен Израиля. Десять из них он обнаружил на Кавказе и каждую неделю сообщал Джозефу новые доказательства, подтверждающие его открытие. Так что покупка ста граммов сушеных яблок, которые Даша считала необходимым включить в меню для новоприбывших, заняла полчаса. Остаток утра ушел на приобретение десяти кубометров дерева для кибуцной столярной мастерской. В Башне Эзры к этому времени изготавливали мебель собственноручно. Кроме того он купил три листа кожи, запах которой вызвал приступ ностальгии по старому доброму времени, а также разные инструменты и запчасти для трактора.

Он согрешил, пообедав в небольшой арабской столовой, где готовили не слишком опрятно, но дешево и вкусно. Толстый хозяин конфиденциально поведал ему, что защитник ислама Гитлер скоро уничтожит Британскую империю, вернет страну арабам, а евреев сбросит в море — за исключением Джозефа, — которого как личного друга хозяина и образованного человека пощадят и, возможно, даже назначат на важную должность при условии, если он внесет кое-какой капитал.

Он пил не спеша крепкий сладкий кофе и делал в записной книжке пометки о сделанных покупках, затем поднялся и в разгар послеобеденной жары снова отправился по делам. Купил фанеру и сапожную мазь, солнечные очки и противозачаточные средства, зубные щетки и порошок от насекомых. Потом отнес очки доктора философии в оптическую мастерскую и решил доставить себе особое удовольствие — посетить книжный магазин Рингарта, откуда вышел через час с куп-

ленной за три пиастра брошюрой о борьбе с вредителями помидоров для киббуцной библиотеки. Стемнело, и по тому, как были натянуты его нервы, он понял, что начался хамсин. Почему-то он беспокоился за Дину, хотя когда он последний раз видел ее, она выглядела не хуже и не лучше, чем обычно. Может быть, потому он беспокоился за нее, что знал, как тяжело действует на нее весенний хамсин. Но Дине он ничем не мог помочь.

Поужинав в рабочем клубе и прослушав лекцию о новом русском театре, он отправился в дешевую ночлежку, где всегда останавливался, когда бывал в Хайфе. Помещение было тесное, с клопами, содержал его религиозный еврей из Польши. Три человека, которые ночевали с ним в одной комнате, пришли, когда он уже спал.

На следующее утро Джозеф взял себе пару свободных часов и пошел в суд, где слушалось дело о нелегальной иммиграции, о чем он узнал в правлении кооператива. Он никогда не был в мировом суде и был поражен мрачным видом помещения и обиденностью его атмосферы. На скамьях с сонными лицами сидели вперемешку полицейские и штатские. На возвышении сидел судья, пожилой человек с равнодушным лицом. Стол судьи был с мраморной крышкой — единственное, что придавало торжественность процедуре. Слева от возвышения стояли две скамьи для подсудимых.

Когда Джозеф вошел в комнату, старый араб в красной феске стоял перед скамьей подсудимых и с волнением произносил речь, которую судья слушал, сонно разглядывая свои ногти. Английский сержант полиции слушал араба с выражением праведного негодования на лице. Выяснилось, что сержант обвинил араба в жестоком обращении с мулом. Шкура животного покрылась язвами от кожной болезни. Сержант предварительно добился запрещения использовать мула на работах, пока он нездоров. Однако в указанный день сержант видел мула, запряженного в тяжело нагруженную копррой повозку, стоящую у хижины араба

на горе Кармель. С другой стороны, араб готов был представить десять свидетелей для доказательства того, что последние три недели мул не работал, и никто из зрителей не сомневался, что свидетелей он представит.

Араб остановился, чтобы перевести дух, и судья, казалось, проснулся.

— Спроси его, — обратился он к переводчику, — не считает ли он, что сержант лжет?

Араб протестующе поднял руки: он такого не говорил!

— В таком случае он признает, что запряг мула в телегу?

Араб снова протестовал.

— Но это то, что утверждает сержант, — сказал судья.

Араб на какой-то момент замолк, затем снова разразился потоком слов.

— Он говорит, — объяснил переводчик, — что мул стоял перед телегой, но запряжен не был.

— Зачем же он его так поставил? — спросил судья.

— Он говорит, — объяснил, усмехаясь, переводчик, — что это свободная страна, и он может поставить мула, где хочет.

— Пятьдесят пиастров или два дня тюрьмы, — объявил судья.

Сержант удовлетворенно улыбнулся, а продолжающий протестовать араб был выведен из зала суда.

Затем слушалось дело молодого бедуина из Транс-иордании, обвиняемого в нарушении правил уличного движения. Нарушение заключалось в езде на верблюде по внутренней полосе дороги. Он был оштрафован на 10 пиастров и презрительно протянул ассигнацию в 10 фунтов, которую клерк не мог разменять. Бедуин и клерк вышли из зала суда, громко переругиваясь.

Судья перебирал бумаги.

— Бродячий Вильгельм, нелегальный иммигрант, где он?

В ряду перед Джозефом началось движение. Араб-

ский полицейский поднялся и подтолкнул сидевшего рядом с ним невысокого худого человека со слуховой трубкой. Человек этот еще раньше заинтересовал Джозефа тем, что все приставлял трубку к уху и вытягивал шею, пытаясь понять, что происходит. Шея была худая и длинная, как у золотушного ребенка. Человек поспешно встал, протиснулся мимо арабов, сидящих в его ряду, и быстрыми, нервными шагами последовал за полицейским к скамье подсудимых.

— Есть ли у него адвокат? — спросил судья.

— Я его адвокат, ваша честь, — встал в первом ряду высокий бледный человек.

— Как обычно, господин Вайнштейн? — сухо спросил судья.

— Да, как обычно, ваша честь.

Секунду судья и Вайнштейн смотрели друг на друга. Взгляд судьи ничего не выражал. Так же бесстрастен был и взгляд Вайнштейна. Он казался истощенным и больным. Бродецкий на скамье подсудимых вытягивал шею, приставив трубку к уху.

— Вас ист лос? Вас виль ман фон мир?\* — закричал он внезапно.

— Скажите, чтобы он подождал, пока его спросят, — сказал судья, обратившись к бумагам.

Вайнштейн подошел к скамье подсудимых и громко сказал в трубку:

— Наберитесь терпения, господин Бродский.

Бродецкий нервно передернул плечами:

— Терпение, терпение, — проворчал он про себя.

Установив имя, возраст, место рождения подсудимого — вопросы, на которые Бродецкий отвечал с готовностью и даже с рвением, — судья перешел к чтению обвинительного заключения, согласно которому Бродецкий в указанный день прибыл в территориальные воды на борту румынского грузового судна "Ассими" вместе с другими пассажирами, не располагая надлежащими иммиграционными бумагами. Судно было задержано береговой охраной и получило приказ

\* Что случилось? Что от меня хотят? (нем.).

вернуться в порт отплытия в Румынии. Разрешено было взять на борт съестные припасы и питьевую воду, а также запас медикаментов, так как к тому времени на судне начались различные болезни. Под покровом ночи, в то время, как судно стояло на якорю в хайфском порту, обвиняемый прыгнул за борт и поплыл к берегу, и таким образом прибыл в страну без разрешения, нарушив закон об иммиграции от 1933 года. Он был обнаружен сторожем-арабом в бессознательном состоянии на берегу и доставлен в полицию.

— Признает ли он себя виновным? — спросил судья.

— Не признает — как обычно, — сказал Вайнштейн, глядя на судью с выражением той сосредоточенной ненависти, какую Джозеф часто видел в глазах Шимона.

Пока сторож и представители полиции давали свои показания, Бродецкий беспечно ерзал на месте. Он то приставлял трубку к уху, то пытался привлечь внимание адвоката, который стоял к нему спиной. Его глаза отчаянно шарили по рядам зрителей, как бы ища сочувствия, но были не в силах задержаться ни на одном лице. В короткой паузе, наступившей после показаний представителя полиции, он потянул адвоката за рукав и стал что-то горячо объяснять ему, выразительно жестикулируя.

— Что он говорит? — спросил судья.

— Он говорит, что его ударили по уху, и с тех пор он плохо слышит.

— Кто его ударил?

— Надзиратель в Дахау.

— Не вижу никакой связи с обвинением.

— Связи нет, — Вайнштейн хотел было что-то добавить, но воздержался.

Обвиняемый опять стал объяснять что-то с большим волнением.

— Ну, что теперь?

— Он говорит, что батарейка его слухового аппарата выскочила, когда он плыл в море, и просит новую батарейку.

Бродецкий с надеждой протянул слуховую трубку

судье, показывая, что она никуда не годится. На секунду судья встретился с ним взглядом, затем вернулся к бумагам.

— Скажите, что этим придется заняться позже, — сказал он, не подымая глаз.

Адвокат повернулся к подсудимому, который с готовностью подставил трубку.

— Шпетер\*, — крикнул он в трубку.

— Шпетер, шпетер, — проворчал про себя Бродецкий, пожав плечами.

— Спросите, желает ли он сделать какое-нибудь заявление по делу.

— Я хочу к своему племяннику, — нервно проговорил Бродецкий, — что здесь происходит?

— Он говорит, что хочет к своему племяннику, и все спрашивает, зачем его сюда привели.

Судья взглянул на Вайнштейна:

— Вы объяснили, в чем его обвиняют?

— Много раз.

— Он прошел психиатрическую экспертизу и признан находящимся в состоянии нервного напряжения, но психически здоровым, — сказал судья, возвращаясь к бумагам.

— Да, ваша честь, — поколебавшись сказал Вайнштейн бесстрастным голосом, — желание человека, избежавшего смертельной опасности, найти прибежище у единственного оставшегося в живых родственника, никак не может быть признаком душевного заболевания.

Помолчав, судья спросил:

— Где живет упомянутый племянник?

— Он работает на поташной фабрике у Мертвого моря.

— Он здесь присутствует?

— Нет. Он лежит в больнице с малярией.

— Все всегда оказываются в больнице с малярией, — пробормотал судья.

Он закрыл папку с решительным видом и откинул-

\* Позже.

ся на стуле.

— Я слушаю прокурора.

Прокурор, высокий, хорошо одетый араб-христианин, который до сих пор не принимал участия в происходящем, начал свою речь, не успев встать, и через две минуты ее кончил. Он подытожил свидетельские показания, процитировал закон об иммиграции и потребовал 6 месяцев тюремного заключения с последующей депортацией. Он тщательно подбирал английские слова и производил впечатление человека, выполняющего ежедневное привычное дело.

После него наступила очередь Вайнштейна. Намеренно бесцветным голосом он говорил о преследованиях евреев в Германии, Австрии, Чехословакии, как всем известных фактах, не оставляющих другого выбора тем, кому удастся избежать гибели, как перейти возможно быстрее любую границу. Однако даже избежав пограничных патрулей, они не оказываются в безопасности, так как в большинстве европейских стран приняты законы против нежелательного наплыва беженцев. Таким образом, они находятся под постоянной угрозой ареста и высылки. Поэтому естественно, что беженцы пытаются всеми средствами достичь берегов страны, которая международным соглашением была предоставлена им в качестве национального убежища и которая осталась их единственной надеждой. Преследуемые полицией, без паспортов и без постоянного места жительства, они лишены материальной возможности следовать нормальной процедуре, то есть обратиться за разрешением на иммиграцию, ждать год или два своей очереди. При таких обстоятельствах попытка делать различие между легальной и нелегальной иммиграцией выглядит сплошным издевательством.

— Когда за мной гонится сумасшедший, — продолжал Вайнштейн своим бесцветным голосом, — и я вижу проходящий мимо автобус, я вскочу в него, не взирая на правила уличного движения. Я оставляю на усмотрение вашей чести решить, в праве ли кондуктор вытолк-

нуть меня из автобуса за то, что я сел не на остановке.

Он сделал паузу и закончил речь просьбой, чтобы все обстоятельства дела были приняты во внимание судом, сел и проглотил две таблетки из коробки, которую достал из кармана жилета. Он был очень бледен.

Бродецкий в чрезвычайном волнении наклонился к адвокату:

— Вас ист лос?

Вайнштейн прочистил горло и крикнул в трубку:

— Терпение!

— Вас? Вас? — спросил Бродецкий, недоуменно смотря на присутствующих.

После технических формальностей судья поднялся и терпеливо стал дожидаться, пока Бродецкого не уговорили замолчать.

— Как всегда в таких случаях, — начал он, ни к кому в особенности не обращаясь, — я должен сказать, что мой долг как судьи заключается в назначении наказания, которое может удержать тех, кто замышляет подобные нарушения.

Он посмотрел на обвиняемого. Тот молча вскакивал со скамьи и садился опять. Судья отвел взгляд.

— Я согласен с господином Вайнштейном, что существующие условия в некоторых европейских странах вызывают массовое бегство преследуемых граждан. В этих условиях наказания, призванные предотвращать нарушения, большого эффекта иметь не могут. Однако на мне лежит обязанность постараться воспользоваться данным мне правом по моему разумению, чтобы такой сдерживающий эффект мог иметь место.

Он прочистил горло, помолчал и продолжал, осторожно выбирая слова:

— Возможно, я не прав, и в таких делах надо судить иначе. Я надеюсь, что по делу будет дана апелляция, и рассчитываю получить на этот счет указания от вышестоящей судебной инстанции.

Говоря это, он смотрел на Вайнштейна, но затем обратился к обвиняемому, который вытянул шею,

приставив трубку к уху.

— Исходя из вышесказанного я приговариваю обвиняемого к трем месяцам тюрьмы и буду рекомендовать его превосходительству Верховному комиссару после отбытия наказания депортировать его.

Суд встал, и Вайнштейн попытался уговорить Бродецкого не сопротивляться конвою. Но Бродецкий не трогался с места и кричал все громче и громче, что он больше не может ждать, что он должен сейчас же отправиться к своему племяннику. Наконец, двое арабских полицейских, чуть не отрывая его от земли, поволокли старика, который цеплялся на рукав адвоката и продолжал кричать резким плачущим голосом.

— Вы собираетесь подать апелляцию? — обратился Джозеф к адвокату.

— Что? Ах да, как обычно.

Его взгляд, который опять напомнил Джозефу взгляд Шимона, остановился на его портфеле.

— Вы что, служащий?

— Нет, я из киббуца.

— Из киббуца? — переспросил Вайнштейн. Сигарета все еще прыгала у него во рту. — А что у вас в портфеле?

— Бумаги.

— Бумаги, — повторил Вайнштейн, — у всех у нас бумаги. Может, нам следовало бы таскать револьверы.

Он улыбнулся рассеянно и пошел слегка прихрамывающей походкой, прижимая к боку свой портфель.

К счастью, Джозеф был так перегружен делами, что у него не хватило времени для размышлений. Разделавшись накануне со всеми покупками для киббуца, кроме тех, которые можно было сделать в Тель-Авиве и Иерусалиме, он превратился в добытчика денег и в дипломата, что требовало большой хитрости и изворотливости. Он давно уже вел переговоры с управляющим районной больничной кассы о том, чтобы обеспечить киббуцникам Башни Эзры лучшее медицинское оборудование при меньших взносах. Он

вел переговоры о продлении срока ссуды с Рабочим банком. Наконец, ему нужно было устроить скандал в отделе культуры и просвещения Гистадрута по поводу низкого уровня последних трех лекторов, посетивших кибуц.

Чтобы смягчить Джозефа, секретарь дал ему бесплатный билет в кинотеатр "Эден". Это было настоящим подарком, так как, живя на средства кибуца, Джозеф не позволял себе тратить деньги на развлечения, хотя по положению он мог посетить кино или театр раз в две недели. Он вошел в зал, когда программа уже началась, и увидел, как немецкие войска вступают в Прагу, потом посмотрел фильм о том, как богатая наследница преодолевает сопротивление родителей и становится чемпионкой по конькам. К концу фильма он уснул. Проснувшись же, увидел, как богатая наследница сломала на льду ногу, и ее увезли на амбулансе. Джозеф пробрался между рядами к выходу и отправился в свою ночлежку.

Его соседи уже спали. Один из них громко храпел, другой — по-видимому, новоприбывший из Европы — разговаривал во сне, умоляя кого-то тонким голосом, потом начал считать до десяти, вскакивая и дергаясь при каждой цифре. Джозеф разбудил его и дал воды, но, уснув, человек этот опять принялся считать. Джозеф примирился с тем, что не заснет, и при свете голых лампочки разглядывал осыпающуюся с потолка штукатурку и бегающих по полу тараканов. От гавани, где стоял на якоре пароход "Ассими" с 250 пассажирами на борту, доносился шум прибоя.

Наконец он уснул. Разбудили его через несколько часов звуки сирены с "Ассими". А ему только-только удалось привлечь внимание спикера в Палате общин! Было еще очень рано. Один из спящих продолжал храпеть. Другой — тот, который считал до десяти, — успокоился. Четвертая кровать пустовала. Сирена завывала снова. Джозеф вскочил и кинулся к окну. Он увидел согнутую старческую фигуру, закутанную в черно-белый таллит. Старик покачивался на пятках

в такт молитве и ритмично бил себя кулаком в грудь. Внизу, в гавани, медленно двигались вдоль мола по направлению к открытому морю мачты "Ассими". Над ними кружились чайки. Пароход увозил своих пассажиров в солнечное Средиземноморье, к поджидающей их смерти. Закутанная фигура продолжала бормотать и покачиваться на пятках. На макушке его виднелась небольшая горстка пепла. По-видимому, он его добыл, спалив лист бумаги. Когда читают молитву о покойном, голову посыпают пеплом.

9

*Первые сведения о надвигающейся катастрофе достигли еврейского ишува в воскресенье 27 февраля. Согласно информации из Лондона, опубликованной в еврейских и арабских газетах, правительство представило делегатам Конференции Круглого стола свои предложения о превращении Палестины в независимое арабское государство. Предложены были также дальнейшие меры по ограничению иммиграции евреев, которым предстояло в будущем оставаться меньшинством, не превышающим трети населения страны.*

*Конференция Круглого стола открылась 2 февраля 1939 года во дворце Сент-Джеймс в Лондоне приветственной речью премьер-министра Невилля Чемберлена. Палестинские арабы, большинство которых были сторонниками бежавшего муфтия, отказались сесть за один стол с еврейскими делегатами. Британское правительство, идя им навстречу, устроило две параллельные конференции – арабскую и еврейскую. Еврейская делегация требовала продолжения британского мандата и дальнейшей иммиграции евреев, исходя из экономических возможностей страны. Арабская делегация настаивала на прекращении действия мандата и отказе от Бальфурской декларации, на прекращении иммиграции евреев и запрещении продажи земли евреям. Переговоры зашли в тупик, и только сейчас стало известно,*

что британское правительство высказало, наконец, свои предложения, которые в основном соответствовали требованиям арабов.

В тот же день лондонские газеты сообщили о том, что Англия признала правительство испанских мятежников. Некоторые газеты в своих комментариях предполагали, что британское правительство приняло это решение, рассчитывая на великодушие генерала Франко и на его обещание воздержаться от репрессий против республиканцев. В газетах выражалось мнение, что лучшей гарантией прав еврейского меньшинства будет подобное же великодушие со стороны арабов.

Одновременно поступили сообщения о возведении защитной бетонной стены вокруг еврейского квартала в Старом городе, об убийстве популярного среди еврейского населения учителя в окрестностях Соломоновых прудов, о новых взрывах в еврейских районах Хайфы и Иерусалима и о демонстрациях торжествующих арабов с приветственными выкриками по адресу муфтия и господина Чемберлена.

Еврейские представительные организации, как обычно, выразили протест против "планомерной ликвидации Национального очага и передачи его под власть бандитов", а президент сионистской организации, почтенный профессор химии, как обычно, призвал к сдержанности. Однако значительная часть еврейской молодежи пришла к тому времени к выводу, что перед лицом катастрофы сдержанность неуместна. 20 лет евреи упражнялись в лояльности и сдержанности и вот теперь теряют все. Противники же их вознаграждаются за непрерывный бунт.

Незадолго до этого внутри Хаганы произошел раскол из-за вопроса о применении насилия. Хагана, находящаяся под контролем еврейских официальных организаций и придерживающаяся социалистической ориентации, стояла на позиции пассивной обороны. Правительство, которому Хагана оказывала важную услугу в подавлении арабского мятежа, относилось к ней терпимо. Новая организация – Иргун цваи

леуми – была численно меньше и создана по принципу нелегального террористического движения. Члены ее были крайними националистами и с презрением относились к официальным еврейским организациям. Бывшие товарищи из Хаганы называли их фашистами, за ними охотилась полиция. В их распоряжении имелись тайные радиопередатчики, печатные станки и значительные запасы оружия. Сторонники их были во всех слоях еврейского ишува, включая полицию и правительственные учреждения. Возглавляли Иргун два студента Еврейского университета в Иерусалиме: специалист по Танаху Рази – он же Давид Разиель, побывавший в концлагере в Сарафанде (позднее он воевал в рядах британских вооруженных сил и был убит в бою), – и Яир, он же поэт Авраам Штерн (позже был убит полицией при попытке бежать из-под ареста).

В понедельник, 27 февраля, через 24 часа после опубликования британских предложений, "Голос борющегося Сиона" объявил, что "во всех крупных городах и на дорогах страны одновременно проводятся карательные действия. Эти действия послужат предупреждением арабским террористам, тридцать два месяца подряд совершающим зверства против евреев; британскому правительству, нарушившему торжественное обещание и закрывшему ворота страны Израиля; и миру в целом, который до сих пор ничего не сделал, чтобы предотвратить убийство наших братьев".

Это не было пустой угрозой. В назначенный час в арабских кварталах Иерусалима, Яффы, Хайфы и Сарафенда взорвались бомбы и мины. По всей стране совершались нападения на автомобили и поезда пускались под откос. За один час арабы потеряли столько человек, сколько евреи за последние три месяца.

Акция началась в 6.30 утра, а в 7.30 закончилась. Ни один член Иргуна не был захвачен полицией. В 8.30 генералу Бернаруд Монтгомери, начальнику Хайфского округа, удалось с помощью броневиков и громкоговорителей очистить улицы. До следующего утра было введено осадное положение.

*Через несколько часов министр колоний Малькольм Макдональд выступил в Палате общин. Ввиду предстоящего официального подтверждения правительственных предложений, переданных в печать накануне, министр призвал население Англии и Палестины "воздержаться от оценок до появления официального заявления". Министр также выразил сожаление о том, что "в Палестину проникла неполная и в отдельных случаях искаженная информация о намерениях правительства, что привело к серьезным инцидентам". В ответ на требование лидера оппозиции высказаться, "чтобы предотвратить дальнейшее распространение искаженной информации", Макдональд заявил, что "ввиду событий в Палестине дальнейшие заявления нежелательны".*

*Казалось, что по крайней мере на время катастрофа предупреждена. Бомбы и мины высказались на единственном языке, который был понятен миру в год 1939 от Рождества Христова. Через несколько часов премьер-министр подтвердил безоговорочное признание правительства Франко. Заявление было встречено возгласами: "Позор!" Один из членов Палаты общин крикнул министру: "Вас следует привлечь к суду за измену!"*

10

Хамсин — это горячий и сухой восточный ветер, который дует из Аравийской пустыни. Хамсин бывает разной интенсивности: от легкого дуновения, вызывающего неприятные ощущения, до обжигающего порыва воздуха, вырывающегося как пар из кипящего котла. Но дело не в движении воздуха, не в жаре, которая доходит до 50 градусов в тени, и не в сухости: хамсин действует на нервную систему. Статистики, которая показывала бы рост во время хамсина числа самоубийств, насилий и убийств, не существует. Изме-

215

рению поддаются только физические изменения в атмосфере.

Во время хамсина небо над Башней Эзры становится свинцово-серым от испарений и пыли. На склоне, обращенном к Кафр-Табие, молодые сосны чуть заметно покачиваются в неподвижном воздухе, словно перед дождем. Но дождя не будет. В раскаленном воздухе — затянувшееся ожидание, безвыходное, как страсть без утоления. Гроза назревает, люди чувствуют ее приближение, слышат ее шум, но желанная разрядка не наступает.

В тот день, когда Джозеф уехал в Хайфу, хамсин был на редкость тяжелым. Вечером Дина пыталась читать, но у нее над ухом Сарра обсуждала с Максом газетную статью о положении арабских женщин. Сарра считала, что прежде всего надо разоблачить религиозные предрассудки. По мнению Макса следовало начать с упразднения чадры и контроля над рождаемостью. Сарра усматривала главную трудность в том, что арабы опасаются еврейского засилья. Поэтому необходима открытая декларация с отказом от всяких претензий на власть. Сходились же они на том, что группа Баумана компрометирует движение и что "этих фашистов" следует предать полиции.

— Самое главное, — говорила Сарра, — это человеческий подход к арабам.

Макс соглашался, что по отношению к арабам не было проявлено достаточно человечности. При этих словах Дина неожиданно закричала. Макс вытаращил глаза.

— Убирайтесь отсюда! — кричала Дина и топала ногами.

Она еще пыталась овладеть собой, но когда Макс стал сочувственно расспрашивать, не больна ли она, Дина внезапно ударила его кулаком в грудь и выбежала из комнаты.

На улице было душно и пустынно. Хамсин охватил

ее сзади. Казалось, она чувствует на затылке чье-то горячее зловонное дыхание. За башней в сероватом тумане расплывалась ржавая луна, как запекшаяся кровь на грязном бинте. Дина побежала через площадь мимо столовой, где шло какое-то собрание. Гул до одури знакомых голосов плыл в горячем воздухе, как стая докучливых мух. Она побежала дальше мимо бетонных блоков для семейных. Дверь комнаты Джозефа была открыта, сама комната ярко освещена. На кровати лицом к двери сидели рядом Эллен, Габи и египтянин. Откинувшись и выставив вперед огромный живот, Эллен читала вслух какой-то журнал. Рука египтянина лежала у Габи на плече, нога Габи прижалась к ноге египтянина. Все трое смеялись.

Эллен подняла глаза от журнала, заметила в темном проеме тонкую фигуру Дины и окликнула ее. Молчаливая фигура исчезла, как от испуга.

Оказавшись в темноте, Дина на секунду заколебалась: не присоединиться ли к компании? Но подумав о тесной комнате и о кровати, хранящей запах Эллен и Джозефа, она побежала дальше. Ей казалось, что она различает каждого киббуцника не только по голосу, но даже по запаху. Она ощущала щекочущую сухость в носу. Казалось, мир состоит из одних запахов, плывущих по воздуху, как разноцветные нитки. От киббуцной кухни шел запах теплой грязной воды, в которой мыли посуду, из детского сада – запах простокваши, из овчарни – запах резкий и кислый, острый запах аммиака – из мужской уборной и тошнотворный запах – от нездоровых женщин. С детства Дина точно знала, когда знакомые девушки были нездоровы. Она зажмурилась и стала яростно скрести острым ногтем в носу. Наконец догадалась, что делать. Всхлипывая и кусая ногти, она ринулась в конюшню и в темноте нашла стойло Саломеи.

Коричневая кобыла спала, но, почувствовав прикосновение руки Дины к своему боку, покорно поднялась на ноги и жалобно заржала. Дина нашла фонарь и спички и, пока седлала коня, совсем приободрилась.

Она и раньше отправлялась в ночные прогулки, когда ей становилось особенно тошно. В последнее время арабы снова стали нападать на поселение и ранили двух человек. Появляться ночью за пределами лагеря считалось небезопасным. Но это только придавало дополнительное очарование всей затее. Она погасила фонарь, тихонько вывела Саломею из конюшни и провела мимо палаток молодежного лагеря. Через минуту она незамеченной миновала ворота. Потрепав Саломею по боку, Дина вставила ногу в стремя и легко вскочила в седло. Ей хотелось пустить лошадь во всю прыть, но луна светила слишком тускло, и не дай Бог, если по ее вине киббуцная лошадь сломает ногу! У товарищей такая елейная манера прощать, что виноватый неделями ходит, как прокаженный. Дина веселилась, совершая этот антиобщественный поступок, а так как Саломея говорить не умеет, никто о нем ничегошеньки не узнает.

Она ехала по противоположному от Кафр-Табие склону. Окрестные холмы казались погруженными в раствор серебра. В их молчании было что-то потустороннее. Даже хамсин сейчас воспринимался как ласка, легкая и безразличная. Дина решила спуститься в вади и по следующему холму добраться до Пещеры предка.

Достигнув подножья холма и двигаясь по узкому, извилистому вади, покрытому камнями и зарослями сухого чертополоха, она почувствовала на душе тяжесть. Холмы громоздились над головой с обеих сторон, и взгляд не мог уже разом охватить их. Саломея осторожно выбирала путь среди камней, и не было слышно ни звука, кроме хруста камней под ее копытами. Теперь Дине казались желанными знакомые голоса в столовой и яркий свет, льющийся из комнаты Джозефа. Холмы источали безмерное одиночество, они стояли молча, будто погруженные в самих себя и не желали вторжения посторонних. Она решила было смириться и повернуть назад, как вдруг, завернув за поворот вади, увидела человека в арабской одежде, идущего ей навстречу.

Что-то в его облике и походке подсказало ей, что он один из жителей Кафр-Табие. В первый момент он был так же поражен встречей, как она, и нерешительно остановился в двадцати метрах. Но разглядев, что перед ним женщина, двинулся снова и был уже совсем рядом. Повернуть обратно значило бы для Дины показать, что она испугалась. Она пришпорила Саломею и продолжала ехать вперед. Лошадь по-прежнему двигалась медленно по скользким камням, человек тоже не ускорил шага, так что расстояние в несколько метров, которое все еще оставалось между ними, казалось, почти не сокращается. Она видела на голове его кефию с черным шнурком, полосатую арабскую юбку и клетчатый европейский пиджак. Когда, наконец, они поравнялись, он шагнул в сторону, и посмотрел на нее молча, открыв рот. Она разглядела щель от двух недостающих зубов и слепой белесый зрачок изъеденного трахомой глаза. Проезжая мимо, она слышала, как он что-то сказал хриплым голосом, чего она не поняла, и после минутного колебания последовал за ней. Но теперь впереди открылась ровная дорога, и испуганная Саломея сама перешла на галоп. Когда Дина снова оглянулась, она не увидела за собой ничего, кроме пустого вади среди серебристых холмов.

Оказавшись на тропинке, ведущей к Пещерепредков, Дина почувствовала, что сердце ее снова бьется спокойно, только ноги, сжимающие бока лошади, дрожали. Она обругала себя трусихой и дурой: испугалась безвредного феллаха! Слова, которые он ей сказал, очевидно, означали приветствие, и она напрасно обидела его, проехав молча мимо. Прав, наверное, Макс, говоря о человеческом к ним отношении. Ей следовало ответить ему дружелюбно и спокойно: "Мархаба" и не показывать страха. Так сделали бы на ее месте Эллен или Даша. Но Эллен и Даша не испытали того, что испытала она. Во всяком случае, сейчас она в порядке. Только ноги в стременах продолжали дрожать, потому что плоть была мудрее и знала, что то, что сказал чело-

век, не было простым приветствием.

Вид пещеры при лунном свете ее разочаровал. Поблизости не было ни дерева, ни столба, к которым можно было бы привязать Саломею, и ее приходилось тащить за собой вверх и вниз по склону все время, пока Дина разыскивала вход. Луна спустилась, было уже, вероятно, очень поздно, но небо очистилось, и стало светлей.

Наконец Дина увидела небольшую насыпь, а за ней узкое отверстие. Прижав камнем конец поводка, Дина, лежа на животе, просунула ноги в отверстие и скользнула вниз. Внутри стояла ужасная вонь. Арабские пастухи, должно быть, превратили пещеру в отхожее место. Она нервно нашарила в карманах шортov спички, которые захватила с собой из конюшни, сломала одну, зажгла вторую и нашла огарок свечи. При ее желтом свете пещера казалась не страшной, но песок в проходе весь был загажен. Прикрыв рот и нос свободной рукой, согнувшись под низким потолком, она спустилась по ступенькам в нижнюю часть пещеры. Там находились три ниши, и в средней хранились останки предка Иешуа.

Со времени ее последнего посещения пещеры чуда не произошло, череп отсутствовал по-прежнему. Кости лежали беспорядочной кучей на сыром песке ниши.

— Привет, предок! — шепнула Дина, присаживаясь на корточки.

Затем пошарила ногтями в песке в надежде найти монету. Но это захоронение кто только не грабил: римские легионеры, арабские пастухи, крестоносцы. Утащили череп, а кости так разбросали, что берцовая кость оказалась на ребрах, словно у балетного танцовщика. Ей хотелось положить кость на подходящее место, но она не могла заставить себя к ней прикоснуться. Пока она колебалась, струйка стеарина стекла на песок и застыла как раз под костями таза Иешуа и поблескивала оттуда. Дина отшатнулась и ударилась головой о низкий потолок.

Кусая ногти и подавляя тошноту, она выбралась из

ниши, поднялась в верхнее помещение, поставила огорок на место и, помогая себе локтями, выползла из отверстия. Саломея терпеливо дождалась у входа, но вместо свежего ночного воздуха, который Дина так жаждала вдохнуть, ее снова встретило отвратительное дыхание хамсина.

Губы ее тряслись, когда она села на лошадь и стала спускаться по крутой тропинке с холма. Луна скрылась, холмы стояли темной громадой. Снова проезжать через вади было страшно, но другой дороги другой не было. Если бы Джозеф или Реувен оказались сейчас рядом! Но они были далеко от нее, они спали в своих постелях и не знали, что с ней происходит. Она прочла молитву, не успев даже устыдиться своего порыва. На некотором расстоянии возвышались два почти симметричных круглых бугра. Зад гиганта — назвал их как-то Моше. Тогда она посмеялась, но сейчас отчетливо увидела лежащего на животе гиганта с поднятым к небу в кощунственной издевке задом.

Она добралась до вади. Дорога вначале была гладкой. Она вонзила каблучки в бока измученной лошади, так что та пустилась нервным галопом. Но вскоре начался узкий забитый камнями отрезок, где лошадь могла двигаться только шагом, и за одним из поворотов Дина увидела араба с зияющей щелью вместо передних зубов, стоящего посреди прохода. Но на этот раз вместе с ним поджидали ее еще двое.

11

Закончив в Хайфе все дела, Джозеф утром поехал автобусом в Тель-Авив. Большую часть трехчасового путешествия он проспал. Дорога шла через апельсиновые и лимонные рощи Самарии, прибрежная полоса которой принадлежала евреям, а параллельный отрезок земли дальше в глубь страны был арабским. Каждый раз, когда Джозеф, проснувшись, выглядывал в окно, ему виделся пейзаж, будто незащищенный фланг

армии... Когда автобус добрался до Тель-Авива, хамсин достиг высшей точки.

Оказываясь в Тель-Авиве, Джозеф разрывался между нежностью к единственному чисто еврейскому городу в мире с лирическим названием Холм Весны и отвращением к тому, что сделало с этим городом его 150-тысячное население. Это было неистовое, трогательное, сводящее с ума, место; оно набрасывалось на тебя, хватало и крутило, как в водовороте, а через несколько дней выбрасывало, обессиленного, и ты не знал, любить или ненавидеть этот город, смеяться над ним или презирать его.

Вся эта история началась при жизни прошлого поколения, когда несколько старых еврейских семейств из Яффы решили выстроить предместье "по европейскому образцу". Они покинули арабский порт с его лабиринтами базаров, экзотическими запахами и ножом из-за угла и стали строить на желтом песке средиземноморских дюн город своей мечты: точную копию еврейских предместий Варшавы, Кракова или Лодзи. Главная улица, названная в честь доктора Герцля, представляла собой два ряда безобразных зданий, похожих на сиротские дома или полицейские казармы и покрашенных розовой, зеленой или желтой штукатуркой. После первого же дождя такой дом становился похож на лицо переболевшего оспой. Во множестве убогих лавчонок торговали в основном лимонадом, пуговицами и клейкой бумагой от мух.

С началом сионистской колонизации, в первой половине двадцатых годов, город стал все больше распространяться вдоль побережья. Он рос скачками с каждой новой волной иммиграции, и приливы асфальта и бетона наступали на дюны. Не было ни времени, ни желания планировать строительство. Город рос как сорная трава — бурно и беспорядочно. Каждый новоприбывший с капиталом строил дом по собственному вкусу, и горе было муниципальным властям, если им приходило в голову в это вмешаться. Мы же на нашей Обетованной земле! В течение, примерно, десятилетия,

пока среди иммигрантов преобладали выходцы из Восточной Европы, источником вдохновения для строителей оставался каменный муравейник польского местечка. "Холм весны" превратился в скопище отштукатуренных домов с ржавыми перилами узкогрудых балконов, с приделанными кое-где для разнообразия коническими колоннами и римскими портиками.

Но стиль жизни Тель-Авива в те времена определяли не те, для кого дома строились, а те, кто их строил. Первый еврейский город был по своему характеру халуцианским, в нем преобладали рабочие обоюбого пола в возрасте до двадцати лет или немногим больше. Улицы принадлежали им. В моде были рубашки цвета хаки, шорты и темные очки. Галстук, пренебрежительно называемый селедкой, попадался редко. По вечерам, когда слепящий блеск дня сменялся прохладным ветром с моря, молодые люди гуляли, взявшись за руки, по теплomu асфальту новых улиц, утыкавшихся в дюны. По ночам они жгли костры и отплясывали хору на пляже. Иногда вытаскивали из постели представительного мэра, господина Дизенгофа, приводили его на пляж и заставляли плясать вместе с ними. Это были работающие, веселые и сентиментальные ребята. Их несла волна энтузиазма, и эта волна не спадала. Только к вопросу об употреблении языка иврит они относились болезненно. Они отчаянно воевали против всякого иного языка и победили в этой войне. В автобусах, ресторанах, на афишных столбах были расклеены лозунги: "Евреи говорят на иврите". Заграничных ораторов, пытавшихся выступить на собраниях по-польски, по-немецки или на идиш, стаскивали с трибуны, а иногда и избивали. В те времена было мало кафе и много рабочих клубов. Там кормили в кредит и продукты продавали тоже в кредит. Также в кредит хозяева сдавали комнаты в домах, построенных в кредит. А город, вместо того, чтобы уйти в песок, на котором он строился, рос и набирал силу.

Да, десять лет назад было старое доброе время!

Пока Джозеф проходил в шумной толпе по улице Элизера Бен-Иехуды, из двух чувств, борющихся в его груди, отвращение взяло верх. Эта пестрая, дешевая левантийская ярмарка не тот халуцианский город, который он знал и любил. На каждом шагу из ярко разукрашенных кафе вырывались усиленные микрофонами голоса эстрадных певцов родом из бухарестского предместья и стареющих артистов из Салоник, исполняющих на иврите американские имитации кубинских серенад. Косметические салоны и антикварные магазины в резком свете солнца казались порождением полуденного сна обожравшегося гурмана. Это был новейший квартал города, построенный иммигрантами, недавно приехавшими из Германии и стран Восточной Европы. Былая идиллия отштукатуренных зданий вытеснялась агрессивным кубизмом функционального стиля. Дома, как военная флотилия из бетона, с парапетами террас, выступающими, словно корабельные рубки, казалось, приготовились стрелять друг в друга. Не видно было ни горизонта, ни перспективы, глаз устало метался по прерывистым контурам зданий и не находил покоя.

На прошлой неделе, когда Джозеф столкнулся с Метьюсом, тот пригласил его на обед в приморское кафе "Шампиньон". Проходя по переполненной посетителями террасе, где оркестр исполнял "Веселую вдову", Джозеф видел, что люди оборачиваются и смотрят на него. Он был здесь единственным человеком в одежде киббуцника. Внезапно он заскучал по Башне Эзры, как будто покинул киббуц не два дня назад, а уже давным-давно.

Метьюс сидел за столиком у самых перил и о чем-то спорил с официантом. Увидев его явно нееврейское лицо с тяжелой челюстью и по-боксерски покалеченным носом, Джозеф ощутил внезапное облегчение.

— Послушайте, — говорил официанту Метьюс, — я заказал бутылку шабли. А это сироп.

Официант в белом пиджаке со слишком короткими рукавами, пожал плечами:

– Простите, но на бутылке написано "шабли".

– Это дрянь. Попробуйте.

– Но посмотрите же на надпись. Может, ему положено быть сладким? Я не знаю. Я прежде был учителем в Ковно, в Литве.

– Да вы попробуйте.

– Но я не пью. У меня, извините, язва.

– Тогда уберите это и принесите пива.

– Пива нет, только вино.

– Так позовите заведующего.

– Заведующий занят.

– Послушайте, – сказал Метьюс, – а что если я разобью бутылку о вашу голову?

ПокOLEбавшись, официант унес бутылку и через минуту вернулся с двумя кружками холодного как лед пива, улыбаясь всем своим помятым лицом.

– Ну, как вам нравится Тель-Авив? – спросил Джозеф.

Метьюс с удовольствием сделал большой глоток и поставил кружку на стол.

– Превосходный город с превосходным народом, если бы только можно было раз в день побить кому-нибудь морду.

– Особенно хороши официанты.

– Может, бедняга действительно был учителем в Литве и нажил язву в концлагере?

Джозеф оглянулся по сторонам и вздохнул. Хамсин был отпечатан на лицах, как судорога. Пышнотелые женщины были одеты дорого и безвкусно. Мужчины с опущенными плечами и впалой грудью уныло размышляли о своих язвах. Каждая пара, казалось, продолжает давно начатую перебранку под покровом звуков из "Веселой вдовы".

– Не удивительно, что нас не любят.

– В таком случае вы – настоящий патриот. Со времен пророков ненависть к своему народу является еврейской формой патриотизма.

Джозеф вытер лицо. Хамсин давал себя знать. Как надоели ему иудаизм и гебраизм – судорожные попыт-

ки оживить то, что было мертвым две тысячи лет!

— Хорошо рассуждать вам, благожелательному чужестранцу. Мы больной народ. Традиция, форма, стиль — все исчезло. Оглянитесь, и вы увидите кругом наследие гетто. Оно слышится в льстивой напевности женских голосов и в том, как мужчины пожимают плечами.

— Видимо, жест этот был их единственной защитой. Иначе весь народ сошел бы с ума.

— Знаю. Это я и сам себе повторяю. Но иногда все надоедает, и хочется бежать в страну с умеренным климатом, умеренными людьми, не мыслящими абсолютными категориями. Даже небо подчиняется здесь принципу "все или ничего". Девять месяцев в году — испепеляющая жара без капли дождя, и три месяца — потоп.

Он откинулся на стуле и выпил пива.

— Приятно. Мне вспомнилась деревенская пивная на родине. Темная, прокуренная, мужчины там производили одно слово в полчаса.

— Естественно: если вы безгласный вол, вам хочется казаться болтливым попугаем. А попугаю хочется быть полным молчаливого достоинства волком. Пейте пиво и кончайте свою достоевщину.

Джозеф выпил пива и улыбнулся:

— Конечно, толпа на собачьих скачках у меня на родине представляет собой не более привлекательное зрелище, чем эта публика. Но недостатки в других народах наблюдаются в разбавленном виде, а здесь все сконцентрировано. Думаю, что это результат многолетних браков между кровными родственниками. Нас называют солью земли. Но если свалить всю соль в одну тарелку, получится несъедобное блюдо. Иногда мне кажется, что Мертвое море — прекрасный символ нашего народа. Единственное озеро ниже уровня моря, насыщенное минералами и едкими щелочами: пересоленное, переперченное, пересыщенное...

— Из него добывают множество полезных веществ, — заметил Метьюс.

– О да. Маркс, Фрейд, Эйнштейн. То, что выпадает в осадок. Но блюдо не становится съедобнее.

– Как насчет того, чтобы подзаправиться? Официант! Не слышит. Наверное, был дирижером оперного театра в Данциге.

– Беда этого города в том, что десять лет назад иммигранты были в основном добровольцами с идеалами, а сейчас – получившие по заду изгнанники – самый соленый слой Мертвого моря.

– Не волнуйтесь за ваше Мертвое море. Важны не потерпевшие крушение люди, а новое, родившееся здесь поколение. А оно в порядке.

– С ними другая крайность: совсем пресные. Никаких исканий, никакой духовности.

– Господи, нельзя же быть всем сразу. Может, вам стоит лет на пятьдесят воздержаться от производства эйнштейнов и дать этот шанс другим народам.

– Знаете, а вы лучший пропагандист израильской идеи, какого я только встречал. Христианам это лучше удастся, чем нам. Все наши пропагандисты гликштейны.

– Ага. Один арабский джентльмен на днях обвинил меня в том, что Гликштейн мне платит. А дело в том, что я видел, как ваша "Маккаби" обыграла футбольную команду английской полиции со счетом 3:1. В тот момент, когда судью унесли на носилках, я стал сионистом. Купим-ка газет.

На террасу вошел газетчик, выкрикивая заглавия вечерних выпусков. Метьюс купил все выпуски и протянул через стол Джозефу:

– Все они напечатаны в обратном порядке. Ну, какие новости о делах господина Гитлера?

Джозеф развернул газету и, пробежав глазами заголовки, по привычке обратился к последней странице, где мелким шрифтом печатались новости из киббу. Внезапно он страшно побледнел.

– Что случилось? – спросил Метьюс. – Новый Мюнхен? Во Франции?

– Нет. Просто они убили Дину.

— Здесь только один стул. Придется тебе сесть на постель, — сказал Шимон.

Его комната в старом квартале Тель-Авива похожа была на тюремную камеру. Узкая кровать, стол с примусом и шаткий стул. В картонной коробке под кроватью хранилось все имущество Шимона. Однако вид у комнаты был опрятный. Он осторожно снял примус со стола и поставил на пол.

— Я могу выходить только вечером, поэтому приходится самому готовить. Квартира принадлежит старику, он торгует подержанными книгами. Целый день его нет.

Джозеф сел на скрипящую под ним кровать, которая опустилась чуть не до самого пола.

Шимон сидел перед ним на стуле.

— Расскажи мне все, — попросил он.

— Нечего особенно рассказывать. Доктор говорит, что их было по крайней мере двое. Должно быть, она отчаянно сопротивлялась: ногти были сломаны, а под ними — кровь и клочки кожи. Также и между зубами. Ей сломали нос, и вырвали клочки волос вместе со скальпом. Нанесли двадцать семь ударов ножом. Ни один из них не мог причинить мгновенную смерть. Это все. Они также украли Саломею.

Он говорил монотонно, как будто отчитывался на собрании в Башне Эзры.

— А полиция? — спросил Шимон.

— Полиция прибыла на следующее утро. Привели ищеек. Майор сделал все, что мог. Обнаружили два следа, которые сошлись в карьере за Кафр-Табие. Одна из собак привела к дому мухтара. Допросили мухтара и еще нескольких жителей деревни. Никто ничего не знает.

— Это все?

— Да. Все, что смогла выяснить полиция. Но едва ли есть хоть один житель деревни, который не побывал бы в доме мухтара.

Они помолчали. Джозеф закурил и предложил Шимону сигарету. По тому, с какой жадностью тот затянулся, было видно, что он давно уже не мог себе позволить такой роскоши.

— Ну, а как Реувен и другие?

— После похорон я спорил всю ночь с Реувеном и Моше. Я напомнил, что это — пятый случай, и полиция никогда ничего не находит и не найдет. Они сказали, что готовы отомстить, если найдется виновный, но отказываются убивать без разбору. — Он помолчал и добавил: — Надеюсь, не стоит повторять их аргументы.

— Нет, я знаю их наизусть: сдержанность, нравственность, чистота нашего дела. Весь набор. И что из этого получается?

— Я сказал, что покончил со спорами и ухожу от них. Они отнеслись ко мне очень прилично, дали месяц отпуска, чтобы я все обдумал.

Он сгорбился на кровати, желтый и помятый, как больная обезьяна.

— Так, значит, обстоят твои дела, — сказал Шимон задумчиво. Потом спросил: — Предположим, ты решишь уйти. Как насчет Эллен?

— Эллен переживет. И для ребенка особенного значения это иметь не будет.

Он помолчал и вдруг вскочил.

— Единственное, что меня интересует, это — смогут ли и захотят ли ваши ребята взяться за это дело. Остальное не имеет значения, — сказал он резко.

Шимон посмотрел на него холодно и осторожно ответил:

— Доложу Бауману, он снесется с командованием.

— Я хотел бы сам поговорить с Бауманом.

— Наверное, это можно устроить. Но понадобится время.

Джозеф сел, прислонился к стене и невидяще уставился в потолок желтыми глазами больной обезьяны.

С улицы донесся негромкий, но настойчивый свист.  
— Кто-то ко мне пришел. Сейчас ты должен уйти. Приходи в это же время завтра. Может быть, будут для тебя новости.

Джозеф покорно встал и пошел к двери. Шимон сжал ему плечо.

— Возьми себя в руки. Между прочим, я сам был когда-то влюблен в Дину. Но не в этом дело. Дело в том, что такие вещи происходят с нашими братьями в Европе ежечасно.

— Мне все равно.

— Тогда пойди и утопись, — сказал Шимон, вытолкнул его на площадку и захлопнул дверь.

Джозеф схватился за перила, постоял несколько минут безвольно, потом вытер глаза и стал медленно спускаться по узкой лестнице.

13

С того дня, когда Дина отправилась к Пещере предков, прошла неделя. В полночь к спящей деревне Кафр-Табие подъехала машина и остановилась у дома мухтара. Два человека в одежде бедуинов подошли к наружной лестнице, ведущей на балкон. С балкона было видно, как прожектор Башни Эзры описывает дугу вокруг темных холмов. Дверь в комнату мухтара была открыта. У порога на подстилке спал слуга. Его тихо потрясли за плечо, он торопливо вскочил.

— Мархаба, — обратился к нему один из мужчин на гортанном диалекте, — нас послали поговорить с мухтаром.

— Добро пожаловать. Кто вас послал?

— Тот, чье имя произносят только шепотом.

Мужчины прошли в помещение, слуга шел следом. Из угла комнаты доносился храп мухтара, потом храп внезапно прекратился.

— Кто там? — раздался его повелительный голос.

Слуга зажег лампу на полу под портретом Чембер-

лена с подвешенными от дурного глаза синими бусами. Мужчины коснулись кончиками пальцев лба и сердца.

— Мархаба, — снова сказал гортанным голосом невысокий, смуглый и жилистый человек с редкой бородой по краям подбородка. — Нас послали за тобой. Мы приехали на машине.

— Кто вас послал? — спросил мухтар. Он сидел на кровати в желто-голубой полосатой пижаме. Средняя пуговица на животе расстегнулась, так что видны были черные волосы. Смуглый кивнул многозначительно в сторону слуги.

— Уйди, — приказал мухтар с потемневшим лицом.

— Фаузи эль-Дин вернулся в горы. Он послал нас за тобой. Собирайся, мухтар.

Мухтар переводил взгляд с одного на другого.

— Говорили, что Фаузи сдался англичанам.

— Мало ли, чего говорят. Одевайся, мухтар, у нас мало времени.

Мухтар не двигался.

— Где находится Фаузи? — спросил он.

— Ты узнаешь, когда прибудешь. Фаузи не любит ждать.

— Я пошлю к нему Иссу, как раньше.

— Он хочет видеть тебя, а не Иссу. Одевайся, мухтар.

Они смотрели на него тяжелым взглядом.

— Махмуд, — позвал мухтар слугу, — принеси одежду!

Пока он одевался, они ждали на балконе, спиной к открытой двери, не говоря друг с другом. Вдалеке тонкий луч с Башни Эзры медленно очерчивал круги в темноте. Мухтар вышел полностью одетый в сопровождении слуги. Его белая куфия со шнуром из серебряных нитей спускалась на плечи. Он был на голову выше бородатого. Второй человек был среднего роста, коренастый и не такой смуглый.

— Я желаю взять с собой Иссу — сказал мухтар.

— Нам сказано было привезти тебя одного.

У лестницы мухтар на мгновение задержался. Мужчины стояли за ним.

– Я вернусь к утру, – бросил он через плечо слуге, – нет нужды никому ничего говорить.

– Мир тебе, мухтар, – в спину мухтара отвесил слуга поклон.

Они сели в машину – мухтар и невысокий человек на заднее сиденье, второй – за руль. Молча ехали по каменистой неровной дороге. Когда спустились к подножью холма, мухтар спросил:

– Откуда вы?

Он не мог уловить, на каком диалекте говорит невысокий человек. В его гортанном выговоре слышался иностранный акцент.

– Из Хадрамута.

Ага, йеменит. Вот почему он не узнал диалекта, подумал мухтар. Он никогда раньше не встречал йеменитов, кроме одного йеменского еврея, у которого однажды купил серебряный браслет на базаре в Иерусалиме. Он еще удивился, как чисто говорил по-арабски тот маленький жилистый еврей. Внезапно у мухтара мелькнуло страшное подозрение. Он перегнулся к шоферу, который до сих пор не сказал ни слова.

– А ты откуда?

– Из Бейрута, мухтар.

Понятно, – типично сирийский ублюдок. Кого только у них там нет. Один Бог может знать предков сирийца из Бейрута. Евреи из Бейрута тоже ублюдки, и многие ходят в арабские школы... Дурацкие мысли, успокаивал себя мухтар. Разве он сын смерти, чтобы думать о таких нелепостях? Дело в том, что внезапное возвращение Фаузи потрясло его. Он надеялся, что навсегда избавился от патриотов. А тут еще это дело с мерзавцем Иссой. Придется, видно, отослать его на всякий случай в Бейрут. Сам Исса ему ничего не сказал, но он видел его расцарапанное лицо и глубокую рану на руке, как от укуса собаки. Исса объяснил, что упал с лошади, но мухтар догадался, в чем дело. И догадался про двух других, Ауни и Арефа. Правда, бесстыжая сука сама напросилась – одна ехала ночью

на лошади с голыми руками и ногами...

Машина достигла входа в вади с той стороны, где дорога была ровной. Где-то здесь все и произошло. Снова в его мозгу вспыхнуло подозрение, на этот раз более настойчивое.

— Отсюда пойдем пешком, мухтар, — сказал йеменит.

— Куда? — спросил мухтар, не шевелясь.

— Увидишь, мухтар.

Водитель выключил фары, вышел из машины и остановился у дверей со стороны мухтара. Тот переводил взгляд с одного на другого, но не мог рассмотреть в темноте выражение их глаз. Отдуваясь и нарочито неловко, чтобы показать, что он совершенно спокоен, мухтар медленно вылез из машины.

— Иди вперед, мухтар, — сказал йеменит. Мухтар пошел, те последовали за ним. Его куфия белела в темноте в трех шагах от них, и по наклону его плеч они знали, что правой рукой он сжимает за поясом нож. Они дошли до крутого поворота в вади, откуда слева был виден округлый силуэт холмов-близнецов, называвшихся Зад гиганта.

— Стой, — сказал йеменит. — Стой спокойно и брось нож, мухтар. Мы прибыли.

Мухтар повернулся с живостью, неожиданной при его полноте. Два ружья на расстоянии трех метров были нацелены ему в живот. Поколебавшись, он бросил нож, который упал с резким звоном на камни.

— Сколько вы хотите? — спросил он сдавленным голосом.

— Стань у скалы, — сказал йеменит. Мухтар отступал, пока не уперся спиной в скалу.

— Кто убил еврейскую девушку? — спросил йеменит.

Так они не знают, идиоты! Конечно, если бы знали, то взяли бы вместо него Исса и тех двоих.

— Какая еврейская девушка? — В его голосе звучало искреннее удивление.

— Не разыгрывай дурака, мухтар. Или ты назовешь

убийц, или умрешь вместо них.

— Я слышал, что произошел несчастный случай с еврейской девушкой, но больше ничего не знаю.

Человек из Бейрута внезапно прыгнул вперед и ударил его прикладом по лицу. Мухтар не шевельнулся. Только провел медленно рукой по лицу, посмотрел на кровь, опустил руку и выплюнул выбитые зубы.

— Кто ее убил? — снова спросил йеменит.

— Кого?

Сириец опять ударил его прикладом, изо всех сил, по лицу и в голову. Цепляясь ладонями за скалу, мухтар медленно сполз на колени. Несколько секунд оставался в таком положении, тяжело дыша, затем сел на камни, прислоняясь спиной к скале.

— Англичане повесят вас, — с трудом выговорил он.

— Если не скажешь, кто убил еврейскую девушку, ты умрешь, мухтар, — сказал йеменит.

Мухтар тяжело дышал.

— Не знаю. Кто она вам? Вы не из ее деревни.

— Она была из нашего племени, мухтар. Поэтому мы должны убить одного из ваших, чтобы смыть позор.

Сквозь туман, заволакивающий мозг, мухтар смутно понимал, что йеменит прав.

— Мы заплатим деньги, — проговорил он. Он чуть не падал, с трудом поддерживая себя в сидячем положении. Все спуталось, он вообразил себя молодым, торгующимся с каким-то бедуином, плата за кровную месть.

— Мы заплатим вам сорок верблюдов, — говорил он, задыхаясь и повторяя, как молитву, традиционный список верблюдов, которых следовало отдать в оплату:

— Раба и Рабайя, самец и самка, четырехлетки. Хаг и Хага, самец и самка, моложе четырех лет. Джд и Джеда — до года...

— Кто убил еврейскую девушку? — снова спросил йеменит.

— Она была шлохой, — задыхался мухтар. — Кто их

осудит? Вы чужаки. Поставщики шлюх и разврата. Чужаки вы...

Его тяжелое тело рухнуло. Йеменит подхватил нож мухтара с камней.

— Очнись, мухтар, сейчас ты умрешь, — сказал он.

Мухтар приподнялся и сделал попытку уползти на четвереньках. Секунду йеменит смотрел, как он слепо, забирая вбок, двигался среди камней. Затем всадил ему нож между лопаток. Мухтар застонал и пополз быстрее, и йеменит стал наносить ему удар за ударом, пока тот не рухнул на живот.

Его нашли на другой день на том месте, где погибла Дина. На теле мухтара обнаружили 27 ножевых ран и напечатанную на арабской машинке записку: "Мечь совершилась, позор смыт" — слова, которые с древних времен произносят члены бедуинских племен, когда мстители убивают кровного врага.

Расследование установило, что убийцы приехали на машине из другой части страны. Никаких доказательств их связи с поселенцами Башни Эзры не было найдено. Выяснилось, что это были выходцы из арабских стран, один из них — йеменит. Далее полиция предположила, что убийцы принадлежат к пресловутому "черному отряду" Баумана, в котором состоят выходцы из Ирака, Курдистана, Йемена и Сирии; но ничего конкретного доказать не удавалось.

После похорон мухтара толпа жителей Кафр-Табие поднялась по склону Собачьего холма и в сторону киббуца полетели камни. Полиция разогнала арабов. Несколько дней деревня была возбуждена, распространялись слухи, что Фаузи вернется и сожжет еврейское поселение. Слухи эти воспринимались со смешанным чувством: патриоты были для деревни нелегким бременем, так как отбирали коров и овец. К тому же близилось время сбора зимнего урожая, а всякие беспорядки могли помешать работе.

В целом реакция жителей на смерть мухтара была достаточно слабой. Хотя они и называли еврейских

девушек шлюхами и суками, но гнусного поступка Иссы и его сообщников не одобряли. Иссу в деревне не любили, а двое других имели славу отпетых мерзавцев, дважды сидевших в тюрьме. После убийства еврейской девушки жители деревни каждый день ждали, что по крайней мере одному из троих перережут горло. То обстоятельство, что вместо Иссы выбор евреев пал на мухтара, явилось неожиданностью, но вполне соответствовало законам кровной мести, согласно которым пострадавшая сторона может расправиться с первым попавшимся близким родственником убийцы. То, что убит был самый важный член клана Хамдан, произвело на жителей сильное впечатление. Совершенно ясно, что Исса сам должен отомстить за отца, и будет серьезным нарушением обычая вмешиваться в это дело.

Исса, однако, не слишком торопился что-либо предпринимать, только изредка намекал, что тщательно готовится и скоро нападет на след убийц. Пока же он собирался в Иерусалим, якобы для той же цели, в действительности же — по делам, связанным с наследством отца. Он давно хотел побывать в городе, которого никогда не видел.

С приближением жатвы волнение в Кафр-Табие улеглось. Несколько недель еще продолжалось некоторое напряжение в отношениях между деревней и киббуцом. Жители деревни перестали пользоваться трактором из Башни Эзры и посылать своих детей в киббуцную амбулаторию. Но однажды взбесившийся мул искусал внука второго мухтара. Ребенок был спасен, и после этого отношения постепенно восстановились. О смерти Дины и мухтара никогда не упоминалось, и в последующие несколько лет никаких враждебных действий со стороны Кафр-Табие поселенцы не испытывали.

*Страницы из дневника Джозефа, члена киббуца Башня Эзры.*

*Тель-Авив, понедельник, ... мая 1939.*

Поразительно, что какое бы потрясение ни испытал человек, мир продолжает вертеться, а желудок функционировать. Благожелательное равнодушие природы, следующей своим законам, позволяет нам не сойти с ума. А мы — тоже часть природы. Сердце останавливается только на один миг. Как только оно снова забилося — мы уже подчинились универсальному закону равнодушия, и его полная победа — только вопрос времени. Меняется характер страдания: появляется чувство вины. Ибо продолжать жить — уже само по себе измена, нарушение солидарности с мертвым. До сих пор мы находились как бы в оцепенении, витая над гранью двух миров. И только сейчас до нас доходит, что грань эта окончательна и что мы этому покорились. Тем, что мы вернулись к жизни, мы проложили границу между собой и мертвыми и осудили их на вечное изгнание из своего мира. И тогда боль становится почти невыносимой.

Затем приходит следующая стадия. Личность умершего заменяется пустотелой формой. Ее отпечаток лежит на всех окружающих нас предметах, на всем, что мы делаем. Чем сильнее атакуют нас эти застывшие следы, чем больше мы от этого страдаем, тем острее чувствуем вину. Живые воспоминания окостеневают. Мы жалеем не мертвых, а себя — за понесенную нами потерю. Это эгоистическая боль, как всякая боль вообще. В этом значение поговорки: "пусть мертвые хоронят своих мертвецов".

Подчиниться жизни и вместе с тем пытаться сберечь всю полноту боли — это лицемерие, порожденное чув-

ством вины. Если выбор сделан и пути назад нет, то задача заключается в том, чтобы приспособиться к изменившемуся и обедневшему миру. Вечный плакальщик живет в надежде, что все может стать по-прежнему. Но этого не произойдет. Мир лишился части своего тепла. Солнечное пятно вспыхнуло и разлило жар в окружающее пространство мирового равнодушия. Спектр солнца подвергся изменениям, которые повлияли на все, что я переживаю и делаю. Башня Эзры никогда не будет той, что была. В победах будет меньше радости, в поражениях — меньше горечи. Все стало несколько менее важным, менее ярким. Только и всего. Через год только это обеднение жизни будет напоминать о той Дине, которая ехала со мной на грузовике в нашу первую ночь, которая всегда носила голубую, расстегнутую у ворота рубашку и чьи каштановые волосы падали на лицо от порывов мягкого галилейского ветра, когда мы с ней взбирались на вершину башни.

### *Вторник*

Смерть мухтара подвела окончательный итог. До сих пор казалось, что Дину похоронили с неоплаченным чеком. А сейчас по счету уплачено. Больше делать нечего.

Если бы мне разрешили участвовать в акции, может быть, я бы чувствовал себя иначе. Я помню ту ночь, когда я пытался поцеловать ее сухие губы...

***БОЖЕ, ЧТО ОНИ С НЕЙ ДЕЛАЛИ?!***

*Позднее, в тот же день.*

Я должен продолжать. Только слова помогут избавиться от боли. Я помню ту ночь, когда я пытался поцеловать ее сухие губы. После этого я лежал в поле, грыз землю и предавался неистовым мечтам о мести. То же чувство я испытывал целую неделю, пока не узнал о смерти мухтара. Я умолял Шимона разрешить мне участвовать в деле и требовал, чтобы мухтара

перед смертью мучили. Я орал на Шимона, пока он меня не выгнал. А сейчас мне все безразлично. Осталось только отвратительное ощущение разрядки и сознание того, что все кончено и ничего больше нельзя предпринять.

Правило "око за око" было бы мудрым, если бы можно было вернуть жертве зрение. По собственному опыту знаю, что желание отомстить можно ощутить физически, как жажду, но утолить его нельзя, как не утолишь жажду соленой водой. Оттого убийцы продолжают в бессильной ярости наносить уже мертвой жертве удары. Но мертвый всегда победитель.

### *Среда*

Если бы я был способен на эмоции, я пожалел бы, вероятно, толстого мухтара. Все же я считаю, что акция была необходима. Нравится это нам или нет, но вся жизнь общества основана на молчаливом допущении коллективной ответственности за действия индивида. Первый парламент был учрежден "англичанами", и каждый англичанин этим гордится и как бы участвует в этом акте. То же относится к правам человека, которые "французы" дали миру. То же и с концлагерями, в которых нас уничтожают "немцы". На войне мы исходим из принципа равномерного распределения ответственности. Взрывая бомбу на арабском базаре, люди Баумана выполняют тот же бесчеловечный военный долг, что и экипаж бомбардировщика. Конечно, нажать блестящую металлическую кнопку на высоте нескольких тысяч метров не только безопаснее, но и гигиеничнее, чем всадить нож в жирного мухтара. Публике претит не само убийство, а связанные с ним подробности и сопровождающий его беспорядок. Наша этика всего лишь замысловатая форма шизофрении.

Но все это не имеет никакого отношения к Дине. Желание мстить за нее я больше не испытываю. Если я решу присоединиться к Бауману, то не из-за нее. Дина, в твои руки со сломанными ногтями я передаю

свою душу, но не разум. Сердце мое испепелено, но разум холоден.

### *Суббота*

Прошло больше половины моего отпуска. Оглядываясь назад, я вспоминаю эти две недели, как тусклое бесформенное пятно. Большую часть времени я работал над переводом Пелиса. Не знаю, что бы я делал, если бы Моше не дал мне денег на комнату, которую я снял тут. Ни с кем, кроме Шимона, я не разговаривал. Однажды пошел к морю купаться, но вспомнил, как последний раз купался с Диной. Я постоянно голоден, но не в состоянии есть то, что она любила. Сперва я перебрал все связанные с ней воспоминания, теперь я избегаю всего, что напоминает о ней. Как больной с перевязанной раной боится наткнуться на мебель, так я боюсь зацепиться памятью за то, что причинит боль.

Я должен принять решение, но не способен продумать все что надо до конца. Вероятно, настоящие решения вызревают сами, так, как растет дерево. Я отложил решение до разговора с Бауманом. Шимон сказал, что встреча состоится на будущей неделе. Им придется соблюдать осторожность: на днях была арестована целая группа.

Беда, что мне все более или менее безразлично. Дома я не был с самых похорон. Боюсь увидеть кибуц. Болен новой болезнью — "башнефобией".

Но и альтернатива не сулит ничего привлекательного. Ликвидировать кого-нибудь? Быть пойманным и повешенным? Что ж, это неплохо. Но не так-то легко дается. Все нелегко в нашем специализированном мире. Участвовать в убийстве мухтара мне не позволили. Чтобы заслужить петлю, надо начать снизу, терпеливо работать, поднимаясь вверх. Шимон не пожалел труда, чтобы преподать мне курс терроризма. Но у меня не хватило терпения отнестись к террору, как к практическому садоводству или кролиководству. С одной стороны, слишком отдает кинематографом. С другой — у меня нет терпения ни для чего. После

ночных объятий с призраком на дневную жизнь уже не остается сил.

Мой внутренний механизм сломался. Где найти новую пружину?

Слова, слова. Беда в том, что мне теперь наплевать на конференцию Круглого стола, на арабов, евреев и Национальный очаг. Не знаю, интересовался ли я всем этим по-настоящему прежде. "Инцидент", который толкнул меня изменить всю мою жизнь, слишком ничтожен даже для впечатлительного молодого человека, каким я был. У Шимона, например, все было по-другому. Шимон настоящий римлянин: любит свой народ и ненавидит его врагов. А мне евреи скорее неприятны. Ненависть к своему народу — форма еврейского патриотизма, как считает Метьюс.

### *Воскресенье*

Когда-то отец каждое воскресенье брал меня с собой в район трущоб. Там я узнал, что бедняки — просто безграмотные пьяницы, и они вовсе не такие добрые и возвышенные, как их изображают в волшебных сказках. Их женщины — ведьмы с резкими голосами, а дети — завшивлены и грязны. Я стал социалистом не потому, что полюбил бедных, а потому, что они мне были противны. Такими их сделали обстоятельства. Значит, надо обстоятельства изменить.

После "инцидента" я стал встречаться с теми, кого решил считать своим народом. Они меня разочаровали, как когда-то бедняки. Меня привлекали их проникаемость, пылкость и острый ум и отталкивала их крикливость, их склонность к анализу и неумение расслабиться. Меня раздражало их дурное воспитание, слишком быстрый переход от элементарной вежливости к фамильярности, смесь наглости и подхалимства в их поведении. Это был трущобный народ, народ гетто, независимо от того, построены ли стены гетто из камня или из предрассудков.

Постоянная сегрегация способна затормозить развитие самого здорового народа. Если людей постоянно

забрасывать грязью, они начнут вонять. В течение последних двадцати столетий преследования евреев не прекращались, и нет никаких оснований рассчитывать, что они прекратятся в двадцать первом. Они не прекратятся, пока не исчезнет причина, которая заключается в нас самих. Несмотря на все, чем нам обязано человечество, любить нас не за что. Если бы бедняки были таковыми, какими их изображает пропаганда, преступлением было бы менять их положение. Если бы евреи были такими, какими их изображают юдофилы, не было бы причин для возвращения. Но евреи — больной народ. Их болезнь заключается в бездомности.

Я стал социалистом из-за ненависти к беднякам, а евреем — из-за ненависти к жидам.

### *Понедельник*

По совету Шимона перечитываю главы Иосифа Флавия о Масаде.

*"Перед тем, как убить женщин и детей, а потом покончить с собой, командир крепости объяснил гарнизону, какая судьба ждет тех, кто попадут живыми в руки римлян. Затем он продолжал: "Я знаю, что вы не лучше других народов: не добродетельнее их и не мужественнее. Вы боитесь умереть, хотя смерть избавит вас от ужасных мучений. С древних времен законы нашей страны и Божественный закон учили нас, что бедствием является жизнь, а не смерть, потому что Божественное и смертное несовместимы..."*

В конце концов ему удалось убедить своих людей перерезать глотки женщинам и детям, а затем покончить с собой. Из всех защитников крепости история сохранила только имя их командира Элизера Бен-Яира. Яиром назвал себя Авраам Штерн, командир группы Баумана.

Кошмарная история последней еврейской крепости оказывает, однако, странно успокоительное действие. "Несовместимость Божественного и смертного" — это, несомненно, христианское влияние, хотя ни Бен-

Яир, ни пишущий о нем Иосиф Флавий не могли знать о новой секте. Но это было время стенаний и зубовного скрежета, и новая религия, с ее подчеркиванием бессмертия и воскресения, носилась в воздухе. "Кто в состоянии, — спрашивает Бен-Яир, говоря о массовых убийствах евреев римлянами, — памятуя обо всем этом, выносить свет солнца?" Думаю, что нечто подобное чувствуют наши современные террористы. Еврейское подполье возникло как чисто политическое движение, но постепенно приобрело мистическую окраску. Шимон показал мне вчера стихи Яира-Штерна. Для них характерна странная архаическая горячность, плохо поддающаяся переводу:

Мой учитель несет свой таллит  
в бархатной сумке в синагогу,  
Так я несу свою священную винтовку в храм,  
Чтобы голос ее молился за нас.

А вот рефрен к гимну, который он написал для подполья:

Это дни гнева, ночи священного отчаяния:  
С боем пробейся домой, вечный бродяга,  
Мы восстановим твой дом и починим разбитый  
светильник.

Как видно, Шимон относится к Яиру с почти религиозным поклонением. Шимон воспринимает Яира как некоего мессию-разбойника.

### *Вторник*

Завтра в Иерусалиме состоится, наконец, моя встреча с Бауманом. Хотя Шимон никогда этого не говорил, я почему-то представлял себе, что Бауман где-то тут, за углом, в Тель-Авиве. Шимон никогда не разыгрывает из себя конспиратора, конспирация это его вторая натура, поэтому ее не замечаешь. Он не лжет, он просто избегает говорить о фактах, имеющих отношение к де-

лу. Чем ближе я подхожу к этим людям, тем больше чувствую, что вступаю в полосу густого тумана, в котором все приглушено, и смутно слышится лишь обманчивое эхо.

Оставить комнату, где я прятался со дня похорон, — значит порвать еще одну нить, связывающую меня с Диной. Никогда не было между нами той близости, какая возникла в этих одиноких стенах. Ее портрет висит над моей кроватью. Я сниму его в последний момент. Это была наша общая комната, где мы провели наш горький медовый месяц. Завтра Дина снова станет бездомной. Ей предстоит новое изгнание, новое предательство. Закон всеобщего равнодушия одержит еще одну победу.

15

Город Иерусалим представляет собой мозаику из религиозных и национальных общин, более или менее аккуратно разделенных по месту жительства, соревнующихся в святости и полных взаимной вражды. Каждый из этих отдельных миров живет в расстоянии нескольких минут ходьбы друг от друга. Они глазят и фыркают друг на друга, как фыркает верблюд на выхлопные газы, и получают от этого фыркания такое же удовольствие, как верблюд.

В ночь после приезда в Иерусалим Джозеф и Шимон шли по плохо освещенному арабскому кварталу Мусрара, почти безлюдному в этот поздний час, затем свернули в Меа Шеарим.

— Даже с завязанными глазами я узнал бы Меа Шеарим по его священной вони, — сказал Джозеф.

Последние несколько минут они шли молча, и Джозеф заговорил лишь для того, чтобы разрядить напряжение. Но тут же вспомнил, как действовали запахи на Дину, и понял, что Шимон об этом вспомнил тоже. Линии высоковольтной передачи, протянутые из их общего прошлого в Башне Эзры, все еще функциони-

ровали, хотя и тащились по земле, как поврежденные бурей телеграфные провода. Джозеф по-прежнему чувствовал, что привязан к Шимону, хотя и они сами, и их отношения изменились.

— Можно воспринимать Меа Шеарим и с этой точки зрения, — ответил Шимон, — я расскажу тебе о другой. Несколько недель назад двое престарелых рабби связались с командованием. Со всеми предосторожностями их привели к Бауману. Я присутствовал при встрече. Когда их привели на явку, они буквально дрожали от страха. Заикаясь, старший рабби спросил, можем ли мы в назначенный день занять на два часа Мечеть Омара. "С какой целью?" — спросил Бауман. Рабби объяснил, что они — каббалисты, изучают Зохар и установили с полной несомненностью, при каких условиях можно добиться прихода Мессии. Год для этого благоприятный, необходимо только совершить сопровождаемое определенным ритуалом жертвоприношение на священном камне. Семь коханим уже проходят предписанный ритуал очищения, животные для жертвоприношения куплены. Все, что необходимо, — это занять на два часа Мечеть Омара.

"Понимаете ли вы, что это обойдется нам во множество человеческих жизней и немедленно повлечет гражданскую войну?" — спросил Бауман. "Да, вероятно, будут убитые, — сказал рабби. — Но ведь через несколько часов последует воскресение из мертвых. Что касается гражданской войны, — улыбнулся он, — то Мессия позаботится об этом".

Бауман сказал, что он подумает. Уходя, рабби помоложе, который был одним из избранных коханим, поцеловал Бауману руку, а старший — поцеловал его в губы. Я рад, что ты не смеешься, — заключил Шимон.

Джозеф сознавал, что несколько месяцев назад он посмеялся бы над этой историей. Даже сейчас она вызвала у него двойственную реакцию. Он завидовал Шимону, которому легко было не смеяться. Джозеф не помнил Шимона смеющимся. Редкая улыбка задевала только его губы, но не распространялась дальше.

Однажды Джозеф спросил Дашу, которая одно время была влюблена в Шимона, почему она не живет с ним. "Невозможно обниматься с бритвой", — ответила Даша.

Они свернули в Бухарский квартал. Было темно, только изредка в окне виднелась свеча или керосиновая лампа. При слабом свете луны пыль истертых камней на немощной дороге отсвечивала белизной. Прошли узкий переулок и оказались на каменистом пустыре. Здесь кончался Иерусалим и начиналась Иудейская пустыня. Где-то на этом темном склоне находились вырубленные в скале семьдесят захоронений, возможно, членов древнего Синедриона — верховного суда Израиля. Джозеф побывал здесь несколько недель назад. Захоронения напоминали Пещеру предков возле Башни Эзры и множество других каменных могил по всей стране. Страна была испещрена ими. Куда бы вы ни отправились, могилы смотрели на вас, как крошечные черные окошки на белой поверхности скал. Однако присутствия призраков не ощущалось. Как видно, здешние мертвецы были слишком стары и в близких отношениях с Богом, чтобы предаваться столь простым проделкам.

— Уверен, что в ту ночь Дина отправилась к Пещере предков, — сам не зная зачем, сказал Джозеф.

— Почему ты так думаешь? — спросил Шимон.

Джозеф не ответил. Они прошли мимо окна, освещенного изнутри свечой. Ниже уровня улицы видна была голая комната с железной кроватью, брошенным на пол соломенным тюфяком и лоскутом бухарской ткани на стене: красные солнечные диски на черном шелке. На кровати сидела молодая женщина в красном платке и кормила грудью младенца. На полу во весь рост вытянулся мужчина. При свете двух свечей он изучал развернутый перед ним толстый, желтый от времени фолиант. Рядом были разбросаны такие же громоздкие книги. Мужчина был без пиджака, в кипе и с черной бородой. Он читал очень быстро, кивая головой

и время от времени обращаясь к одной из книг комментариев, отмечая строку пальцем, потом снова возвращался к Талмуду. Женщина медленно покачивалась, взгляд ее был устремлен на свечу. Их ритмичные покачивания напоминали движение двух маятников, движущихся вразнобой.

Шимон и Джозеф прошли дальше и снова свернули. Там не было огня, но не было полной темноты, потому что звезд в иерусалимском небе множество, и они яркие и близкие. В воздухе стоял слабый запах меловой пыли, горящего дерева и тмина — в Бухарском квартале еврейские и арабские запахи перемешались. В подъезде стояли обнявшись парень и девушка в шортах. Они пристально взглянули на Шимона, по-видимому, недовольные, что им помешали. Шимон сказал что-то, похожее на пароль. "Беседер," — ответил парень. Они снова зашли за угол и чуть не наткнулись на нищего-йеменита, который спал, положив голову на ступеньки. Он проснулся, протянул руку и жалобно забормотал. Шимон сказал пароль, йеменит помахал рукой, обнажив белые зубы над редкой черной бородкой.

— Он что, спит, улегшись на своем автомате, или как? — не удержался Джозеф.

— Если ты считаешь все это комедией, еще не поздно повернуть обратно.

— Извини, пожалуйста, — сказал Джозеф.

Улица по-прежнему была темной и тихой, но Джозефу почудилось в этой тишине что-то зловещее. Из каждого темного окна за ним, казалось, следили чьи-то глаза. Подошли к воротам большого каменного дома со сводчатыми окнами и тонкими колоннами, придававшими ему слегка восточный вид. Джозеф заметил на плоской крыше силуэт человека, перегнувшегося через парапет и разглядывавшего их. Потом человек исчез. Надпись над главными воротами гласила, что это была синагога, построенная Эфраимом Бен-Худой, уроженцем Бухары, приехавшим в страну с женой, девятью детьми и пятью братьями в году 5672 от сот-

ворения мира, то есть, по подсчетам Джозефа, 50 лет назад. Они прошли главные ворота, затем вторые ворота и остановились у боковой двери. Шимон постучал условным стуком. Дверь открыл худой низкорослый старик-сторож в кафтане до пят и черной ермолке, из-под которой выбивались длинные, почти до плеч, пейсы. Не сказав ни слова, он провел их в небольшое помещение, освещенное свечой. На матрасе на полу под толстым полосатым одеялом лежала жена сторожа, женщина с круглым, обрамленным черными косами млажавым лицом и толстым телом, подымавшим одеяло горой.

Сторож проковылял в следующую комнату и запер ее изнутри, оставив пришедших в темноте. Шимон вынул из кармана электрический фонарик, и при его свете Джозеф увидел мозаичный пол, выложенный в виде шахматных клеток. Затем они прошли в зал, который, судя по тому, каким гулким эхом отзывались в нем шаги, был огромных размеров и пустой.

— Это место называется "Дворец", — сказал Шимон, — тебе придется научиться находить дорогу в темноте: на первом и втором этажах зажигать огонь нельзя. В погребе это безопасно.

Позже Джозеф узнал историю "Дворца". Это здание было задумано как синагога, ешива, а также жилье построившего его богатого бухарца. Синагога и ешива занимали первый этаж, наверху были большой банкетный зал, сейчас находившийся в полном запустении, и множество спален. Старый бухарец был еще жив: ему, как говорили, было больше ста лет. Жена его умерла, братья и дети разбрелись по свету. Он жил один в маленькой комнате с цветной стеклянной дверью, выходящей на площадку, которая когда-то служила кладовкой. Там он сидел днем и ночью, изучая Талмуд. За стариком следили почти такой же старый, как он, сторож с женой, которая была моложе мужа лет на пятьдесят. Время от времени дети и внуки навещали старика, а раз в год на Песах весь клан собирался в банкетном зале, который по этому случаю

очищался от паутины и обвалившейся штукатурки, и там вся семья вкушала трапезу из горьких трав и неквашенного хлеба и слушала рассказ об исходе из Египта.

Под первым этажом был лабиринт комнат и подвалов. Там жили когда-то слуги, их родственники, друзья и гости. Говорят, что со времени строительства старый бухарец ни разу не навещивался в подвал. Год назад один из его внуков вступил в организацию Баумана и попросил у деда разрешения использовать подвал "для целей учебы". Он не сказал, чему будет учиться, а старик разрешил, не спрашивая. Его не интересовали подвалы. Его уже ничто не интересовало, кроме святого учения и каббалистического пасьянса. Переставляя буквы Имени, он извлекал из них все новые значения.

Сторож тоже не задавал вопросов. Хотя звуки стрельбы в толстостенных подвалах доходили до него очень приглушенно, он, вероятно, догадывался, что друзья его молодого хозяина готовились воевать с мусульманами. Борьбу с мусульманами он от всего сердца одобрял: когда он был мальчиком, они отрубили ему три пальца на правой руке за кражу трех яблок, которые украл другой мальчик. Сторож знал свое место, и он словом не перекинулся ни с одним из членов организации. Что касается молодой жены сторожа, то, осмелившись один раз спросить, что означают ночные визиты в дом, неожиданно получила от своего дряхлого супруга такую свирепую порцию плетей, что больше никогда не свершала греха любопытства.

Они пересекли огромный пустой зал. Шаги слабо отдавались в тишине. Желтый свет фонарика Шимона двигался перед ними по полу, как яркая лужица. В конце коридора встретили молодого часового в рубашке и шортах цвета хаки. Когда они подошли к лестнице, ведущей в подвал, внезапно из темноты возник второй часовой. Часовые отдавали честь, шелкая каблуками и подымая правую, согнутую в локте руку с открытой ладонью. Они сошли по ступеням в освещен-

ный керосиновой лампой проход. Джозеф обрадовался: темный зал с молчаливыми часовыми действовал на него угнетающе. Трое ребят, стоя в коридоре, беседовали и при их приближении подтянулись и отдали честь. Джозеф понял, что Шимон занимает в организации довольно высокий пост.

Из-за двери, перед которой стоял очень молодой часовой, раздавался приглушенный женский голос, повторяющий с сефардским акцентом текст:

”Голос борющегося Сиона, голос освобожденного Иерусалима. Ваших братьев убивают в Европе. Что вы сделали, чтобы им помочь? Голос борющегося Сиона. Ваших братьев возвращают в Европу в плавучих гробах. Что вы сделали, чтобы им помочь? Голос борющегося Сиона...”

— Запись, — сказал Шимон, — передатчик передвижной.

Это было первое, что Джозеф узнал от Шимона, и он заволновался. Время от времени раздавались короткие залпы автоматического оружия. Хотя стреляли довольно близко, звук был заглушен. Шимон догадался о невысказанном вопросе Джозефа.

— У нас есть парень, специалист по звукоизоляции, который работал в немецкой авиационной фирме, — объяснил он со сдержанной гордостью.

Человек с портфелем пробежал мимо и улыбнулся, приветствуя Шимона. При виде улыбающегося лица, Джозеф, после всех этих слишком серьезных молодых часовых, почувствовал облегчение. Остановились перед одной из дверей.

— Подожди минуту, — сказал Шимон, постучал и, открыв дверь, столкнулся на пороге с Бауманом.

Бауман сменил поношенную черную куртку на коричневую, но в остальном изменился меньше, чем Джозеф ожидал. Бауман улыбнулся широкой улыбкой, расплывшейся по всему его добродушному лицу. Джозефу понравилось, что Бауман просто пожал ему руку, обойдясь без военного приветствия.

— Странно видеть знакомого прежних времен.

С тех пор, как я стал фашистом, это случается не часто, — сказал он с иронией, но без горечи. — Шимон мне о тебе много рассказывал, — прибавил он, разглядывая Джозефа с улыбкой, но очень внимательно.

— А мне он о тебе рассказывал мало, — ответил Джозеф.

Бауман заметил, что Джозеф улыбается не своей прежней, растекающейся по готовым морщинам улыбкой. Теперь это выглядело так, будто улыбка прокладывала новые дороги в складках кожи.

— Слушай, — сказал Бауман, — я хочу поговорить обстоятельно. Но прежде я должен повидать новых рекрутов. Может, и ты хочешь посмотреть? Это все ешиботники.

— Тебе будет интересно, — сказал Шимон Джозефу, — а мне нужно идти на заседание. Увидимся позже. — Он отковырял Бауману и пошел дальше по коридору.

— Пойдем, посмотрим на парней. Поговорим потом.

При виде ешиботников с пейсами, скользящих по улицам Иерусалима, что-то про себя нашептывающих и ничего вокруг не замечающих, с молитвенником в одной руке, тогда как другая касается стен, Джозеф испытывал легкое чувство неприязни. Иной семнадцатилетний парень в коротких штанах и черных чулках, держась за руку отца, следует за ним как малое дитя. Иногда двое, взявшись за руки и натываясь на людей, как слепые, спорят о каких-нибудь схоластических тонкостях.

Джозеф и Бауман вошли в комнату со сводчатым потолком, служившую когда-то винным погребом. Зарешеченное окно, выходящее на задний двор, было загорожено мешками с цементом. Каждую ночь мешки приходилось класть и убирать снова. Этой утомительной работой занимались рекруты.

Комната освещалась керосиновой лампой, стоящей на каменном полу. Возле нее сидел на корточках молодой парнишка и читал, шевеля губами, книгу. При

виде Баумана он осторожно сунул ее в бархатную сумку и вскочил. Его длинные пейсы болтались вдоль щек, как два штопора. Щеки были покрыты рыжеватым пушком. Черные чулки были завязаны над коленями веревками и морщинились на тонких ногах.

— Где Гидеон и двое других? — спросил Бауман.

— Пошли в тир, — ответил парень нараспев.

— Стой смирно, когда говоришь со мной, — сказал Бауман без раздражения. Парень подтянул плечи чуть не до ушей и стал похож на горбуна. Его толстые влажные губы пытались сложиться в подобострастную улыбку. Большие карие, как у эльзасского щенка глаза, выражали страх и преданность.

— Что ты читаешь? — спросил Бауман.

Парень бережно протянул ему бархатную сумку с вышитой золотом Звездой Давида. Бауман вынул из нее "Краткий справочник по оружию" — первый еврейский военный учебник, изданный организацией. Авторами его были Давид Разиель и Авраам Штерн. Книга являлась чудом лингвистической изобретательности, так как в иврите до сих пор не существовало слов для обозначения огнестрельного оружия и, конечно, не было слов для двухсот с лишним названий частей современной автоматической винтовки. Разиель и Штерн приступили к задаче с энтузиазмом ученых и со знанием дела солдат. Кафедра лингвистики миролюбивого Еврейского университета оказала значительную помощь редакторам „технического" словаря. На темносиней коленкоровой обложке значилось единственными во всей книге латинскими буквами: "Напечатано в Женеве" — шутка, которую позволили себе авторы. Книга была напечатана в подпольной типографии еврейского квартала Старого города.

Бауман погладил справочник с нежностью книголюба, держащего в руках первое издание старой книги.

— Сколько ты уже прочел? — спросил он и резко добавил: — Я не сказал: "вольно".

Плечи парнишки снова поднялись :

— Можете проэкзаменовать меня, командир. Пожалуйста, какая страница?

— Ты хочешь сказать, что учишь книгу наизусть?

— Пожалуйста — какая страница? — повторил мальчик с самоуверенностью вундеркинда.

— Страница семнадцать, — сказал Бауман.

Мальчик провел пальцами перед глазами, и через несколько секунд тело его стало раскачиваться, как в молитве.

— ...и дуло. Если предохранитель спущен и пружина под курком блокирует движение затвора, и если затвор недостаточно смазан, оружие даст осечку, — декламировал он.

Керосиновая лампа у ног отбрасывала увеличенную тень на стену. Тень раскачивалась, передразнивая движения мальчика, штопорообразные пейсы били его по ушам, как маятник.

— Достаточно, — сказал Бауман, быстрым движением взял свою винтовку и высыпал пули из обоймы на ладонь. Мальчик замороженно смотрел, подняв угловатые плечи.

— Держи, — сказал Бауман. Мальчик взял винтовку; он напряженно держал ее дулом вниз, слегка отстранив от тела. Внезапно Бауман ударил его по руке, винтовка упала на пол. Бауман отскочил назад, размахнулся и с силой ударил его по обеим щекам. Мальчик стоял, подняв плечи и не пытаясь защититься.

— Это тебя научит держать винтовку крепко, — сказал Бауман спокойно, — возьми-как ее снова.

Мальчик поднял винтовку с полу. Секунду соображал, как ее лучше держать, затем отступил на шаг, крепко прижал винтовку локтем к бедру и направил ее на Баумана. Его длинные желтые зубы впились в губу, в карих глазах зажглась искра. Казалось, что один этот жест нацеленного ружья что-то в нем изменил. Будто ток прошел от курка по телу, снимая скованность и придавая ему кошачью собранность

и ловкость. Глаза мальчика сузились и пристально уставились на Баумана.

— Так-то лучше, — сказал Бауман.

Тут же тело мальчика расслабилось, к нему вернулась прежняя неловкость. Он вернул Бауману винтовку.

— Ну как? — спросил Бауман.

Парень сглотнул:

— Я заслужил это, командир.

— Вот именно. Можешь продолжать.

Он повернулся на каблуках и вышел в сопровождении Джозефа из комнаты. Парень, напряженно вытянувшись, провожал его взглядом, пока не закрылась дверь, и еще секунду после этого. Затем вздохнул, подтянул чулки, покрепче стянул над коленями шнурок и сел на пол возле лампы. Потом почесал в голове, неуверенно улыбнулся и вытащил книгу из сумки. Через минуту окружающий его мир исчез. Губы шевелились, тело раскачивалось, пейсы били по ушам, а дразнящая гигантская тень склонялась за его спиной в торжественном молитвенном движении.

16

— Как тебе нравится наш дворец? — спросил Бауман, когда они оказались в его комнате. В ней также лежали цементные мешки, закрывавшие окна, а кроме них — некрашенный деревянный стол и три стула.

— Садись, — предложил он Джозефу и протянул пачку сигарет.

— Весьма эффектная обстановка, — ответил Джозеф, чувствуя, что взял неправильный тон, но не зная, как его изменить.

— Вся беда в том, — сказал Бауман, — что ты романтик. Так как ты этого стыдишься, то относишься с не-

доверием ко всему, что отдает романтикой. Затемненные комнаты и часовые на улице для нас – элементарная мера безопасности. Ты так привык не принимать себя всерьез, что даже с петлей на шее будешь твердить: "Это все игра".

Джозеф сидел, опустив голову, улыбаясь улыбкой больной обезьяны.

– Ты так хорошо меня знаешь и все-таки согласен принять в организацию?

– Не будь ослом, – заметил Бауман, глядя на него через стол.

Джозеф пытался взять себя в руки и не мог. Он так много ждал от этого свидания, а теперь чувствовал себя, как пришедший к зубному врачу пациент, чей зуб вдруг перестал болеть. Весь разговор с Бауманом показался ему ненужным, нереальным. Время от времени за стеной звучало приглушенное тарыхтенье выстрелов, оно также казалось бессмысленным и как будто происходящим во сне.

– Боюсь, я слишком стар, чтобы учиться террору, – сказал он.

– Никто от тебя этого не ждет.

– Шимон намекнул мне на процедуру вступления в организацию. Шесть месяцев обучения, тесты, присяга и всякое такое.

– Шимон – педантичный осел, – широко улыбнулся Бауман. – Для тебя у нас будут дела поважнее.

– Например?

– У нас нет никого, кто учился в английском университете. Ты в Израиле – редкая птица.

– Я ненавижу все связанное с пропагандой.

– Даже выступать по нелегальному радио или выпускать листовки, зная, что вместо гонорара получишь, если попадешься, пять лет тюрьмы?

Джозеф улыбнулся:

– Только что ты обещал мне веревку, а теперь говоришь – пять лет.

– И это – не так уж весело. Они стали пытаться, да и полиция свое дело знает.

– Шимон что-то говорил об этом, – сказал Джозеф с сомнением.

– А ты решил, что он преувеличивает, – довольно резко ответил Бауман. – Фактически же и Шимон не знает подробностей. Один из наших, Беньямин Зерони, бежал из Иерусалимской тюрьмы. Как ему это удалось, расскажу в другой раз. Я говорил с ним. У него вывихнуты большие пальцы на обеих руках – его подвесили на два часа. Кроме того, его били по половым органам и по пяткам и во время допроса лили воду в ноздри.

Бауман потер пальцами щеку, и Джозеф вспомнил этот его жест.

– Пока это, кажется, происходит не так часто, возможно, что вышестоящие об этом и не знают. За все четыре известных нам случая ответственен некий инспектор С. Мы послали ему два предупреждения. Он их игнорировал. Придется его наказать, что будет адски трудно. Так как он предупрежден, то разъезжает повсюду с двумя телохранителями, вооруженными автоматами.

Он говорил своим обычным добродушным тоном, с сильным венским акцентом. Джозеф недоверчиво смотрел на него, отмечая про себя эвфемизм „наказать” – слово, которым пользовался Шимон, говоря об убийстве мухтара.

– Я тебе рассказываю об этом, потому что как раз в таком случае ты можешь пригодиться. Я мало знаю Англию, но мне известно, что там существует весьма влиятельное общественное мнение. Однако общество мало информировано. Чем неприятнее факты, тем о них меньше известно. Англичане ничего не знают о Гитлере, об Индии и даже о своих собственных трущобах. Когда их тычут носом в неприятные факты, происходит взрыв общественного негодования. Но обычно бывает слишком поздно.

Здесь нами правит благоразумный отдел благоразумного министерства колоний. Если бы английское общество знало, что здесь происходит, оно пришло

бы в ужас и, возможно, предприняло бы что-нибудь по этому поводу. Но оно не знает ничего, а визгливые голоса наших гликштейнов не доходят до его слуха.

Он закурил сигарету, бросил спичку на пол и продолжал:

— Ты, вероятно, заметил, что, в отличие от Шимона, я не испытываю ненависти к англичанам. Ты прекрасно знаешь, что в колониях встречаются далеко не лучшие представители этой нации. Когда я выбрался из Австрии, мне пришлось провести шесть месяцев в Англии. Англичане были ко мне очень добры, но не имели никакого понятия о том, что происходит. Они живут на Луне, на симпатичной луне с зелеными лужайками и теннисными кортами. Прикоснувшись к нашей горячей земле, они теряют равновесие. Но дело не в симпатиях и антипатиях. Мы и они нуждаемся теперь друг в друге. Мы — потому что эта страна находится под их контролем. Они в нас нуждаются потому, что арабы, естественно, стремятся к независимости и предадут их при случае, как предавали раньше. Еврейское государство, связанное с Англией общей европейской традицией и взаимными интересами, будет для нее полезнее, чем постоянный гарнизон среди враждебного населения. Им придется отступить из Египта и Ирака. Если Палестина станет арабским государством, им придется отступить и отсюда. Если она станет еврейским доминионом, то превратится в оплот Англии на Востоке. Наиболее дальновидные из английских государственных деятелей понимали это. Но великие государственные деятели мертвы или не у дел, а империя пребывает в вагнеровских "сумерках богов". Святой Георгий устал бороться с драконом и пытается его подкупить. Они прикрыли свой остров зонтиком, а нас оставили в луже.

Джозеф никогда не слышал от Баумана такого потока красноречия. Бауман раздавил сигарету, как давят вредное насекомое, и продолжал:

— Нам остается убеждать их, что дракона подку-

пить нельзя, и побольше шуметь. Иначе они не услышат. Гликштейны только пищат и доказывают, что мы пайньки. В результате — похлопывание по плечу и пинок в зад. Нация, отказывающаяся сражаться по моральным соображениям, не может выжить. Необходимо заставить англичан огнестись к нам серьезно. Тогда они согласятся иметь с нами дело. Но чтобы добиться этого, придется поговорить с ними на единственно понятном им языке... — Он постучал по винтовке. — Вот оно, современное эсперанто. Удивительно легко поддается изучению. И всюду понимается, — от Шанхая до Мадрида.

Он откинулся назад на стуле, положил на стол руки со сжатыми кулаками и ждал, что скажет Джозеф. Для Джозефа в его словах не содержалось ничего нового. Это была логически неопровержимая доктрина послеженевского мира. Провозглашалась ли она для оправдания завоеваний или для целей самообороны — разница не принципиальна. И сильные и слабые действуют под влиянием страха и неуверенности в себе. В конечном счете, и слабым приходится прибегать к тем же ненавистным для них насильственным действиям. Против всемирной заразы оставалось единственное средство — заразиться самому.

Но все это были теоретические соображения. А жизнь — это господин Бродецкий со своей слуховой трубкой и раздрающим уши воплем "вас ист лос?" И вой сирены с парохода "Ассими". И перед лицом такой реальности всякие колебания, вызванные моральными рассуждениями, становятся просто-напросто бегством от этой реальности.

— Я вынужден согласиться с тобой, хотя и без энтузиазма. Мы с тобой, Бауман, воспитаны в разных традициях.

— В двадцатых годах мы тоже были большими гуманами. Это было время, когда Бриан и Штреземан обсуждали вопрос о Соединенных штатах Европы, а король Ирака Фейсал приветствовал будущее еврейское государство. Ну и что с того?

— Понятно. Мир розовых иллюзий сменился иной действительностью. Но меня поражает то, что и в наше время существует потребность в таких опереточных атрибутах, как бог Вотан, Кровь и Почва. К ним относятся и ваши террор-скауты. Воображают себя наследниками Давида и Маккавеев. Между нами, Бауман, не будь Маккавеи так чертовски отважны, наши предки эллинизировались бы и, возможно, избежали бы гетто.

— Пошел ты к дьяволу, — оборвал Бауман. — У тебя какое-то интеллектуальное косоглазие, заставляющее видеть обе стороны медали одновременно. По духу ты больше еврей, чем ешиботники с пейсами.

Он встал и зашагал по комнате.

— Видеть обе стороны медали — роскошь, которую мы себе больше не можем позволить. Мы вступили в политический ледниковый период. Мы построим свою эскимосскую хижину, то бишь Национальный очаг, — или выйдем.

Руки в карманах, голова вперед, — казалось, он собирается пробить стену черепом.

— Ты все цепляешься за двадцатые годы, когда думалось, что пришла весна и классовые и национальные перегородки вот-вот растают, как под лучами солнца. С этим покончено. Я с этим покончил тогда, когда Дольфус превратил красную Вену в руины. До тех пор я тоже считал, что еврейский национализм так же гнусен, как всякий другой. В тюрьме у меня было время хорошенько подумать и понять, что настало время спасать не мир, а самих себя. Мы не можем ждать, пока социализм разрешит все проблемы, в том числе и расовые. Может быть, это и случится когда-нибудь, но нас уничтожат гораздо раньше. У нас нет времени: другие-то не ждут. Знаешь, Джозеф, это ты философ, а не я, но иногда мне кажется, что время — это величина политическая и что идеалисты эту величину не учитывают. Поэтому их картина мира получается плоской. Если бы возможно было

совершать прыжки во времени, нам не пришлось бы валяться в болоте.

Он остановился посреди комнаты.

— Вот мы и вернулись к тому, с чего начали. Мне казалось, что ты для себя все обдумал лет шесть-семь тому назад, когда решил сюда приехать.

— Я обдумал. Но мы тогда представляли себе, что наш национализм будет другим, что мы построим образцовое социалистическое государство. Не хижину, а Башню Эзры. В какой-то степени нам это удалось.

— Я ничего не имею против Башни Эзры. — К Бауману вернулось его добродушие. — Но эти милые идиоты имеют что-то против меня. У них такая тяжелая работа, что думать о политике им некогда. Их корни в двадцатых годах, а головы в облаках. Они пацифисты и законники, как и положено благочестивым социал-демократам. Положись мы на них — и мы разделим судьбу их товарищей в Австрии, Германии, Италии и в других местах. Все они жили в таких башнях. Я люблю их, но ненавижу их путаные идеи.

— Не уверен, что предпочтительнее: путаница Руссо или ясность Робеспьера, — ухмыльнулся Джозеф.

— Заткнись, ради Бога. Конечно, ты не уверен. Твои друзья из Башни Эзры нуждаются в англичанах, но возражают против британского империализма. Хотят возродить нацию, но не признают атрибутов национализма.

Он снова начал ходить по комнате.

— Без атрибутов не обойтись. Вот ответ на твои шуточки по адресу наших опереточных трюков. Наши ребята рискуют больше, чем обычные солдаты. Когда они попадают, с ними обращаются не как с пленными, а как с уголовными преступниками. Нам необходима дисциплина. А дисциплины не бывает без ритуала. Противно здравому смыслу идти на пулеметы только потому, что тебя кто-то послал. Служба солдата основана на иррациональном ощущении долга. Поэтому каждая армия имеет свою традицию и свои мифы. Вот для чего нам нужны Библия и Маккавеи, нравит-

ся это нам с тобой или не нравится. То, что ты называешь веком нового реализма, нуждается в новой мифологии. Невозможно направить движение такого накала по рациональным каналам. Нельзя заморозить эмоцию. В нормальное время эмоции находят нормальный выход. В политический ледниковый период они взрываются вулканом мифов. Ты как-то сказал, что мы – националисты за неимением лучшего. Может быть, нам с тобой этого и достаточно. Но невозможно ожидать от наших ребят, что они пойдут на смерть „за неимением лучшего”.

В наступившей тишине слышно было лишь приглушенное тархтенъе за стеной.

– Ты меня убедил, как обычно, – сказал, наконец, Джозеф. – Приходится с тобой соглашаться... за неимением лучшего. – Он устало усмехнулся.

Бауман сел за стол.

– Ты окончательно решился?

Джозеф кивнул. Бауман смотрел на него с сомнением.

– Что-то мне не кажется, – сказал он.

– Я вел своего рода арьергардный бой, – ответил Джозеф с виноватой усмешкой, – я люблю ставить все точки над “і”.

Бауман продолжал с сомнением:

– Когда человек в таком состоянии, ему трудно говорить о деле. Шимон сказал, что тебя потрясла смерть Дины, но я не понимал, до какой степени. Твои слова “за неимением лучшего” – это оплевывание твоего собственного прошлого, всего, что ты делал последние шесть лет.

Джозеф пожал плечами:

– Я с самого начала спросил, нуждается ли вы во мне и сейчас. Ты ответил: не будь ослом. Я не умею притворяться. В настоящий момент я не испытываю особого энтузиазма ни к чему. Наверно, со временем это пройдет. А пока, – как ты хочешь меня использовать? Мой отпуск кончается через неделю, я должен сообщить о своем решении.

– Нет никакой нужды сообщать им что бы то ни было, – сказал Бауман.

– Так вы не хотите меня?

– Конечно, хотим.

– Так что же?

Бауман снова зашагал по комнате.

– Естественно, мы говорили о тебе в командовании, – сказал он еще с большей неуверенностью, чем прежде. – Мы даже выработали нечто вроде плана, как тебе действовать. В общих чертах он сводится к следующему. Ты скажешь в киббуце, что передумал, что ничего общего с нами, проклятыми фашистами, иметь не хочешь. Продолжай заниматься своим делом. Это будет самой лучшей крышей для полиции. Гораздо лучше, чем уйти в подполье. Киббуцники ходят у них чуть не в ангелах. В свободное от работы время ты понемногу будешь заниматься подрывной пропагандой. Дважды в неделю здесь или в Тель-Авиве ты встретишься с кем-нибудь из нас. Один раз, чтобы обсудить или передать написанное – листовки и тому подобное, другой – для радиозаписи. У нас есть возможность изменить твой голос до неузнаваемости. Это пока все.

Бауман смотрел на Джозефа с тревогой. Пока он говорил, ему казалось, что Джозеф хочет его перебить и что-то возразить ему. Но Джозеф чувствовал потребность перевернуть услышанное. Ему было противно обманывать друзей. Но он радовался, что не придется их покинуть. А ведь он почти убедил себя, что с прежней привязанностью к киббуцу покончено.

– Ну как? – спросил Бауман.

– Мне нужно подумать.

– Моральные сомнения? Но наше поручение насколько не помешает работе. Даже наоборот. Ведь первое твое обращение к нам привело к казни мухтара. Я уверен, что каждый из твоих лицемерных святош в глубине души порадовался этому. Кроме того, ни одно общество не должно контролировать

политическую деятельность своих членов, коль скоро оно в широком смысле преследует те же цели.

— Да ты настоящий Маккиавели!

— Логика ледникового периода: с помощью насилия и обмана спасать людей от насилия и обмана.

Джозеф не ответил. И так, он снова выбирает легкий путь. Впервые он пошел на компромисс в истории с Эллен и сейчас делает то же. Он слишком устал, чтобы начинать спор о цели и средствах, ибо именно к этому все сводилось. Момент для копания в собственной душе был неподходящий. Кто он такой, чтобы оставаться чистеньким, когда других режут на куски? По логике ледникового периода терпимость — роскошь, а чистота совести — извращение. Умыть руки и предоставить другим делать грязную работу? Это лицемерие. Делить с другими опасность — единственное, что остается.

— Черт побери, — сказал он беспомощно, — если бы вы дали мне возможность участвовать хоть в одной акции, мне, по крайней мере, не казалось бы, что я выхожу сухим из воды.

— Если ты считаешь, что пять лет сроку за радиопередачу — это слишком мало..., — начал Бауман устало, но внезапно остановился посреди фразы, быстро подошел к Джозефу и положил ему руки на плечи, прижав спиной к стене.

— Хочешь участвовать в акции? Уверен, что хочешь этого?

Джозеф взглянул на него с надеждой. Под слоем загара на лице Баумана виднелась малярийная желтизна. Бауман сжал его плечи, затем убрал руки.

— Ладно. У меня есть идея.

Бауман понимал, что Джозеф — на пределе, а самое лучшее лекарство для человека в таком состоянии — поручить ему опасное дело. Если его при этом не убьют, то, возможно, он вылечится. Этот радикальный метод Бауман дважды испытал на себе и полагал, что он годится и для других. Он повеселел.

— Послушай, — заговорил он возбужденным шепотом.

том, как школьник, — мы готовим одно дело, в котором ты сможешь принять участие. Это против правил, но я рискну. Условие: после этого ты будешь делать то, что я уже сказал.

— Согласен, — торопливо ответил Джозеф, захваченный взволнованностью Баумана. Ему казалось, что его угасший за последние недели пульс вновь стучит как прежде.

— Ты парень что надо, — от души сказал он.

— Я проклятый фашист, — возразил Бауман и взглянул на часы. — Мне надо идти. Принимаем нового рекрута. Еще один опереточный трюк. Хочешь взглянуть? Это тоже против правил, но командование о тебе знает. Веди себя так, как будто ты один из нас.

17

Они прошли дальше по коридору, где все еще продолжали записывать женский голос, и остановились у двери с двумя часовыми, отдавшими честь. Бауман ответил тем же. Джозефу пришлось последовать его примеру и нехотя признать себе, что ему это отнюдь не неприятно. Внезапно напряжение тела и четкий механический жест встряхнули его, он почувствовал себя более собранным. "В каждом мужчине сидит маленький юнкер, которому хочется щелкать каблуками", — подумал он, подавив гримасу.

Он прошел за Бауманом в комнату, освещенную свечами. Лицом к двери сидели двое, между ними стоял пустой стул. При входе Баумана они поднялись и откозыряли. Вдоль стены по стойке смирно стояли еще несколько человек. Это были молодые люди в возрасте от двадцати до тридцати лет, все, похоже, принадлежавшие к образованному слою общества: молодые люди из хороших семей: внимательные,

сдержанные лица, хорошие прически и несколько подчеркнутая вежливость, свойственная посетителям офицерских столовых. Бауман представил Джозефа как „гостя”, не называя имени и не вдаваясь в объяснения. Ему пожимали руку без улыбок, но учтиво. Затем Бауман сел на свободный стул, двое других последовали его примеру. Тот, что оказался справа, был в очках без оправы, с нервным интеллигентным лицом. Элегантный, высокий мужчина слева от Баумана выглядел, как профессиональный игрок. Стол был покрыт шелковым бело-голубым национальным флагом. На нем лежала старая пергаментная карта страны. Справа от карты — Библия в кожаном переплете, слева — револьвер. Пять голубых свечей горели в меноре, эмблеме Маккавеев.

— Давайте начнем, — сказал Бауман. Он единственный из присутствовавших держался естественно и непринужденно. Джозеф стал вместе с другими молодыми людьми у стены. Он сообразил, что они были младшими офицерами, а Бауман и двое других за столом принадлежали к командованию. В комнате царил напряженная тишина, как бы усугублявшаяся мерцанием свечей.

Бауман назвал подпольное прозвище первого кандидата и подал знак офицеру открыть дверь. Тот отдал приказ часовому в коридоре. Часовой повторил кличку, в комнату вошел парень лет семнадцати, дверь за ним тут же закрылась. Он отдал честь, сделал три шага вперед и остановился перед столом. Как видно, он заранее знал, что надо делать, и не колебался. Голубоглазый, со светлыми прямыми волосами, он был похож на школьника, из тех, кого сверстники зовут „деточкой” и кто на это очень обижается. Сейчас юноша был буквально в трансе. Стоя по стойке смирно, он несколько секунд смотрел широко открытыми глазами на пламя свечи, затем взгляд его, как зачарованный, остановился на револьвере.

— Поцелуй Библию и дотронься до оружия, приказал Бауман, вставая вместе с двумя другими из-за стола. Мальчик выполнил приказанное. В тишине был

слышен влажный звук его губ, коснувшихся кожного переплета.

— А теперь повторяй за мной, — сказал Бауман. — "Именем Всемогущего, который вывел Израиль из египетского рабства..."

— "Именем...", — повторил мальчик мечтательным голосом, глядя, сдвинув брови, на пламя свечи.

— "... не успокоиться, пока нация не возродится в свободное и независимое государство в своих исторических границах от Дана до Беер-Шевы".

— "... от Дана до Беер-Шевы".

— "Безоговорочно повиноваться вышестоящим командирам..."

— "...командирам".

— "Не выдавать ничего из доверенного мне ни под угрозой, ни под пыткой; переносить страдания молча".

— "...молча".

Свечи мерцали. Было слышно дыхание мальчика. Как будто в забытии повторил он последние слова клятвы:

— "Если я забуду тебя, Иерусалим..."

— "Если я забуду тебя, Иерусалим..."

— "...пока моя душа в теле".

— "...в теле. Аминь".

Целую минуту Бауман молчал, и все стояли смиренно. В напряженном молчании чувствовалось, что этот момент западает в душу мальчика навсегда. Каждым нервом Джозеф ощущал желание крикнуть: "Остановитесь, что вы делаете с ребенком!" Он пытался вызвать в памяти обезображенное лицо Дины в открытом гробу, но это не помогало. Он не чувствовал никакой связи между ее лицом и происходящим сейчас. Нет нам прощения, — думал он, — ибо мы знаем, что творим.

Но тут же ответил себе: и не будет нам прощения, если мы этого не совершим.

— Вольно, — сказал Бауман.

Мальчик повернулся как автомат и вышел из комнаты.

Позже, прощаясь в коридоре, Бауман спросил:

– Ну, что ты об этом думаешь?

– Не завидую тебе. Я предпочел бы подчиняться, а не командовать.

– Кто бы не предпочел?

Малярная желтизна его щек проступила сильнее, хотя, возможно, так только казалось в бледном свете керосиновой лампы.



## ДЕНЬ ИСПЫТАНИЯ

*... И действительно, это было время, изобилующее всякими дурными делами до такой степени, что ни один злой поступок не остался не совершенным; и никто не мог изобрести ни одного нового порока, настолько все были заражены.*

*Иосиф Флавий, "Иудейская война"*



Неопределенности, касающейся будущего страны, был положен конец 17 мая. В этот день Британское правительство опубликовало манифест, имевший целью привести к окончательному урегулированию палестинской проблемы и известный как „Белая Книга”.

В нем говорилось: *„Существует убеждение, что выражение "Национальный очаг для еврейского народа" предполагает создание в Палестине со временем еврейского государства или федерации. Поэтому правительство Его Величества определенно заявляет, что превращение Палестины в еврейское государство не входит в его намерения”*.

Это был необычайно откровенный документ. В нем говорилось, что в ближайшие пять лет будет допущена в страну последняя партия евреев в количестве 75 тысяч. Затем, согласно этому документу, начиная с июня 1944 года, евреи уже никогда не будут допускаться в Палестину. К июню 1944 года число евреев достигнет одной трети от общего числа жителей страны. После этого благодаря разнице в рождаемости и неограниченной иммиграции арабов число евреев относительно всего населения будет сокращаться. Для предотвращения экономической экспансии еврейского меньшинства верховному комиссару Палестины в дальнейшем будет предоставлено право запре-

щать евреям покупку земли. Используя это право, закон о передаче земли от февраля 1940 года ограничивал площадь земли, которую могут покупать евреи, пятью процентами общей площади страны. Итак, Еврейский национальный очаг превратился еще в одно перенаселенное восточное гетто с запечатанными воротами.

Спустя несколько дней во время дебатов в Палате общин Уинстон Черчилль (член Палаты от консерваторов) назвал публикацию „Белой книги” прямым нарушением данного правительством обещания, низким предательством, признанием в собственном моральном и физическом банкротстве, новым Мюнхеном и актом малодушия. Сэр Арчибальд Синклер (либерал) заявил, что запрет иммиграции евреев без соответствующих ограничений по отношению к арабам вводит элемент дискриминации евреев, что является серьезным отступлением от условий мандата. Возникает вопрос: имеем ли мы право на продолжение мандата? Господин Герберт Морисон (лейборист) заявил, что его партия рассматривает „Белую книгу” и изложенную в ней политику как циничное нарушение данных миру обязательств, и что он питал бы больше уважения к министру колоний, если бы тот откровенно признал, что евреи приносятся в жертву некомпетентности правительства в этом вопросе, что правительством движет страх, если не прямое сочувствие к методам насилия и убийств.

По условиям мандата „Белая книга” могла быть узаконена только после ее утверждения Лигой Наций. Постоянная мандатная комиссия Лиги Наций собралась 16 июня и единодушно решила, что этот документ противоречит условиям британской опеки над Палестиной. Последнее слово оставалось за Советом Лиги. Он должен был собраться в сентябре 1939 года. Собрание не состоялось. „Белая книга” не была утверждена.

И все-таки изложенное в „Белой книге” пункт

за пунктом стало осуществляться. Продажа евреям земли была запрещена на 94,8 процентов территории их родины. Въезд в нее бежавшим от страшной катастрофы в Европе был запрещен. В 1941-1942 годах людей целыми пароходами топили в водах Средиземного и Черного морей. Тех, кому удалось высадиться на берег, отправляли в тюрьму или высылали на Кипр, в Эритрею или остров Св. Маврикия. Те, кто помогал им спастись, рассматривались как уголовные преступники и заключались в тюрьмы на длительные сроки. Документ, не имеющий никакой законной силы, стал руководством для правительства, суда и полиции. Беззаконие царило в Святой земле как высший закон.

2

Царство беззакония началось ровно в восемь часов вечера, в тот момент, когда содержание "Белой книги" было передано по палестинскому радио на арабском языке.

В этот вечер Исса, сын покойного мухтара Кафр-Табие, сидел с двумя новыми знакомцами на террасе небольшого кафе у Дамасских ворот и ждал начала передачи. Хозяин кафе, когда-то принадлежавший к умеренному клану Нашашибби и чье предприятие было сожжено последователями муфтия во время беспорядков 1937 года, специально для этого случая установил громкоговорители, чтобы подчеркнуть свои патриотические чувства.

Исса приехал в Иерусалим, чтобы уладить с Арабским банком дела, связанные со смертью мухтара. На нем был кремовый костюм в розовую полоску, лакированные туфли и черная траурная повязка на рукаве. Это была его первая поездка в столицу, и он пытался скрыть свое возбуждение по этому по-

воду под маской пресыщенности и скуки. Обстоятельства смерти его отца помогли Иссе попасть в высшие круги арабского общества, обычно недоступные для сына безвестного деревенского мухтара. Своих двух новых приятелей он впервые встретил только вчера, на еженедельном приеме у мадам Макропулос, вдовы Иосифа Макропулоса, автора книги "Панарабский ренессанс". У мадам Макропулос был политический салон: высшие британские чиновники и заезжие знаменитости встречались здесь с представителями арабской интеллигенции в непринужденной обстановке. Здесь они отдыхали от напряжения, которое испытывали в гостях у евреев, где тень Банкто и дело появлялась за обеденным столом.

Иссу привел на вечер директор Арабского банка. Кроме того, у него имелось рекомендательное письмо от районного комиссара Тубаши. Он был принят любезно и с сочувствием, и это помогло ему преодолеть застенчивость и взять на себя роль мученика за Дело, кем он себя и стал чувствовать с этого момента.

Двое его спутников, сидя на низких плетеных скамьях на террасе кафе, в ожидании передачи потягивали черный кофе. Оба принадлежали к новой арабской интеллигенции. Фарид, смуглый тощий молодой человек с неряшливой романтической наружностью, с невозмутимым видом и вялыми движениями оксфордского студента происходил из старого иерусалимского рода. Он обучался частным образом у педагога-англичанина, писал по-английски стихи и по-арабски статьи, направленные против английского империализма. Его лучший друг Саллах был круглолицым денди со светлыми подстриженными усами. Оба они больше года мечтали о еженедельном литературном журнале, но пока не нашли финансовой поддержки.

Стараясь вести себя непринужденно, Исса только что рассказал им какую-то неприличную историю. Она была встречена холодным неодобрением. Тогда, чтобы разрядить обстановку, он запел популярную

песенку: "Фаластин баладна, яхуд калабна" — "Палестина — наша страна, евреи — наши собаки", — но и это не помогло. Оставалось четверть часа до передачи, и Саллах заказал еще кофе.

— Не желаете ли кальян? — обратился он вежливо к Иссе.

Иссе очень хотелось курить, но он боялся, что курить кальян — грубо и провинциально.

— Спасибо, я курю только сигареты, — ответил он.

Саллах предложил ему свой серебряный портсигар, и они оба закурили. Фарид же отказался от сигарет, покачав головой с темными вьющимися волосами, падающими на лоб:

— Я покурю кальян. — Затем, переходя от апатичности к энтузиазму, повернулся к Иссе: — Когда мы будем издавать журнал, ты обязательно напишешь статью из деревенской жизни.

Исса ухмыльнулся польщенно и недоверчиво:

— А что о ней писать? Феллахи глупые, отсталые и грязные.

— В том-то и проблема, — сказал Саллах, положив подбородок на серебряный набалдашник своей трости, — мы должны пробудить феллахов от спячки. Посмотрите на евреев.

— Евреи — другое дело! У них есть деньги. Они пользуются тракторами, удобрениями, даже ввозят новые породы скота.

— Наверное у вас в Кафр-Табие достаточно денег, чтобы купить удобрения и даже трактор, — сказал Фарид, сжимая зубами трубку кальяна.

— Денег, может, и достаточно, но все живут сами по себе.

— Вот именно! Отсутствие солидарности, зависть и кровная вражда, невежество, суеверия, средневековая экономика. Со всем этим мы должны бороться! — воскликнул Саллах.

— Да, — согласился Исса, — но молодые норвят

удрать в город. Там платят деньги и можно ходить в кино.

— А землю норовят продать евреям, — сказал Саллах.

— У евреев много денег. А какие цены они платят! — воодушевился Исса, — я бы вам рассказал...

Он замолк и покосился на соседние столики. Они, в основном, были заняты лавочниками вперемежку с приезжими из деревень и бедуинами из Трансиордании. В ожидании предстоящей передачи на террасе собралось необычайно много народа. Мужчины лениво, с удовольствием посасывали кальяны или играли в шешбеш.

— Удивительно, — задумчиво проговорил Фарид, — евреи приезжают сюда из европейских городов, чтобы стать крестьянами, а наши крестьяне бегут в город.

— Так ты напишешь для нашего журнала? — спросил Саллах.

— Не знаю, — сказал Исса, — я никогда не писал стихов.

— Вот видишь, — мрачно проговорил Фарид, — для нашей молодежи всякое писание — это стихи. А какие стихи им нравятся! "Губы моей возлюбленной подобны кораллам, зубы, как жемчуг, а бедра, как кедр".

— Я оговорился! — Исса покраснел. Его особенно задело, что этот дурно одетый городской мальчишка сказал о нем: "наша молодежь". А сам, наверное, моложе его и еще не знает, что такое женщина. Он бы им рассказал кое-что о той еврейской суке в вади!

Саллах попытался переменить разговор:

— Во всяком случае, теперь все изменится. Евреи не смогут больше покупать землю, и бегство в город прекратится. Господи, наконец-то англичане взяли за ум!

— Думаешь, они о нас заботятся? Просто не хотят, чтобы евреи сюда ехали, они боятся их еще больше, чем нас.

— Фаластин баладна, эль-яхуд калабна, — снова

рискнул Исса, но Саллах опять не обратил на него внимания:

— По каким бы причинам они это ни делали, я могу только сказать: слава Аллаху! — Для большей убедительности он ударил палкой об пол.

— Того и гляди, ты наденешь тарбуш, — сказал Фарид, и они оба рассмеялись.

Красный тарбуш был символом умеренной партии Нашашибби. Так как ведущие деятели партии были уничтожены патриотами, головной убор этот совсем исчез. Все мужчины на террасе были или с непокрытой головой или в куфиях.

— Я говорю всерьез, — сказал Фарид. — Я согласен, что "Белая книга" — первый справедливый поступок англичан за последние двадцать лет, с тех пор, как они великодушно пообещали евреям нашу страну, не спрашивая нашего мнения. Но "Белой книги" недостаточно, чтобы исправить фантастические несправедливости прошлого. Все арабские страны имеют парламенты. Нам в этом отказано, потому что это дало бы нам преимущество перед евреями. Египет и Ирак получили независимость, и хотя Ирак — страна дикарей, от нас требуют подождать еще лет десять. А кто знает, сколько раз за десять лет они изменят свою позицию? Нет уж, или все, или ничего. И не откладывать дела в долгий ящик.

Исса смотрел на него, разинув рот. Никогда он не слышал таких умных речей. Саллах кивал, молча признавая интеллектуальное превосходство своего друга.

— Скоро начнется, — сказал он, взглянув на часы. Владелец кафе включил радио, и на террасе послышался треск. Шла передача для еврейских детей. Несколько минут хриловатый девичий голос с задумчивыми интонациями нашептывал толпе на террасе слова еврейской колыбельной песни. Казалось, можно было почувствовать через громкоговоритель теплое дыхание дикторши. Сосредоточенно следя за пузырями своих кальянов, толпа бесстрастно слушала рифмо-

ванные слова на языке, родственном их собственному. Фарид перевел Саллаху: "...И моряки заткнули свои уши воском". Саллах понимающе улыбался, постукивая серебряным набалдашником трости по зубам. Исса не знал, о каких моряках идет речь, да и не интересовался. Он думал о еврейской девушке, встреченной ночью в вади, и ярость неутоленного желания заливала бледностью его рябое лицо. "Мир вам, дети", — прошептал голос, и на несколько секунд воцарилась тишина. Затем деловитый мужской голос объявил по-арабски: "Слушайте правительственное заявление по вопросу о Палестине". Лица людей на террасе напряглись в ожидании. Послышался громкий щелчок, потом наступило молчание. Прошло две, три минуты.

— Ты что, убил свое радио, Ахмед? — крикнул кто-то хозяину. Раздался смех.

— Видит Бог, оно в порядке, но почему-то онемело, — сказал испуганным голосом хозяин. Он боялся, что патриоты обвинят его в неполадке и снова сожгут тент над террасой и плетеные скамейки.

Вдруг радио заговорило. С растерянностью в голосе, на разных языках, диктор трижды сообщил, что по техническим причинам передача правительственного сообщения откладывается на полтора часа. Послышалась арабская музыка.

По террасе пронесся ропот. Затем игроки вернулись к своей игре. Саллах яростно стукнул палкой о пол и крикнул:

— Эти гиссы опять передумали.

— Идиот, — спокойно возразил Фарид, — ты ведь слышал передачу из Лондона. Нельзя изменить правительственное решение за один час.

— Но что же случилось?

— Вероятнее всего, евреи взорвали радиостанцию в Рамалле.

— Да-да, наверное, так оно и есть. Но это им не поможет, — Саллах снова был полон надежд. — А

они не трусы, эти дети смерти, — добавил он, с невольным восхищением покручивая ус.

— Научились от нас, — хладнокровно, как англичанин заявил Фарид.

Исса смотрел на них с мрачной неприязнью. Он подумал о двух темных фигурах, явившихся ночью за его отцом, и ледяная дрожь страха то накатывала, то отпускала с безжалостной монотонностью прилива и отлива.

3

Ровно в восемь часов, перед самым началом передачи, кабель, соединяющий радиовещательную станцию в Иерусалиме с передатчиком в Рамалле, был перерезан членами Хаганы. Тут же в Рамаллу была отправлена колонна бронемашин с директором программы и его штатом.

В 9.30, с возобновлением радиопередачи, перед зданием губернатора в Тель-Авиве собралась толпа. С пением "Ха-тиквы" люди ворвались в здание, уничтожили записи иммиграционного и земельного управлений, выбросили мебель в окно, вывесили сионистский флаг и подожгли дом. К десяти часам, когда британской полиции удалось разогнать толпу, Центральное иммиграционное управление в Иерусалиме тоже было охвачено пламенем. Когда пожарная команда прибыла, управление уже было разграблено, а списки нелегальных иммигрантов, подлежащих депортации, уничтожены. В одиннадцать часов, к тому времени, как удалось потушить пожар в Иерусалиме, собравшаяся на улице Алленби демонстрация столкнулась с усиленным отрядом британской полиции. В городе был введен комендантский час, и оставшиеся ночные часы страна спала беспокойным сном. Наступил День испытания. Так был назван этот день Национальным

комитетом еврейской общины в напоминание о словах пророка Исая: — Что будете вы делать в день испытания и безысходности? К кому придете за помощью?

И действительно, — к кому? В течение нескольких дней пресса и общественное мнение Англии возмущались тем, что Национальный очаг для евреев задушен. В Америке раздавались призывы к совести человечества. Это было то же негодование, что проявлялось по поводу китайцев, испанцев и чехов. Затем все устали, успокоились, и закон всеобщего равнодушия вступил в права. Ибо совесть человеческая — это разреженный пар, лишь временами сгущающийся до рабочего состояния.

Итак, День испытания наступил.

С самого утра по улицам Иерусалима проходили военным строем группы молодых людей. Еврейский национальный совет во главе с Гликштейном объявил День протеста, объявил о мирных демонстрациях и о полном прекращении работы (за исключением жизненно важных отраслей). Стены были оклеены такими лозунгами, как: "Мы были здесь до англичан и останемся, когда они уйдут", "Ради Сиона не успокоюсь, ради Иерусалима не буду знать отдыха".

Демонстранты двигались к футбольному полю в Рехавии. Все были в шортах цвета хаки. Цвет рубашек указывал на принадлежность к разным политическим группировкам. Впервые враждующие партии маршировали вместе. Они прошли по футбольному полю перед наполовину спущенным национальным флагом. Гликштейн произнес речь, призывая бороться против новой политики до последней капли крови, но при этом не прибегать к насилию. Непонятно было, что он имел в виду, но это не имело значения. Несколько тысяч человек стояло на футбольном поле и толпилось на сухой, выжженной солнцем траве. Среди жары и пота эти люди становились объединенной общей волей массой, готовой на все. После митинга был отдан приказ двигаться сомкнутыми рядами вниз по Бен-Иехуда

к площади Цион, но покинув стадион, они обнаружили у выхода на улицу кордон полиции. Строй немедленно распался и превратился в беспорядочную толпу, подобно тому, как, разогреваясь, твердое тело превращается в полужидкую массу. Эта бурлящая масса начала выбрасывать пузыри, которые лопались и разбивались о жесткую стену полиции. Можно было предвидеть, что через две минуты масса начнет переливаться через край. Раздались крики подростков, на них напирала в истерическом воодушевлении дети, готовые броситься на ружья и пулеметы, которые им казались большими игрушками. Полицейские бесстрастно смотрели на шумную восточную толпу, над которой каждый из них возвышался на голову. Затем по приказу командира, который спокойно переговаривался с взволнованным Гликштейном, полицейские посторонились. Толпа с криками торжества и презрения прошла мимо, построилась снова и подняла над головой бело-голубые транспаранты с требованиями допустить в страну гибнущих в Европе братьев и образовать еврейское государство.

Примерно в это же время, еще до полудня, в синагоге "Иешурун", самом большом и современном из многочисленных молитвенных домов Иерусалима, собралась толпа совсем другого рода. Было там около пяти тысяч пожилых людей и стариков. Завернувшись в таллиты, мужчины стояли рядами между скамьями, били себя в грудь и покачивались в такт молитве. Сидящие на галерее женщины с красными от слез глазами, всхлипывая, смотрели вниз. Они механически повторяли священные тексты, а мысли их бродили по мрачным просторам далекой Европы, задерживаясь то на доме брата в Варшаве, то на квартире замужней дочери в Вене, на детях и внуках, которых они никогда не увидят. Ибо шесть миллионов между Днестром и Рейном были пойманы и корчились в быстро затягивающейся сети. Правительство объявило, что лишь семидесяти пяти тысячам из них позволено спастись,

остальные, если попытаются выскочить из сети, будут брошены в нее снова.

”Да будет благословен Всемогущий, да будет благословен Тот, кто дал своему народу Закон”.

Старый рабби, который вел богослужение, раскрыл резные дверцы священного хранилища. Там стояли шесть завернутых в расшитый бархат и украшенных серебряными колокольчиками свитков. Рабби взял в руки первый свиток, поцеловал его. Один за другим подошли престарелые служители и взяли в руки по свитку. Затем они выстроились в ряд и во главе с рабби стали обходить синагогу. Колокольчики слабо звенели. Толпа теснилась вокруг процессии, каждый стремился поцеловать край бархатного футляра свитка. Процессия завершила свой круг и вернулась к алтарю, положив на него шесть свитков. Это были написанные от руки на пергаменте тексты Пятикнижия Моисеева, спасенные из сожженных синагог Германии. Каждый из шести стариков прочел специально выбранный отрывок из каждого спасенного свитка. Окончив чтение, они завернули свитки и снова пронесли их вокруг синагоги. Звон колокольчиков заглушался рыданьем людей. Затем свитки снова отнесли в хранилище и закрыли дверцы.

Община молча ждала, когда начнется следующая, полагающаяся по правилам, молитва. Но рабби внезапно повернулся лицом к толпе, поднял руки над головой и прочел громким голосом псалом Давида: ”Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои — брани. Господи! Преклони небеса Твои, и сойди; коснись гор, и воздымятся. Блесни молнией, и рассеяй их; пусти стрелы твои, и расстрой их. Избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, уста которых говорят суетное, и которых десница — десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости; дочери наши — как искусно изваянные столпы в чертогах”.

Стоя с поднятыми руками и залитым слезами ли-

цом, он был похож на Первосвященника древнего Израильского Храма. Справа и слева к нему подошли двое служек. У одного в руках был семисвечник с зажженными свечами, у другого — печатный экземпляр "Белой книги". Яростным движением тонких рук рабби изорвал бумагу в клочья, потом сжег ее.

Это был неслыханный поступок. Из толпы вырвался радостный рев, который после нескольких раскатов перешел в древнее заклинание: "Слушай, Израиль, Господь — наш Бог, Бог — един". Повторив эти слова трижды, люди, как будто на их глазах произошло чудо, со слезами на глазах кинулись в объятия друг другу.

Из синагоги они ушли утешенные и убежденные, что теперь все будет хорошо. Как их отцы, выжившие благодаря своей вере, они держались за символы; и как их предки когда-то, верили, что с помощью символов можно повернуть фараоново войско и благополучно провести детей и внуков через море.

В это же время другая процессия, гордо неся флаги и транспаранты, промаршировала от стадиона к центру Иерусалима. Дойдя до площади Цион, люди услышали от своих руководителей, что надо отправляться по домам. Все утро их уговаривали бороться, но не объяснили, с кем и как, и теперь они были разочарованы, что все кончилось мирно. Наступило обеденное время, было очень жарко, они устали, проголодались и разошлись без возражений.

Но после обеда, когда наступила прохлада, они устремились обратно. К пяти часам толпа на площади Цион стала такой густой, что пришлось изменить движение транспорта.

Выкрикивая лозунги, люди раздраженно и бесцельно толпились на небольшом пространстве между кафе "Европа" и "Вена" и кинотеатром "Сион". Полиция стремилась защитить контору районного комиссара, расположенную ярдах в ста ниже площади по улице

Яфо. У толпы внезапно появилась цель: пробиться сквозь заслон. Становясь все агрессивнее, толпа начала теснить полицейских.

К шести часам полиции пришлось пустить в ход дубинки. Человек двадцать увели с площади с окровавленными лицами. Это еще больше возбудило толпу, в полицейских полетели камни и кирпичи. Часами, подчиняясь приказу, они хранили спокойствие перед глумящейся над ними толпой. Наконец, они получили приказ перейти в атаку и тут-то дали себе волю: крушили налево и направо, мужчин и женщин, молодых и пожилых, и крики избиваемых жертв, казалось, только разжигали их ярость. Известно, что когда стражам порядка предоставляется свобода действий, они ожесточаются еще больше, чем толпа, потому что действуют с полным сознанием своей правоты. Полицейские преследовали пытающихся скрыться в боковых улицах мужчин и женщин. Но когда им удавалось схватить кого-нибудь, тут же создавалось кольцо людей, вырывающих вопящую жертву из рук полицейских, и им приходилось пробивать себе дорогу из окружения. У некоторых мундиры были изодраны в клочья. Кое-кто лишился шлемов и дубинок.

К семи часам толпа начала бить витрины. Пострадали и немецкий ресторан, и английский универсальный магазин на улице Яфо. Площадь напоминала кипящий котел, группы людей двигались по ней беспорядочно, как пузыри. С наступлением темноты пришло временное затишье.

Первая цепь полицейских была прорвана, но вторая твердо стояла на пересечении улицы Яфо с переулком Королевы Мелисанды, защищая учреждения районного комиссариата. Полицейские были вооружены винтовками, и хотя приказа пустить оружие в ход еще не последовало, черные дула удерживали толпу на расстоянии пятнадцати метров. Многие полицейские прибыли в страну лишь несколько недель назад и были совершенно сбиты с толку тем, что здесь увидели.

Вторым справа в строю стоял молодой констебль

Тернер, светловолосый красивый парень из деревни в Саффолке. Сжимая винтовку, он смотрел на колышущуюся перед ним толпу широко раскрытыми, слегка навывкате глазами. Он никогда не видел, чтобы толпа вела себя таким образом, и не понимал, о чем кричат эти люди. Ему объяснили, что евреи хотят независимости, что если британское правление их не устраивает, они могут отправиться туда, откуда прибыли, и посмотреть, будет ли Гитлер для них лучше. Констебль согласился с таким мнением. Он не имел ничего против евреев — хотя они иной раз и казались ему странными существами. Он знал одного полицейского-еврея из Уайтчепла, вполне приличного парня. А дома в Саффолке, перед отправкой, он слушал проповедь тамошнего священника против Гитлера и расизма и о том, как жгут синагоги этих бедняг. Так что он прибыл в страну, жалея евреев и безо всякого предубеждения против них.

Но он хорошо помнил слова сержанта, услышанные в первый день. Сержант пробыл в стране пять лет, знал язык и все местные порядки, так что у констебля, как говорится, открылись глаза. "Смотрите в оба, — говорил сержант, — это горячее место. Бойтесь араба Джонни и еврея Мойше. С Джонни обращаться легче, но зато он очень нервный. А возбудившись, он не прочь пострелять. Зато он воюет в открытую, большей частью в горах. Мойше — совсем другого сорта. Мойше всегда с улыбочкой, себе на уме. Он любит подсовывать бомбы замедленного действия, которые взрываются, когда ты не ожидаешь, и устраивать засады в темных улицах, как это принято у гангстеров. И везде у него помощники. В настоящий момент Джонни спокоен, а Мойше что-то задумал. Так что глядите в оба".

С тех пор констебль Тернер смотрел в оба, и когда в еврейских лавках и ресторанах ему любезно улыбались, он про себя думал: "Брось, меня не проведешь!"

Вот сейчас они орут на площади, как стадо обезьян. Покончив с витринами, они занялись телефонными

будками и уличными фонарями. Фонари гасли постепенно, один за другим, затем последовала яркая вспышка, как при коротком замыкании, и оставшиеся фонари погасли все сразу. Площадь погрузилась в темноту, вопли и визг усилились. Молодой констебль Тернер сказал себе, что все это ему не нравится.

В первом ряду толпы констебль заметил странно одетого парнишку, с черными пейсами и черными бумажными чулками, перевязанными у колен веревками. Он прижимал к бедру бархатную сумку, из тех, с которыми ходят в синагогу. Парнишка вел себя, как дьявол: кричал, жестикулировал и подскакивал. Несколько раз напор толпы выталкивал его вперед, почти в объятия Тернеру, но он проталкивался локтями назад в толпу и совсем не казался испуганным. Напротив, он строил Тернеру гримасы. Тот старался смотреть в другую сторону, но взгляд почему-то возвращался к мальчишке. Вот сейчас он высунул язык. Тернер это отлично видел, несмотря на темноту. С болтающимися вдоль темноглазого лица пейсами, с высунутым острым языком парень выглядел так безобразно, что по телу пробегали мурашки. Вдруг мальчишка начал что-то декламировать на своем языке. Тернер не понимал его и не догадался, что и сам он произносил те же слова в церкви, правда, в переводе на английский: "Пошли на них молнию и рассей их, — кричал мальчишка неистово и подпрыгивал. — Пусти в них стрелы и избавь меня от руки чужих детей". Тернеру очень хотелось схватить мальчишку за шкурку и хорошенько встряхнуть — просто, чтобы поучить, как надо себя вести. Но так вот стоять, пытаюсь уклониться от камней, которые летят в тебя, и смотреть на этого дьявола, гримасничающего прямо под самым твоим носом, это может вывести из терпения. Что ж, такова служба.

Вот они опять запели (свой гимн, что ли), это звучит так, будто они собираются дома разрушить. Двинулись с пением вперед. Увеличился напор задних рядов

на передние. Те, что стояли впереди, пытались сдерживать напор и устоять на месте, сопротивляясь локтями и ягодицами, но напор был слишком силен, кое-кто упал, потеряв равновесие, на асфальт. А сзади все напирало, спотыкаясь о лежащих на асфальте. Между толпой и полицейскими оставалось меньше десяти метров, и к этому времени стало почти совсем темно. Тернер покосился на стоявших рядом товарищей. Они были неподвижны, как будто происходящее их не касается. Толпа снова стала бросать камни. Не те, кто стояли впереди, а из задних рядов, откуда было безопасней. Тернеру удалось уклониться от кирпича, который пролетел на расстоянии нескольких дюймов от его головы. И все время продолжалось пение. Казалось, что одни — швыряют камни, другие — поют. В этот момент произошел новый рывок вперед. Передних будто смыло большой волной, вся огромная масса задвигалась, затем послышался выстрел, за ним — два других, и стоящий рядом с Тернером полицейский медленно опустился на асфальт.

Почти в ту же секунду сержант выкрикнул команду, и Тернер почувствовал, как его винтовка взлетела вверх и приклад твердо уперся в плечо, как если бы оружие само подчинилось команде. Немедленно раздалась следующая команда: стрелять по верху голов. Тернер спустил курок, и в тот же момент на него бросился кто-то, похожий на дикую кошку. Он ощутил острую боль в пальце левой руки, вскрикнул, выпустил ружье, и, как в диком кошмаре, почувствовал, что мальчишка с гримасничающим лицом дьявола повис у него на шее и не выпускает из зубов его пальцы. Он поднял правую руку и нанес дьяволу сокрушительный удар по голове.

Мальчик пошатнулся и отпустил руку Тернера. Констебль попытался схватить его, но кто-то из толпы оторвал от него мальчика. Исчезло также и ружье. Тернер огляделся в оцепенении и увидел, что хотя на площади продолжают идти отдельные стычки, основная масса толпы отступила и кордон перестроился.

Залп произвел впечатление, и через минуту между полицейскими и толпой снова было пространство в двадцать метров.

— Проверить ружья! — прокричал сержант, но у Тернера больше не было ружья. Они мне заплатят за это, — пробормотал он и, заметив, что из руки его течет кровь, попросил разрешения выйти из строя.

4

Той же ночью Джозеф шел в свою убогую гостиницу на улице Пророков, посмеиваясь в душе. Еще неделю назад эта жалкая демонстрация привела бы его в отчаяние. Но теперь, после прошлой пятницы, она не волновала его. Однако же, как это похоже на гликштейнов, — завалить собственное дело, окончить его так бездарно. Принадлежащие к организации Баумана участия в демонстрации не принимали. Официальные же вожди, призывая к сопротивлению до последней капли крови, забывали только упомянуть, в чем должны заключаться дела и в какие формы должно вылиться сопротивление. Возбужденная и брошенная без руководства толпа действовала согласно своим нечетким порывам, а завтра гликштейны опубликуют заявление, протестуя против бесчинств, призовут к порядку и к дисциплине, и все будет по-прежнему.

Почему ирландцы, сербы и индийцы, почти неграмотные, находят подходящие формы и выражение для своей скорби, а народ, известный своей сообразительностью, оказывается каждый раз так беспомощен перед лицом беды? Это не трусость: история каждого поселения в Галилее — настоящая эпопея. Но нация в целом за века рассеяния потеряла уверенность в себе. Ее вожди происходят из местечек Польши и царской России, где власть представляли продажные

и обычно пьяные исправники, а единственным способом чего-либо добиться были подкуп и пресмыкательство. Вожди народа способны спорить, протестовать, составлять блестящие меморандумы для Лиги Наций, но когда надо действовать, в их крови начинает говорить гетто, и они становятся беспомощны.

Улица была пустынна и покрыта битым стеклом. Свернув на Яфо, Джозеф наткнулся на вооруженный автоматами патруль. Полицейских было двое. Они приказали ему поднять руки. Пока один держал Джозефа под прицелом, другой обыскал его. Было видно, что они напуганы и ждут, что в любой момент он может бросить в них бомбу. Этот факт наполнил Джозефа, который не был вооружен, странным удовлетворением.

— Что это с вами? — спросил он по-английски, манерно растягивая слова. — Сдрейфили?

Поведение полицейских мгновенно изменилось. Один прекратил ощупывать его карманы, второй опустил дуло автомата.

— Простите, сэр, мы выполняем приказ и думали, что вы...

Полицейский с сомнением посмотрел Джозефу в лицо, оглядел одежду. Произношение и внешний облик противоречили друг другу, и полицейский был озадачен.

— Вы думали, что я еврей? — пришел ему на помощь Джозеф.

Полицейский еще больше смутился.

— Все в порядке, сэр, мы действуем по инструкции.

— Но я действительно еврей, — сказал Джозеф, забавляясь по-детски. — Спокойной ночи, офицер.

— Спокойной ночи, сэр, — пробормотал в совершенной растерянности полицейский.

Джозеф отправился дальше, улыбаясь в темноте. Пройдя около ста метров, он спросил себя, почему он, собственно, так доволен собой. Конечно, у гликштейнов нет такого великолепного английского произношения, как у него, да и странно было бы от них этого

ожидать. Что касается его, Джозефа, то, будучи представителем определенного народа, он на этот раз избежал неприятностей именно потому, что не полностью является его представителем. Он перестал улыбаться. Ему вдруг пришло в голову, что евреев преследуют в Восточной Европе и терпят в Западной потому, что на Западе их национальная субстанция в значительной степени разбавлена. Окружающие народы не выносят в евреях сконцентрированной и обнаженной национальной субстанции.

К черту, опять я о том же. Я думал, что после прошлой пятницы я полностью вылечился. А, может, в прошлую пятницу все оказалось слишком легко? Сто-рожа-арабы на ночном пляже стали кроткими, как ягнята, увидев направленные на них дула автоматов. Все прочее пошло как по маслу. Судно появилось в заброшенной бухте неподалеку от Нетании с опозданием всего в полчаса. Следуя сигналам с берега, оно бросило якорь сразу за отмелью, так что спущенным с него лодкам оставалось грести не больше пятидесяти ярдов до берега. Запакованное оружие было в течение часа погружено на грузовики для перевозки молока. Большинство из двухсот пассажиров сами высадились с лодок на землю. Только детей и стариков, среди которых был один с деревянной ногой, пришлось вынести на руках. Выходя из воды, они целовали землю и плакали. Если бы не решительный приказ молчать, они запели бы гимны. Задолго до рассвета всех погрузили на грузовики и отвезли в безопасные места. Акция завершилась. Через три часа в горах Самарии пастух-араб нашел ночных сторожей связанными и с кляпами во рту.

Единственная неудача заключалась в том, что заправку горючим не успели кончить к рассвету. Когда судно подымало якорь, его заметила береговая охрана. Однако властям удалось захватить только капитана-румына и его экипаж, от которых много узнать невозможно, так как все переговоры с ними вели через подставных лиц. Старое корыто было поте-

ряно, но два других судна были в пути с 800 пассажирами на борту. За ними последуют другие, с беженцами и оружием.

Джозеф шел по темной улице Яфо, осторожно ступая среди разбитого стекла и обломков кирпича, безотчетно насвистывая мотив песни "Мы построим Галилею". С прошлой пятницы он чувствовал себя другим человеком, как больной, который чудом вылечился после тяжелого и длительного заболевания. Он только жалел, что больше участвовать в акциях ему не придется. В этом вопросе Бауман был неколебим, а с Бауманом — не то что с Реувеном или Моше — спорить невозможно. Правда, Бауман оказал ему доверие и объяснил кое-что, связанное с акцией, то есть открыл ему ровно столько, сколько Джозефу следовало знать об обстановке, когда он начнет заниматься пропагандой.

Люди и оружие прибывали из разных стран, но главным образом через Румынию и Грецию. Греческие и румынские пароходы для перевозки скота, турецкие контрабандные посудины, не значащиеся в регистрационных списках, нанимались через посредников. Хозяевам платили большую цену, так как они подвергались риску быть захваченными англичанами. Пока у Организации было достаточно денег, — в основном полученных от богатых американских евреев, воображению которых подобное мероприятие говорило больше, чем сбор денег для посадки деревьев в Палестине или для открытия кафедры математики в Еврейском университете. Какой-то румынский миллионер, нажившийся на торговле оружием и потерявший во время погрома дочь, пожертвовал Организации половину своего состояния с условием, что деньги будут использованы на приобретение оружия. Другие давали определенную сумму денег на ввоз в страну заранее оговоренного числа беженцев. Были и такие источники денег, которыми законопослушные гликштейны никогда бы не посмели воспользоваться.

Источником оружия служила, прежде всего, Польша

ша. Польское правительство жаждало избавиться от своих евреев и заодно насолить англичанам. Официальный сионизм был слишком щепетилен, чтобы извлекать выгоду из подобной ситуации. Люди же Баумана были не щепетильнее правительства Чемберлена. Разиель и Штерн отправились в Варшаву и связались с одним из отделов польского генерального штаба. Результаты поездки превзошли все ожидания. Польша обеспечивала паспортами такое количество евреев и давало столько оружия, сколько Организация была способна вывезти. Трудно было другое: найти пароходы, чьи владельцы соглашались идти на риск. Пока невозможно было ввозить больше пятисот человек да еще нескольких тонн оружия в месяц. Но это было только началом. К концу года предполагалось довести число иммигрантов до пяти тысяч человек в месяц, а к концу сорокового года, если не будет войны... "Ты только послушай, — возбужденно воскликнул в этом месте своих объяснений Бауман, который, сунув руки в карманы кожаной куртки, шагал по комнате, наклонившись вперед. — Дайте нам пять лет, и у нас будет еще полмиллиона. Если нас будет в стране большинство, остальное приложится. Если бы они подождали всего пять лет с их чертовой войной, наша проблема была бы решена". Он остановился, иступленно на него уставился и, схватив за плечи, спросил: "Как ты думаешь, ведь не будет до 1944 года войны? Послушай, — продолжал он, как в лихорадке, — мы только начали. Мы ждали две тысячи лет, а теперь просим только пять лет срока. Ну скажи: разве это так много — пять лет?" — Он тряс Джозефа за плечи.

С начала акции прибыло семь пароходов, и только два были захвачены после разгрузки. Надежда пьянила Баумана. Неустойчивая надежда может вывести человека из равновесия скорее, чем отчаяние. Внезапно Бауман убрал руки и отчужденно посмотрел на Джозефа. "Вы свободны", — скомандовал он, в первый раз обращаясь к Джозефу как к подчиненному.

Идя в направлении площади Цион, Джозеф продолжал размышлять. Как это ни странно, но политическим воображением обладают в наше время только экстремисты. Похоже, что мировой монополией на это качество завладели нацисты и коммунисты. Причина заключается вовсе не в их безответственности, как из зависти утверждают сторонники демократии, ибо политическое воображение не оскудевает у экстремистов и после захвата власти. Казалось бы, именно общества с демократической структурой стимулируют проявление оригинальности. Но на практике это не так. По-видимому, подчинение дисциплине и смелость воображения не так уж несовместимы, как принято думать. Те, кто не допускают свободы идей, сами весьма изобретательны, а защитники свободы самовыражения скучны и прозаичны, и выражать им нечего.

Что ж, по-видимому, все это симптомы ледникового периода в политике. При температуре, близкой к абсолютному нулю, всякая материя ведет себя необычно. Даже в физике законы действуют не одинаково в разных климатических условиях...

На площади Цион было темно и пустынно. Джозеф услышал гудки санитарной машины, приближающейся с улицы Бен-Иехуда. Он был слишком возбужден для сна и решил заглянуть в больницу Хадасса, расположенную неподалеку, — ради того, чтобы узнать, сколько человек пострадало во время беспорядков. Пройдя с десятков метров назад, он свернул в узкую улочку, ведущую к больнице. Перед старым непрезентабельным зданием кучка людей — очевидно, родственников пострадавших — переругивалась с английским полицейским и сестрой-еврейкой. Усталая сестра то и дело исчезала в здании, чтобы навести справки, а полицейский безуспешно пытался уговорить людей стать в очередь. Каждый раз, когда появлялась сестра,

все разом выкрикивали имена. Та затыкала уши, призывала к тишине и просила говорить по одному. Джозеф наблюдал сцену с обычным отвращением, которое ему приходилось испытывать минимум раз в день на автобусных остановках и в учреждениях. Как обычно, он сказал себе, что эти люди ведут себя так под давлением своего прошлого. Он приучил свой разум бороться с чувством, но его первой реакцией неизменно было отвращение. Он понимал, что его отвращение тоже является результатом владевшего им самим прошлого, перед которым он так же бессилен, как и все.

Он собрался идти домой, как вдруг увидел, что из ворот выходит тот парень с пейсами, которого при нем ударил по лицу Бауман. Поверх бинта на голове парня была ермолка и засаленная черная фетровая шляпа. Он нерешительно улыбался толстыми губами и сжимал под мышкой голубую бархатную сумку. Джозеф знал, что членам Организации запретили участвовать в демонстрации, чтобы не выдавать себя без надобности. Он подождал, пока мальчик вышел из толпы, догнал его и спросил:

— Ты что там делал?

Мальчик вздрогнул, затем узнал Джозефа и улыбнулся. Он видел Джозефа во "дворце" два раза, инстинктивно чувствовал, что тот не начальство, и не боялся его.

— Меня ударил полицейский, — ответил он нараспев и прибавил с торжеством: — Но я отобрал у него винтовку.

— Как? Просто-напросто отобрал?

— Нет. Я укусил его в руку.

В темноте нельзя было разглядеть выражения его лица. В своих сползающих черных чулках и длинном кафтане он казался пугалом.

— Тебе известно, что ты не имеешь права участвовать в демонстрации? В особенности с этим... — он постучал пальцем по бархатной сумке. — Если бы

тебя схватили, получилось бы грязное дело. И другим были бы неприятности.

Мальчик открыл сумку, вынул книгу и поднес ее к фонарю. Это был обыкновенный затрепанный молитвенник.

— Я шел в синагогу. Что дурного в том, что человек идет в синагогу?

Джозеф промолчал. Ему претило вмешиваться не в свои дела, но все-таки он решил рассказать о мальчишке Бауману или Шимону. Мальчик запихивал книгу в сумку. Они стояли у щита для объявлений. Высокопарные протесты официальных еврейских организаций были изодраны и покрыты карикатурами. В цитате из речи Гликштейна: "Бороться до последней капли крови" слово "крови" было зачеркнуто и заменено словом "чернил". Плакат со словами "Если я забуду тебя, Иерусалим" был наполовину содран и висел, обнаруживая замазанный клеем оборот бумаги.

При тусклом свете уличного фонаря мальчик рассматривал плакаты и усмехался.

— Что ты думаешь обо всем этом? — спросил Джозеф.

Мальчик пожал плечами:

— Я знаю? Сказано: волк в овечьей шкуре — опасен, но овца в шкуре волка — смешна.

— Где это сказано?

Мальчик улыбался, накручивая пейсы на палец.

— Ты это сам придумал, — сказал Джозеф, чувствуя, что его отвращение к парню проходит. — Скажи мне, почему ты вступил в Организацию?

Тот снова пожал плечами.

— А почему нет? — ответил он нараспев, улыбаясь смиренно и насмешливо.

Как видно, юный вундеркинд, несмотря на подобострастную манеру и неуклюжесть, был весьма уверен в себе.

— Ты что, не можешь ответить как следует?

Мальчик неохотно отвернулся от афишного стол-

ба и взглянул на Джозефа. Под его кафтаном виднелась белая, застегнутая доверху грязная рубашка без галстука, на месте запонок были поломанные пуговицы. Его лицо с закрученными косицами по сторонам казалось бесполом и напоминало лицо херувима. Глаза и рот его были влажны, он непрерывно шевелил губами.

– Почему ты спрашиваешь о том, что знаешь сам? – спросил он.

– У нас с тобой могут быть разные на то причины, – ответил Джозеф. – Так почему ты вступил в Организацию?

– О-о, – жалобно протянул мальчик, – меня об этом спрашивают на каждом экзамене!

Мимо них шествовал верблюд, который вместе со своей поклажей перекрывал почти всю ширину переулка. Обоим собеседникам пришлось прижаться к стене. Араб, сидящий на куче мешков, спал. У немощного конца переулка верблюд стал поднимать копытами тучи пыли.

– И что ты отвечал, когда тебя спрашивали? – не отставал Джозеф. Он вдруг ощутил, что ему очень важно узнать причины, которые свели их вместе.

– Что я отвечал? Я читал им главу 21 из Исхода и главу 19, стихи 1 и 21, главу 25, стих 19, главу 32, стих 43 из Второзакония.

– И что же сказано в этих стихах? – спросил Джозеф, чувствуя, что любопытство его проходит.

– Что в этих стихах? – насмешливо переспросил мальчик. – Вот что в них: "Изгладь память амалеки-тян из поднебесной... Да не пощадит его глаз твой: душу за душу... – Он отмстит за кровь рабов Своих, и воздаст мщение врагам Своим, и очистит землю Свою и народ Свой..."

Он начал прыгать на одной ноге, хлопать в ладоши, пейсы его болтались около ушей. Он был похож на большого ребенка, скачущего через веревочку. Джозеф смотрел на него со смешанным чувством восхищения и брезгливости.

— Достаточно, — сказал он.

— Теперь вы знаете, — сказал мальчик, успокаиваясь. Глаза его приняли прежнее выражение робкой насмешки. Другим голосом, как бы пытаясь успокоить Джозефа, он добавил: — Также сказано: ”Во многих мудрости много печали. А кто умножает познание, умножает скорбь. И как умирает мудрый? Так же, как глупец”.

Он низко поклонился Джозефу и торопливо зашагал, подпрыгивая, как школьник, — с хлопающими по ушам пейсами, с бархатной сумкой под мышкой.

Было почти утро, и над горой Сион прозрачный серый шелк неба готовился к восходу солнца.

”Вот она — неразбавленная народная субстанция”, — подумал Джозеф, провожая мальчика глазами.



**ВОРЫ В НОЧИ**  
**(1939)**

*Сердце с Богом – это не то же, что  
голова в облаках.*

*Достопочтенный отец П.Н. Уогетт,  
проповедь на Масличной горе, 1918*



В мае небо над Башней Эзры, подобно расплавленному голубому полю. Земля выглядит так, будто Бог сбросил на Галилею ковер. Если смотреть от Кафр-Табие, белые домики поселения под красными крышами похожи на кучку грибов, выросших на склоне холма. Двадцать пять человек было их на Собачьем холме, когда они пришли туда два года назад, а сейчас их около трехсот. И еврейский Бог благословил их скот и размножил их стада.

Пятницы и субботы, которые Джозеф проводил дома, были для него этой весной самыми счастливыми днями. Сказочную страну по имени Башня Эзры не тронули бури Ледникового периода, все яростнее сотрясавшие мир. Он снова влюбился в холмы и создал теорию, из которой следовало, что царь Соломон написал Песнь Песней, прогуливаясь по весенней Галилее. В противоположность этому, книга Экклезиаст явилась продуктом мрачных Иудейских гор, где этот царственный пессимист обитал постоянно. Песнь Песней определенно принадлежала Галилее: "Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние... Ловите нам лисиц и лисенят, которые портят виноградники".

Хищные лисенята переполнили мир, но Башня Эзры стоит твердо. Молодые деревца, посаженные

Шимоном, отбрасывают негустую тень, обещая в будущем лесную прохладу. Как странно, что память о резком, полном горечи Симоне воплотилась в виде молодой еловой рощи. Шимон-еретик умер для киббуца, но другой, легендарный Шимон выросал вместе с рощей. Точно так же, как в сознании тех, кто пришел после смерти Дины, существовала мифическая Дина — символ чистоты и совершенства, сохранившийся от прежних, легендарных дней.

С ростом киббуца его структура становилась все более разнородной. Так в зрелой органической клетке яснее становится различие ядра и периферии. Периферия состояла из концентрических слоев, различающихся по возрастам, хотя возрастные границы между слоями со временем стирались. Но ядро сохраняло свою особенность. Реувен, Моше, Даша, Эллен, пастух Арье, Мендель-дудочник, Сара, которая после смерти Дины заведовала детским домом, Макс-оппозиционер — все они были отцами-основателями, старожилками. На последнем общем собрании большинство из них было переизбрано на те же административные должности, которые они занимали, хотя в секретариат влились новые силы из периферийных слоев. Можно было легко предсказать, что в ближайшие несколько лет в руках "стариков" еще будут оставаться ключевые позиции, пока периферия в своем растущем недовольстве не произведет собственных лидеров и не захватит власть в секретариате. Это произошло в старых киббуцах и, несомненно, произойдет в Башне Эзры. Отсутствие привилегий для бюрократии только замедляло ее развитие. Не существовало ни армии, ни полиции, ни партийного аппарата. Вся деятельность занимавших руководящие должности находилась под постоянным общественным контролем, а принцип полного экономического равенства исключал возможность подкупа избирателей. Единственное преимущество этой бюрократии заключалось в большей ответственности и в возможности более непосредственно влиять на дела киббуца. Это давало

ощущение власти, вернее, это была только тень власти — безо всякой материальной подоплеки, без гарантий устойчивости; но для тех, кто ее желал, она была достаточно реальной и ценилась больше, чем они хотели себе признаться. Потому что инстинкт власти не был уничтожен, он был только укрощен. Но на большее, размышлял Джозеф, нельзя было и рассчитывать.

Конечно, при попытке увеличить свой масштаб и действовать принудительными мерами образцовое общество, созданное в киббуце, неминуемо разрушится. Оазисы не поддаются расширению. Все, что удалось доказать, сводилось к одному: что при определенных условиях можно добиться иных, чем традиционные, форм человеческой жизни. И опять-таки, на большее нельзя и рассчитывать.

В эту последнюю в мае пятницу Джозеф лежал под расплавленным небом возле Пещеры предков и жевал травяной стебель. На обратном пути из Иерусалима он навестил Эллен и ребенка в родильном доме киббуца Ган-Тамар. В белоснежной постели, возле красных маков, стоящих в вазе на тумбочке, она выглядела очень счастливой и почти хорошенькой. Цветы принес Джозеф и, видя, как Эллен благодарна ему, он сам был захвачен смесью чувств из жалости, симпатии и вины за то, что неспособен испытывать по отношению к ней что-то большее. Но если не анализировать эту смесь слишком внимательно, она вполне может сойти за нечто настоящее. А что оно это "настоящее"? Сколь различные понятия называются словом "любовь"! Кто знает, было ли чувство, которое он испытывал к Дине, более настоящим, чем то, что он чувствует сейчас? Может быть, если бы Эллен была недосыгаемой, а Дина — матерью его ребенка, его чувства тоже поменялись бы местами?

Так или иначе, ребенок оказался девочкой, и назовут ее Диной. Имя предложила Эллен. Как это похоже на Эллен — предложить такое имя!

Опираясь на локоть и жуя сладкий стебель, Джозеф увидел приближающегося к нему Реувена. За последний год Реуен стал еще спокойнее и незаметнее. Он один, по-видимому, обладал абсолютным иммунитетом к соблазнам власти. Но так ли это в действительности? Может быть, за скромной, сдержанной манерой скрывалась способность извлекать из власти особое, утонченное удовольствие? Как обманчивы простые слова, которыми пользуются люди для характеристики друг друга! Скромность кажется простым, неделимым качеством, таким же простым и неделимым, как элемент азот. А на самом деле ни то, ни другое не просто...

— Ну, каково это — чувствовать себя отцом? — спросил Реуен, устраиваясь рядом на траве в том расслабленном состоянии кануна субботы, которому поддаются все киббуцники после традиционного душа.

— Бог его знает, — ответил Джозеф. — Я как раз об этом размышляю. Пытаюсь убедить себя, что нет никаких оснований испытывать родительскую гордость. И другие новорожденные обладают таким же пушком на голове и розовыми ноготками. Движение пальчиков — это просто безусловный рефлекс, а не признак ранней гениальности.

— Ты — типичный рабби. Твое мышление похоже на еврейское письмо: оно течет справа налево, как в зеркальном отражении. Иногда кажется, что ты всю жизнь проводишь перед зеркалом.

— Ну и что же? Люди стреляются перед зеркалом, занимаются любовью перед зеркалом. Считать, что самоанализ притупляет эмоции, что чувство должно быть немо и невинно — это старый предрассудок. Пес, когда ест, получает от еды удовольствие. Но он этого не сознает, иначе он смаковал бы пищу, оставляя лучшие куски на закуску. От недостатка самосознания он наслаждается меньше. Антоним к слову "невинный" на латыни будет *nocentem*, то есть "уязвленный". Быть уязвленным — человечнее, потому что больнее.

— Продолжай, рабби Йосеф, я слушаю. Я жду, когда ты дойдешь до избранного народа.

Реувен находился в редком для него приподнятом настроении: сегодня ночью в их округе создавалось новое поселение. Башня Эзры играла для новых поселенцев ту же роль, какую для них самих когда-то сыграл киббуц Ган-Тамар. Грузовики с новичками и оборудованием прибыли сегодня утром. Вечером предстоит торжество по поводу их отправки на место.

Джозеф перевернулся на живот и улыбнулся. Его обычная симпатия к Реувену возросла еще больше с тех пор, как у него появилась тайна, — то, что связано с Бауманом и его организацией. Обман из добрых побуждений всегда усиливает симпатию. Это хорошо знают мужья: после случайной измены, столь необходимой для счастливого брака, они чувствуют к своим женам особую нежность.

— Что касается избранного народа, то я расскажу тебе притчу. Было время, когда самым совершенным продуктом мироздания считались рыбы. Они весело плавали по всем морям и, кроме тех случаев, когда пожирались более крупными экземплярами, чувствовали себя прекрасно. Но пришло время, и некая сила выгнала часть рыб на берег и превратила их в земноводных. Плохо пришлось земноводным. Вместо того, чтобы грациозно плавать по воде, им пришлось ползать на брюхе по болотам, ловя воздух с помощью нового, несовершенного органа. Прошли века, пока эти безобразные, неуклюжие создания оценили преимущества своего состояния: солнце, звуки и формы, половая жизнь, горячие камни и прохладный ветерок.

— И это все? При чем же здесь евреи? Земноводных обрезали?

— Ты не понял? Арабы — это рыбы. Они счастливы — имеют традиции, ни в ком не нуждаются и ведут вневременное, беззаботное существование. В сравнении с ними мы неуклюжие амфибии. Это одна из причин, почему англичане любят их, а не нас. Политика тут ни при чем. Англичане тоскуют по потерянному раю,

по вечному уик-энду. А мы — это та сила, которая гонит рыб на берег. Мы — это неумолимый бич эволюции.

— Прекрасная проповедь, рабби Йосеф, — сказал, улыбаясь, Реувен.

— Я пытаюсь раз навсегда покончить с размышлениями над нудным арабским вопросом, — скромно ответил Джозеф, — но сегодня мне не хочется портить себе настроение арабами. Вернусь к первоначальному утверждению: ассоциировать способность к самоанализу с худосочием чувств — это обывательская чепуха. "Я мыслю, следовательно, существую" — классическое выражение интроспективного сознания, с него началась современная философия. Именно оно сформулировало наше отношение к жизни. Основной закон эволюции — стремление к большей выразительности. Ромео любит так же страстно, как простой арабский пастух, но эмоция его — красноречива и осознана, и потому она — высшего порядка. В ней нет невинности, потому и радости ее и горести — острее. Следовательно, в такой эмоции больше жизни.

Реувен улыбнулся:

— Если не ошибаюсь, ты как-то раз обрушился на "проклятие искушенности", которое лежит на нашем народе. И был также период, когда ты восхищался людьми Баумана, отказывающимися видеть другую сторону медали.

На секунду Джозеф растерялся:

— Ну и змея! Но на самом деле здесь нет противоречия, кроме того, что заложено в самих условиях человеческого существования и что особенно характерно для нынешнего ледникового периода нравственности, а именно: чтобы защитить хрупкое помещение, в котором протекает процесс сознания, придется пускать в ход кулаки. Вам, пацифистам, постоянно приходится поступаться своими принципами, потому что вы изначально отказываетесь признать это основное противоречие природы.

— Ладно, ладно, — сказал Реувен, подымаясь, —

притча твоя мне больше понравилась. Мне пора. Пойдем, Моше ждет тебя с отчетом. Он готов расцеловать тебя за аванс от кооператива, получить который тебе, безусловно, помогла способность выражать свои эмоции.

Джозеф вздохнул, но покорно поднялся. По дороге они обсудили свои планы на вечер. Джозеф решил отправиться сегодня ночью с новыми поселенцами и вернуться на завтра с обратными машинами. Реувен тоже хотел бы поехать, но на субботнее утро у него было назначено заседание очередной комиссии. Джозеф его пожалел.

— Выйдем ли мы когда-нибудь из стадии митингования? Вот уж поистине детская болезнь демократии.

— Болезнь не опасная. Фашистский сифилис хуже.

Джозеф для разнообразия согласился. Они шли и дружелюбно обсуждали, где построить новый коровник и как расширить дом для детей, который стал тесен для своих тридцати семи, а вместе с дочерью Джозефа тридцати восьми обитателей.

2

В столовой новых поселенцев ожидал ужин, приготовленный специально для них. Столы, составленные в форме двойной подковы, были покрыты белой скатертью и украшены цветами. Столовая превратилась в банкетный зал. Так торжественно помещение выглядело четыре раза в году: на Песах, Рош-ха-Шана, в Ханукку и в день Ту-би-шват. В однообразной жизни киббуца воспоминание о белых сверкающих столах и вся праздничная атмосфера держалось неделями.

Передовой отряд новых поселенцев состоял из одиннадцати парней и девушки по имени Рахель, которая, по-видимому, пользовалась в группе большим

авторитетом. Очень маленького роста, с коротко стриженными черными волосами и быстрыми движениями, Рахель обладала таким высоковольтным зарядом энергии, что казалось, притронься, и тебя ударит током. Она приехала из Румынии, а ее парень, секретарь группы по имени Тео, из Германии. Высокий, сутуловатый блондин, робкий и медлительный в движениях, он был идеальным типом для должности киббуцного секретаря, являя собой как бы молодежный вариант Реувена. Нехватку расторопности восполняла Рахель. Оба они сидели во главе стола между Моше и старым Вабашем, никогда не упускавшим случая присутствовать при основании нового киббуца.

Передовой отряд был малочислен, и помощников им давали не много: арабы после опубликования "Белой книги" успокоились. Двенадцать человек отправятся сегодня ночью на место, будут вначале жить в брошенном арабском доме. Они станут готовить территорию для приема основного состава, ожидающегося через несколько недель. Новый киббуц Тель-Йешуа возникает в двенадцати милях от Башни Эзры и послужит стратегическим звеном, связывающим поселения Верхней Галилеи с долиной Изрееля. Землю купил несколько лет назад Национальный фонд, но она считалась непригодной для колонизации из-за отсутствия воды. Ее можно лишь доставлять на осликах, пользуясь источником, расположенным в четырех километрах от Тель-Йешуа. Группа в пятьдесят человек, прибывших из Румынии и Германии, которая стояла в конце списка на приобретение земли, подала, однако, заявление с просьбой отдать им пустынный холм, и после длительной борьбы с Еврейским колонизационным обществом добилась своего. Эти люди покинули Европу значительно позже поселенцев из Башни Эзры, и их бремя Того, Что Надо Забыть, было тяжелее и трагичнее. Половина из них прибыла в страну без виз. Они были нелегальными иммигрантами с фальшивыми паспортами. Их не заботило,

сколько придется копать, чтобы добраться до воды, их не пугала малярия. Все было пустяком по сравнению с тем, что пришлось пережить там, откуда они прибыли. Они жаждали земли, устойчивости, им хотелось почувствовать запах коровника, запах ослов и лошадей. Больше всего они жаждали жизни, в которой был бы смысл, жизни, скрепленной теплотой братства, в котором каждый парень, каждая девушка прошли испытание на преданность.

В столовой было необычно светло от белых скатертей. Пахло свежим салатом, лежащим в больших деревянных мисках, и слышался праздничный гул от множества человеческих голосов, стука тарелок и звона стаканов. Белобородый, в голубой рубашке Вабаш, все более напоминающий слегка выжившего из ума библейского пророка, с большим чувством рассказал историю первых двенадцати поселенцев Дгани и поговорил о страждущих "миллионим". Затем с практическими советами выступил Моше, после него Макс, цитировавший Гликштейна и Ленина. Но за исключением преисполненных благоговения новичков, никто особенно речей не слушал. Как обычно бывало в тех редких случаях, когда жители Башни Эзры пили вино, их отупевшие от рутины и усталости лица прояснились и сияли, как вынесенное из чулана зеркало, с которого стерли пыль и мушинные пятна.

Джозеф рассматривал представителей старой гвардии и пытался уловить перемены, происшедшие с ними с той ночи, когда они отправились строить Башню Эзры. Моше потолстел, у него наметилась лысина, и он слегка напоминал удачливого биржевого маклера. Горбатый Мендель стал еще тише, взгляд его еще больше обратился внутрь, внезапные превращения в дудочника случались все реже. Недавно он закончил сочинение "Галилейской симфонии". Поговаривали, что Национальный симфонический оркестр готовится ее сыграть. Киббуцная Мессалина Габи, в настоящее время заведующая пошивочной мастерской, приобрела несколько надутый и резкий вид. Вместо

того, чтобы, как прежде, хлопать ресницами, она только раздувала ноздри. Полгода назад она вызвала скандал тем, что изменила египтянину, и ни больше ни меньше, как с доктором философии! Темнокожий дикарь Хам грозил убить бедного Фрица. Дело уладили, только обсудив его на общем собрании, где Макс произнес прекрасную речь на тему секс и общество. Габи плакала, Фриц публично покаялся в антиобщественном поведении, а растроганный до слез Хам торжественно всем простил и готов был пропеть "Ха-Тиква", да Сара вовремя его удержала. После этого Сара мобилизовала для утешения египтянина все свои педагогические таланты, открыв перед ним широкие духовные горизонты, а через три недели он предложил ей пожениться. Сара устроила по этому поводу ужасный шум, спрашивая у каждого члена секретариата совета и обвиняя себя в том, что была несправедлива к бедной Габи. Хаму стало стыдно за свои низкие желания и он объявил Саре, что готов от нее отказаться и согласиться с ее высокими взглядами на жизнь. Сара снова впала в истерику, и понадобилось все дипломатическое искусство Реувена, чтобы довести дело до счастливого конца.

Чуть ли не с первой недели брака Сара начала меняться. Ее резкое, с голодными глазами девственницы лицо округлилось и приобрело женственную мягкость, она начала с фантастической быстротой полнеть. Через три месяца после свадьбы она стала официальной заведующей детским садом и членом секретариата. Это окончательно завершило процесс превращения худой огорченной белочки в крепкую и деловитую матрону. Ей потребовалось семь горьких лет, полных заблуждений и самообмана, чтобы обрести ту жизнь, для которой она была создана.

Почувствовав взгляд Джозефа, Сара повернулась к нему. Он широко и дружески улыбнулся ей и продолжил смотреть старой гвардии. Толстая хорошенькая Даша, с круглым лицом и широкими славянскими скулами, только что вышла из кухни, раскрасневшая-

ся и гордая успехом угощения. Пастух Арье задумчиво и удовлетворенно жевал свой шашлык. Доктор философии разглагольствовал перед восхищенной девицей из молодежного лагеря, восхваляя достоинства сапожного ремесла. Он тоже избавился от суетливой нервозности, раздался вширь и стал увереннее в себе. Джозеф мысленно сравнивал сидящих рядом мужчин и женщин с посетителями тель-авивского кафе, с их поднятыми и застывшими в заученном движении плечами. Чувство глубокого удовлетворения и гордости, свободное от личного самодовольства и потому близкое к смирению, охватило его: он был одним из основателей Башни Эзры! То, что здесь произошло, было справедливо, было хорошо и разумно. Что-то сломанное восстановилось снова, люди обрели утраченную ими целостность.

Он встретился взглядом с Реувеном, тот улыбнулся ему своей улыбкой, похожей на извивающуюся в траве змею, и потребовал:

— Давай речь.

Джозеф покачал головой, но слова Реувена услышали другие, и через минуту весь стол требовал, чтобы он произнес речь. Он был потрясен мыслью о том, что, несмотря на его идейные шатания, противоречия и сознание собственной несостоятельности, эти люди его любят! Стоя перед ними, под их любопытствующим и ожидающим взглядом, он спрашивал себя: интересно, как он, который не может воспринять себя во всей полноте, видится со стороны? Что ж, они видят, наверно, лицо старой обезьяны с пробивающимися седыми прядями на висках, сросшиеся и поднятые в обычной усмешке брови. Он решил рассказать им притчу о рыбах.

— Хаверим, — начал он, смакуя сочный, архаичский вкус слова, рожденного в суровой пустыне, в стране, которая дала новое направление истории человечества. — Хаверим — товарищи...

Мотор ревел, машина раскачивалась, как пьяная. Автоколонна въехала в высохшее русло вади, миновала Зад гиганта и двигалась дальше на юг, прочь от знакомых мест — к новым, чуждым, пустынным холмам, с редкими заброшенными деревушками по склонам.

Джозеф вытянулся на брезентовой крышке грузовика, подложив руки под голову. На этот раз вся машина была в его распоряжении. Удобный это был грузовик, с мешками муки поверх ящиков для сельскохозяйственного оборудования. Впереди и сзади, осторожно притушив фары, двигались другие машины.

На переднем грузовике будущие поселенцы пели: "Бог построит Галилею". На заднем несколько помощников спорили о "Белой книге". Задний грузовик приближался и отставал, и до Джозефа долетали обрывки спора. Пение впереди слышалось то громче, то тише. Звезды над головой сверкали во всем своем галилейском великолепии, Большая Медведица растянулась на спине, а Млечный Путь зиял, как широкая блестящая рана.

Задний грузовик приблизился. Они все еще спорили. Девичий голос произнес:

— Когда мы обводним южную пустыню, мы сможем привезти сюда еще четыре миллиона.

— И все еще останется двенадцать, — ответил мужской голос.

— Ну и что же? — возразила девушка. — Половину из них все равно убьют. Остальные какое-то время продержатся.

Грузовик отстал, но голос девушки продолжал звучать в ушах Джозефа: "Половину убьют, вторая половина какое-то время продержится". Она сказала это так буднично, как будто проверяла домашние расходы. Каким грандиозным арифметическим вы-

кладкам научила история этот народ! Кривая роста населения выглядит, как зигзаг молнии.

Грузовик тряхнуло, он замедлил ход. Пение впереди отдалилось, а с задней машины снова раздался голос девушки, что-то доказывающей в темноте: "Национализм? Чепуха. Это просто ностальгия".

— Как могут люди тосковать по стране, которой они никогда не видели? — спросил скептический мужской голос.

— Это в крови. Тоска по родине — в крови народа.

Грузовик Джозефа увеличил скорость, заглушив продолжение спора. И все время они возвращаются к теме народа, как будто это что-то объясняет. Как будто можно объяснить биологически этот зигзаг молнии, этот рваный шрам на лице человечества.

Он снова лежал на брезенте и радовался, что на грузовике он в полном одиночестве. На юге сверкала очень яркая планета, он не знал, Марс это или Юпитер. И он вспомнил, как в первую ночь шел после боя к палатке Дины, смотрел на эту планету и думал, что если другие планеты обитаемы, на них должны быть свои евреи. Потому что суть еврейства не в случайности происхождения, а в существовании на пределе. Евреи это самая уязвимая часть человечества. Изгнанники в Египте и в Вавилоне, а ныне разбросанные по всему миру, в чуждом и враждебном окружении, они неизбежно должны были выработать особые черты характера. У них не было ни времени, ни возможности наростить шкуру самодовольства, родовой защищенности, которая делает человека невосприимчивым или забывчивым по отношению к трагической стороне существования. Они были мишенью для всех недовольных, потому что были так раздражающе, так ненормально человечны. Потеря пространственного измерения изменила эту ветвь человеческого рода так же, как изменила бы любой другой народ на Земле, Юпитере или Марсе. Так слепые развивают осязание и слух. Их зрение обратилось внутрь, они стали хитрыми, отрастили себе когти, чтобы цеплять-

ся, когда ветер несет их по чужим странам. Отсюда же и духовное высокомерие: лишенные места в пространстве, они поверили в свою избранность для бесконечности во времени. Внешняя приспособляемость к обстоятельствам усилилась, но сердцевина омертвела. Жизнь, перетиравшая их, придала им многогранность: превращенные в песок, они должны были сверкать, чтобы их не растоптали. Рабская жизнь сделала их подобострастными. Кнут стал для них орудием естественного отбора: он выбивал жизнь из слабого и вызывал судорогу честолюбия в сильном. Во всех областях жизни для того, чтобы добиться равных возможностей, им надо было начинать с большего. Обреченные на жизнь в чрезвычайных обстоятельствах, они были во всех отношениях как все люди. Только еще более люди, чем все.

”Я — националист? — как будто откликнулся Джозеф на голос девушки. — Глупости. Наш национализм — это ностальгия по нормальной жизни”.

Пение раздавалось то громче, то тише. Пели одну из популярных народных песен со страстной, почти истерической мелодией. Национализм? Глупости, повторял про себя Джозеф. Для нас эта земля значит что-то иное, чем Сербия для сербов или Америка для американцев. Они владеют своей страной, как супругой, мы же ищем утраченную возлюбленную. Мы скорбим по земле Ханаанской, которая никогда нам по-настоящему не принадлежала. Вот почему мы всегда в первых рядах тех, кто гонится за утопиями и спасает мир революциями, вот почему мы вечно в погоне за потерянным раем. Побежденные и израненные, мы всегда возвращаемся к той точке, откуда начали погоню. Страна — это тень, которую отбрасывает народ. Две тысячи лет мы были народом, лишенным тени.

Вади сузилось и вошло в ущелье. Его освещенные звездами склоны, казалось, застыли, подчиняясь закону всемирного равнодушия. Автоколонна, как

темный караван пилигримов, медленно двигалась вдоль них. Отправившись в дальнее странствие, люди оставили позади дом и сад. Все поглотила пустыня. Теперь им предстояло начинать сначала. Они возвращались в покрытую чертополохом и терном страну Ханаан. Половина из них была из нелегальных иммигрантов: они уцелели без официального на то разрешения. И вот те, кто обладает толстой шкурой и настоящей тенью, отказывают им в праве на этот кустарник, на эти голые камни!

— Эй, не унывай! — сказал себе Джозеф. — Держи свой порох сухим. Нас всегда будут предавать. Что-то в нас есть такое, что заставляет других нас предавать. Это наше стремление к земле и к нормальной жизни, а также стремление продолжать поиски потерянного рая, который не существует в пространственном измерении. Но это не национальная проблема. Это крайнее выражение судьбы человека.

Далеко в ночи появился огонек и замигал. Он казался висящей в воздухе красной точкой. Напрягая зрение, Джозеф различил бледный силуэт холма, на котором должен быть построен киббуц Тель-Йешуа. Хорошо, подумал Джозеф, мы заняли еще один акр пространства. Охота в Европе будет продолжаться, костры будут гореть, но несколько сот человек будут жить здесь, и пустыня этому возрадуется.

Грузовик внезапно остановился. Остановилась вся колонна. Водители включили фары и начали подавать громогласные гудки, оглашая ночные окрестности. Далекий огонек продолжал ритмично мигать: вспышка-темнота, вспышка-вспышка-темнота, вспышка-вспышка, точка и тире.

С ума сошли, подумал Джозеф, читая сообщение. Они передают Исаяю азбукой Морзе!

”И будут строить дома, и жить в них, и насаждать виноградники, и есть плоды их”.

Им следовало бы посылать это противоречащее официальной политике сообщение в зашифрованном виде!

Грузовик двинулся снова. Спор в задней машине продолжался. Водители, отрезвев, притушили фары, и колонна продолжала свой путь, крадучись, как воры в ночи.

3647

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Книга Артура Кестлера "Воры в ночи" в свое время была, пожалуй, не меньшим явлением, чем позднее "Экзодус" Л. Юриса. Она быстро приобрела широкую известность, была переведена на многие языки, ее с одинаковым интересом читали как евреи, так и неевреи. Написанная вскоре после окончания Второй мировой войны и еще до создания государства Израиль, она рассказывала о сущности и задачах сионизма. В ту пору борьба евреев Эрец-Исраэль за свою независимость вступила в решающую фазу и превратилась в открытую войну с британскими мандатными властями.

Однако в отличие от автора "Экзодуса" А. Кестлер не обнаруживает в своем романе ни энтузиазма, ни глубокой внутренней веры в идеалы сионизма. На протяжении всего повествования он как бы остается сторонним наблюдателем — иногда равнодушным, иногда ироничным, иногда даже раздраженным. Но атмосферу, царившую в Эрец-Исраэль в 30-е и 40-е годы, он передает с мастерством истинного писателя.

Рассказ А. Кестлера о создании киббуца Эйн-Хашофет в пустынных горах к юго-востоку от Хайфы, служивших пристанищем арабских банд, чрезвычайно жизненен. Этот период принято называть "периодом ограды и башни". Вопреки запрету британских властей и несмотря на постоянные нападения арабов, то в одной, то в другой части страны в течение одной ночи создавались еврейские поселения. Я сам участво-

вал в создании киббуца Эйн-Хашофет и всякий раз, когда перечитываю первые главы книги А. Кестлера, не могу сдерживать волнения.

Не надо забывать, что в 1946 году, когда книга вышла в свет, на Западе было очень мало известно о сионизме и о еврейском ишуве в Эрец-Исраэль. Наша страна казалась многим неким странным далеким клочком земли, на котором арабы убивают евреев, евреи воюют с арабами, а и те и другие вместе борются с британскими властями. К англичанам тогда по-прежнему относились как к героям, которые после капитуляции Франции в одиночку сражались с Гитлером. Трудно было предположить, что именно английское правительство станет преследовать евреев в Эрец-Исраэль — евреев, которые чудом спаслись от нацистского уничтожения.

Кестлер не понял многого из того, что происходило в стране. Идеи сионизма, национально-освободительного движения еврейского народа остались ему чужды. Свидетельством этому может служить его пренебрежительное отношение к ивриту (которого он не знал), к новому поколению уроженцев страны, которое к тому времени начало занимать свое место в жизни ишува (не следует забывать, что то были годы возмужания поколения, известного сегодня как "поколение Пальмаха").

Подход Кестлера к еврейской действительности — это подход галутного еврея, воспитанного в западно-европейской культуре. Молодые евреи тогдашней Эрец-Исраэль, — высокие, крепкие, "тарзаны", как он их величает, внушали ему страх. Он тоскует по другим евреям, слабым, маленьким, вскормленным на культурах всего света, знатокам всех наук и философий, которых не интересует ничто, кроме их профессий и любимых книг.

Артур Кестлер и сам являет собой пример писателя-еврея, совершенно оторванного от национальных корней.

Уроженец Венгрии, он начал писать по-венгерски,

затем перешел на немецкий, а в возрасте тридцати пяти лет — на английский. Он стал блестящим писателем и занял видное место в английской литературе XX века.

С другой стороны, в молодости он был сионистом, приехал в Эрец-Исраэль и прожил здесь несколько лет. Он был членом киббуца Бет-Альфа, но покинул его, перебрался в Тель-Авив, где поначалу попросту голодал и ночевал на скамейках бульвара Ротшильда. Затем, как он рассказывает в своей автобиографии, ему удалось устроиться на работу в экономическую газету, издававшуюся в Тель-Авиве на английском языке, где зарплата выдавалась в виде талонов на сигареты. Сигареты он обменивал на два горячих блюда в день. Позднее он наладил контакты с несколькими немецкоязычными газетами и покинул Эрец-Исраэль.

В течение нескольких лет Кестлер был активным коммунистом, воевал в Испании в рядах республиканских добровольцев, попал в плен к франкистам и был приговорен к смертной казни. Его первая книга рассказывает о тюремной жизни в ожидании смерти.

В конце 30-х годов Кестлер порвал с коммунистическим движением и вместе с другими ведущими писателями того времени (в частности, Андре Жидом) написал книгу, названную "Разочаровавший бог". В этой книге нашла свое выражение разочарованность людей, веривших в коммунистические идеи, видевших в них избавление рода человеческого и глубоко обманувшихся в своих надеждах. Причиной отхода многих интеллигентов от коммунизма послужили просочившиеся на Запад сведения об извращенной жестокости сталинского режима в России.

Под влиянием этого разочарования Кестлер пишет лучшее из своих произведений "Тьма в полдень", которое несомненно будет существовать даже после того, как о всех его прочих книгах забудут. В "Тьме в полдень" Кестлер попытался проникнуть в психологию человека, искренне верящего в идеи коммунизма, посвятившего всю свою жизнь воплощению

этих идей, и признающегося на одном из показательных процессов во всевозможных грехах и преступлениях, которых он не совершал, — признающегося во имя торжества этих самых идей, во имя величия партии. Люди, прошедшие через подобные процессы, испытавшие ужасы лагерей и прочитавшие, выйдя на свободу, книгу Кестлера, были поражены его прозорливостью и точностью его психологического анализа.

В романе "Воры в ночи" впервые затрагивается тема влияния Катастрофы на образ жизни и мышления еврейского ишува Эрец-Исраэль. О "Том, что случилось", в книге говорится вскользь, в связи с состоянием девушки, которая после всего пережитого не может сблизиться с мужчиной и предаться простой человеческой любви. Кестлер предупреждает: тому, что случилось, суждено наложить свой отпечаток на облик израильянина и определить отношение целого поколения — а, возможно, и многих поколений — к тем сложным вопросам, которые предстоит решить евреям Эрец-Исраэль.

"Воры в ночи" не просто роман, это роман-документ, освещающий важнейший период в формировании израильского общества.

В 1949 году вышла в свет еще одна книга А. Кестлера, посвященная проблемам Израиля и еврейства — "Обетование и претворение" (Палестина 1917—1949), тема которой — отношения между евреями и англичанами в период британского мандата. Автор развивает странную теорию, согласно которой сейчас, когда еврейское государство уже создано и продолжение существования еврейского народа обеспечено, евреи, должны ассимилироваться и забыть о своем происхождении.

Несмотря на весь заключенный в этом утверждении цинизм, знаменателен сам интерес А. Кестлера к еврейской национальной действительности.

*Яков Цур*

## КНИГИ ИЗД-ВА "БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"

1. Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга 1
2. Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга 2
3. Д-р А.И. Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арье (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е. Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А.И. Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Ахарон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У. Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И. Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Аллон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917-1967)
25. Ш.Й. Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, главы из романов

26. **Элиэзер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ**
27. **Тувия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН**
28. **ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 1**
29. **ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 2**
30. **А.Итай и М.Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ**
31. **Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ**
32. **С.Г.Фруг. СТИХИ И ПРОЗА**
33. **Р.Губер. КНИГА БРАТЬЕВ**
34. **ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк**
35. **Дж. и Д.Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА**
36. **И.Башевис-Зингер. РАБ**
37. **Р.Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ**
38. **Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ**
39. **Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ**
40. **Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ**
41. **Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ**
42. **Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ**
43. **Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК**
44. **ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ**
45. **МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ. Сборник очерков**
46. **Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ**
47. **Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ**
48. **Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ**
49. **Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН**
50. **СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ  
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА**
51. **Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ**
52. **Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО**
53. **Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА**
54. **МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в киббуцах**
55. **Джон Орбах. РИКША**
56. **Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ ЗА  
СВОЮ СВОБОДУ**
57. **Исаак Бабель. ДЕТСТВО И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ**
58. **Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1**
59. **Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2**

60. **Андре Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ**
61. **Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ ПЛАНЕТЕ**
62. **Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННОЕ**
63. **Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ**
64. **Макс И. Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ**
65. **Сол Беллоу. ПЛАНЕТА м-ра СЭММЛЕРА**
66. **ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ. Сборник:**  
**И. Кауфман. Библейская эпоха**  
**Л. Финкелстайн. Еврейская вера и претворение ее в жизнь**  
**Ш. Эттингер. Корни современного антисемитизма**
67. **А. Суцкевер. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ**
68. **АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник**
69. **СКОПУС. Антология поэзии и прозы писателей-репатриантов из СССР**
70. **Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ**
71. **Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ**
72. **Л. Коллинз и Д. Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!**
73. **М. Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ**
74. **М. Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ**
75. **Ф. Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО**
76. **Ф. Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ**
77. **А. Шлионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА**
78. **Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ**
79. **Х. Н. Бялик и И. Х. Равницкий. АГАДА**
80. **ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ**
81. **ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ:**  
**Б. Динур. Исторические основы возрождения Израиля**  
**С. Дубнов. Письма о старом и новом еврействе**
82. **ЕВРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ В ИСПАНИИ**
83. **Х. Бартов. ВЫДУМЩИК**
84. **Гилель Бутман. ЛЕНИНГРАД — ИЕРУСАЛИМ С ДОЛГОЙ ПЕРЕСАДКОЙ**
85. **Жак Дерожи. ТАЙНА СУДНА "ЭКСОДУС-1947"**

86. Цивья Любеткин. В ДНИ ГИБЕЛИ И ВОССТАНИЯ
87. М. Стейнберг. ОСНОВЫ ИУДАИЗМА
88. А. Кестлер. ВОРЫ В НОЧИ
89. Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА. Сборник стихов
90. Ада Серени. КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ
91. Иехуда Атлас. ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ
92. М. Стейнберг. КАК СОРВАННЫЙ ЛИСТ
93. Н. Полетика. ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ
94. Эли Визель. ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
95. Альбер Мемми. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ
96. Шломо Авинери. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
В ЕВРЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
97. МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ. Воспоминания
98. Хаим Градэ. АГУНА (БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА)
99. Луи Финкелстайн. РАББИ АКИВА
100. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 1
101. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 2
102. Муня М. Мардор. СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ
103. Феликс Розинер. СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА
104. Владимир Лазарис. МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА
105. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 1
106. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 2
107. ИВРИТ - ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ. Сборник статей
108. Ахарон Аппельфельд. ПОРА ЧУДЕС
109. Гилель Бутман. ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ И ВРЕМЯ  
ГОВОРИТЬ
110. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 1
111. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 2
112. Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 1
112. Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 2
113. В ОТКАЗЕ. Сборник
114. Гершом Шодем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ  
МИСТИКЕ. Книга 1
115. Гершом Шодем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ  
МИСТИКЕ. Книга 2
116. Эфраим Урбах. МУДРЕЦЫ ТАЛМУДА

117. В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ. Сборник рассказов современных израильских писателей
118. Владимир (Зеев) Жаботинский. ПОВЕСТЬ МОИХ ДНЕЙ. Воспоминания
119. Оскар Минц. ПРИЗМЫ
120. Игал Аллон. ЩИТ ДАВИДА
121. Моше Даян. ЖИТЬ С БИБЛИЕЙ
122. Иерухам Кохен. ВСЕГДА В СТРОЮ. Записки израильского офицера
123. Исраэль Таяр. СИНАГОГА — РАЗГРОМЛЕННАЯ, НО НЕПОКОРЕННАЯ
124. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 1
125. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 2
126. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 1
127. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 2
128. Хаим Гвати. КИББУЦ; ТАК МЫ ЖИВЕМ
129. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 1
130. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 2
131. Януш Корчак. ИЗБРАННОЕ
132. Ашер Бараш. ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ
133. Ицхак Орен (Надель). МОЯ КАМЕНОЛОМНЯ
134. Андрэ Неер. КЛЮЧИ К ИУДАИЗМУ
135. Ицхак Зив-Ав. ГОВОРЯТ, ЕСТЬ СТРАНА...
136. Эрбер Ле Поррье. ВРАЧ ИЗ КОРДОВЫ
137. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и развитие. Книга 1
138. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и развитие. Книга 2
139. ИЗРАИЛЬ. Географический справочник
140. Шломо Гилель. С ВЕТРОМ ВОСТОКА
141. М. Бейзер. ЕВРЕИ В ПЕТЕРБУРГЕ
142. Абба Ковнер. КНИГИ СВИДЕТЕЛЬСТВ
143. Авигдор Шинан. МИР АГГАДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
144. Давид Роскес. ВОПРЕКИ АПОКАЛИПСИСУ
145. Томас Манн. О НЕМЦАХ И ЕВРЕЯХ
146. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 1

147. **Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 2**
148. **И. Ахарони, Б. Ротенберг. ПО СЛЕДАМ ЦАРЕЙ И БУНТАРЕЙ**
149. **И. Гутман, Х. Шацкер. КАТАСТРОФА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ**
150. **Амос Эттингер. СЛЕПОЙ ПРЫЖОК**
151. **Феликс Кандель. СЛОВО ЗА СЛОВО**
152. **Ицик Мангер. ЖИЗНЬ В РАЮ**
153. **Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 1**
154. **Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 2**
155. **Коннор О'Брайен. ОСАДА. Книга 1**
156. **Коннор О'Брайен. ОСАДА. Книга 2**
157. **Давид Шахар. ЛЕТО НА УЛИЦЕ ПРОРОКОВ**
158. **Владимир (Зеев) Жаботинский. САМСОН НАЗОРЕЙ**
159. **И. Башевис-Зингер. СБОРНИК РАССКАЗОВ**
160. **Владимир (Зеев) Жаботинский. ПЯТЕРО**
161. **Малькольм Хэй. КРОВЬ БРАТА ТВОЕГО**
162. **А. Эйнштейн. О СИОНИЗМЕ**
163. **И. Константиновский. СУДНЫЙ ДЕНЬ**
164. **СКОПУС — II. Сборник произведений израильских литераторов, пишущих по-русски**
165. **Р. Зернова. ИЗРАИЛЬ И ОКРЕСТНОСТИ. Сб. рассказов**
166. **П. Пели. ТОРА СЕГОДНЯ**
167. **Р. Маркус, Г. Коэн, А. Галкин. ТРИ ВЕЛИКИХ ЭПОХИ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ**
168. **С. Кац. ЕВРЕЙСКИЕ ФИЛОСОФЫ**
169. **Э. Луз. ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ПАРАЛЛЕЛИ**
170. **Яков Кац. КРИЗИС ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ**
171. **ИЗРАИЛЬСКАЯ НОВАЯ ПОЭЗИЯ. Сб. переводов**

\* \*  
\*

## МОЛОДЕЖНАЯ СЕРИЯ

1. Рут Сэмюэлс. ПО ТРОПАМ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
2. Дорит Оргад. МАЛЬЧИК ИЗ СЕВИЛЬИ
3. Ури Орлев. ОСТРОВ НА ПТИЧЬЕЙ УЛИЦЕ
4. Амос Оз. СУМХИ
5. Шмуэль Хуперт. ЛЬВЫ В ИЕРУСАЛИМЕ
6. Й. Сегал. ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ
7. Яэль Розман. МОЙ РОМАН С БЕН-ГУРИОНОМ И ПНИНОЙ
8. Двора Омер. ПЕРВЕНЕЦ ДОМА БЕН-ИЕХУДЫ
9. Сами Михаэль. ПАЛЬМЫ В БУРЮ
10. Шмуэль Авидор-Хакохен. И СОТВОРИЛ БОГ...
11. Двора Омер. ЛЮБИТЬ ДО КОНЦА
12. Юрий Суль. ПАРТИЗАНЫ ДЯДИ МИШИ
13. Ицхак Ной. РОН И ДЖУДИ
14. И. Башевис-Зингер. ГАСНУЩИЕ ОГНИ. Сборник рассказов и сказок для детей
15. Эстер Файн. ХАДАС
16. Н. Гутман и Э. Бен-Эзер. МЕЖ ПЕСКАМИ И НЕБЕСНОЙ СИНЬЮ
17. СЧАСТЬЕ, ЧТО Я — ЭТО Я! Антология израильской детской поэзии и прозы. Том I
18. СЧАСТЬЕ, ЧТО Я — ЭТО Я! Антология израильской детской поэзии и прозы. Том II
19. Одед Бецер. НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНА БАР-КОХБЫ
20. Давид Шахар. ТАЙНА РИКИ
21. Абба Эвен. МОЙ НАРОД. Том I
22. Абба Эвен. МОЙ НАРОД. Том II
23. Мартин Гилберт. АТЛАС ПО ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
24. Гила Альмагор. ДЕВОЧКА СО СТРАННЫМ ИМЕНЕМ
25. Тамар Бергман. ПО ШПАЛАМ

**ТРЕБУЙТЕ КНИГИ  
ИЗДАТЕЛЬСТВА  
"БИБЛИОТЕКА—АЛИЯ"  
ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ  
РУССКОЙ КНИГИ**

**Наши книги можно заказать  
также по адресу:  
P.O.B. 4140  
91041 Jerusalem  
Israel**

